

**Станислав Росовецкий**

## **Юбилей Достоевского-1921**

**(Заговор поэтов: 1921)**

*Альтернативная история*

### **Пролог**

Завороженный тривиальным, как цитата из «Евгения Онегина», петербургским пейзажем, он вдруг осознал, что никогда не решится прыгнуть в свинцовые невские волны. Этот способ – для совсем уж отчаявшихся, тем и на комфортность последних своих мгновений наплевать...

– Совершенно с вами согласен, молодой человек. Не стоит. Грязновата водичка.

Хрипловатый уверенный голос умолк за спиной Гривнича. Мгновенно отвлекшись от тусклого медного зеркала Невы и багровеющей над нею в закатных лучах Петропавловской крепости, Гривнич преодолел оцепенение страха и медленно, чтобы не спровоцировать невзначай незнакомца, развернулся. Успокаивал себя соображением, что человек, говорящий на правильном, с петербургскими гласными, литературном языке, едва ли, замолчав, тут же воткнёт тебе финку в бок.

Гривнича не ошибся. Незнакомец отнюдь не походил на питерского апаша или хулигана с рабочей окраины. Весь в чёрном, в чёрной бороде и в чёрных же

лайковых перчатках, смотрелся он служащим дорогой похоронной конторы, перенесенным из довоенного прошлого. Точнее, можно было его принять за гробовщика – если бы не пронзительный взгляд глубоко запавших глаз. Отбросил Гривнич и поспешное предположение, что перед ним старорежимный швейцар или официант, разыгрывающий аристократа в отсутствие природных графов и баронов.

– Чем могу быть полезен, гражданин? – вежливо осведомился Гривнич.

В ответ незнакомец зачастил с несколько искусственной развязностью:

– Будете полезны, будете – если я имею дело с Валерием Осиповичем Гривничем, молодым человеком под тридцать без определенных занятий, он же – начинающий (давненько уж, признаться, извольте ходить в начинающих) поэт и переводчик Валерий Бренич. Я ведь не дал маху? Вам ещё бы руками опереться на парапет и ножки этак вот перекрестить – и были бы мы с вами, как Пушкин и Онегин на рисунке Нотбека, гравированном ещё одним, таким же никому теперь не интересным немцем.

– И всё-таки... Вы, значит, скупчили мои векселя?

– Какие ещё векселя? В наше-то время? Впрочем, мне известно незавидное состояние ваших финансов, и я к вам, напротив, с достаточно выгодным предложением, способным решить основные ваши проблемы.

– Вот оно что... – протянул Гривнич, наливаясь злобой и лицом темнея. – Так вот оно что! Вы, значит, из этих самых, из «юрочек»? В таком случае позвольте вам заметить, что обращаетесь не по адресу. Моя, известная в узких богемных кругах Петербурга, влюбленность в некоего прославленного поэта...

– В душку Михайлу Кузмина! Как же, наслышаны, Валерий Осипович, – развязно вставил незнакомец. – Да только...

– ...влюбленность чисто литературная и, если вам, сударь, известно это слово, платоническая, не дает оснований избирать меня объектом грязных предложений!

– Да нет же! – беззвучно всплеснул чёрными лайковыми ладонями собеседник. – Вы только что сами себе сделали это поистине грязное предложение, господин Гривнич! И неуместное, поверьте! Сомневаюсь, чтобы какой-нибудь порядочный, то бишь платежеспособный любитель ласковых

юношей польстился бы теперь на вас, вспыльчивый вы мой Валерий Осипович. Из нежного возраста вышли, животик у вас вон прорезался (это с зимней голодухи-то надуло?), а лобик – тот, напротив, уже несколько оголился. Нет, нет и нет!

– Кто дал вам право оскорблять меня? – набычился Гривнич.

– А что – никак жалеете, что наган свой солдатский с собой не прихватили? Прямо так и пальнули бы в меня, добрейший Валерий Осипович? Тогда не нужно было прятать его на балконе, в нашем-то сыром климате. Тот шоферюга из броневого батальона, что всучил его вам в семнадцатом году в обмен на бутылку «казёнки», не смазывал, раздолбай, своё немудреное оружие. А у вас наган совсем заржавел и вряд ли теперь выстрелит – даже в том, для общества, впрочем, неопасном случае, для коего вы его приберегаете в шляпной коробке.

Гривнич ахнул. Надо было уходить сразу же, не вступая в переговоры. Теперь поздно. Однако если это переодетый чекист, такой не отстанет. Уж лучше...

– Да, вы правы. Следует прекратить абсолютно ненужную пикировку. Уж лучше вернусь-ка я к картинке в «Евгении Онегине». Самого-то Александра Сергеевича Бог миловал, а вот его пылкий поклонник, Федор Михайлович Достоевский, отсидел долгие восемь месяцев в Петропавловской крепости, в сыром Алексеевском равелине. (Напрасно ищите его там взглядом, юноша, снесён равелин с его «секретным домом», вот уж четверть века, как снесён). И ещё десять лет на каторге и в солдатчине.

– А как ваше предложение связано с Достоевским?

– В нынешнем девятьсот двадцать первом году Федору Михайловичу исполнилось бы сто лет. Если точнее, то 30 октября по старому стилю, а по новому – 11 ноября. Подумать только – в одной Московской губернии шамкают сейчас беззубыми ртами сто пятьдесят три ничтожных ровесника гениального страдальца! Нет, прошу прощения, уже сто пятьдесят два.

Чёрный человек склонил голову, и показалось Гривничу, что отпечаток, тёмная тень её как бы задержалась там, где начиналось движение. Такое бывает в сумерках, а ведь и сейчас заметно потемнело. Мрачная туча потушила шпиль

Петропавловской крепости, справа косые полосы дождя накрыли уже Мост лейтенанта Шмидта, и Гривнич мимолетно пожалел, что, выходя на прогулку, не прихватил с собою зонтик. Тут он, вроде как подыгрывая самозваному собеседнику, перекрестился – и с легким разочарованием убедился, что тот не пожелал раствориться в воздухе.

– Шутки в сторону, дражайший Валерий Осипович! Я вам предлагаю занять пост секретаря и кассира Юбилейной писательской комиссии по всенародному празднованию столетия Достоевского. В сем портфеле – список поэтов, коих вам должно убедить принять звания членов комиссии, подъемные, суточные и проездные для них, а также тщательно, смею думать, разработанный мною план юбилейных мероприятий...

– Вы не по адресу. Это надо к Горькому обращаться, на Кронверкский проспект, дом 23. Дать номер телефона?

– Алексей Максимович вот-вот уедет за границу: когда такой грозный друг, как Ленин, столь настойчиво намекает, что пора отдохнуть в Италии, лучше прислушаться... Да и не любят они оба Достоевского, а если Горький и согласится с идеей юбилея, сам не будет заниматься, кому-то перепоручит. А вот вас попросить – в самый раз. Вы и литератор, и сможете отдаться делу целиком.

– Да уж, понял я. Однако же нас, мелкотравчатых литераторов, много, а вы выбрали меня – позвольте спросить, почему?

– Что ж, выбор был, не скрою. Побывал я в «Доме искусств» (если вы поклонник модных сокращений, то в ДИСКЕ), в резиденции Григория Григорьевича Елисеева собственно. Подумывал о двух тамошних молодых людях, да остановился всё же на вас. Шполянский и Зощенко, вот о ком речь...

– И чем не подошли, можно поинтересоваться?

– От вас не скрою: вам это знать будет полезно. Виктор Шполянский со всеми на свете знаком и очень деловой, он мигом бы мне всё устроил, да только он левый эсер и футурист, а они горой за революцию. Уже его корпоративная солидарность помешала бы здесь, уже она... Хотя его этакая себялюбивая хитринка, не скрою, весьма мне импонировала. Михаил Михайлович Зощенко, тот, напротив, – кристальной души молодой человек, к тому же безудержно храбр. Но на поле боя храбр, а в быту, в смраде коммуналок, где вам придётся

вертеться, – просто рохля, между нами говоря... Да и не знаю я, какие секреты можно удержать, живя в коммуналке, хотя бы и писательской! И тем более, что в писательской: вы ведь все такие болтуны! А здесь имеется и тайная инструкция, о ней после.

– Почему же после?

– Потому что я хочу, чтобы вы сначала до конца оценили моё предложение и приняли его. Да, совсем забыл... Я выбрал вас, потому что большие надежды у меня на молодых русских писателей, сохраняющих безукоризненный пробор в набриолиненных волосах. Скажите, а нет ли у вас, случайно, монокля?

– Мне достаточно и пенсне.

– Жаль... А почему не спрашиваете о своём жаловании?

– Считайте, что спросил.

– Мне известно, что вы профукали отцовское наследство ещё в конце войны. У вас теперь только что и осталось – комната в бывшей вашей квартире и счёт в швейцарском банке, но до него вам не добраться. Живёте, спуская перекупкам на толкучке содержимое своего гардероба, да и тот почти опустел. Советские рубли продолжают обесцениваться, надолго ими я вас обеспечить не смогу. Валюта для пентюхов вроде вас смертельно опасна. Поэтому... Тряхните-ка вот этим!

И незнакомец протянул Гривничу несколько потрёпанный портфель крокодиловой кожи, не отпуская, впрочем, ручки. Гривнич схватил за бока двумя руками – и едва не отдернул их: показалось, что прикоснулся к влажной и скользкой шкуре живой твари.

– Смелее, Валерий Осипович!

Раздалось тихое, для знающего слуха весьма приятное позвякивание.

– Вот именно, Валерий Осипович! Сможете спокойно пояснить, хотя бы и в ЧК, что это столовое серебро, купленное батюшкой вашим, членом Санкт-Петербургской адвокатской коллегии, и кое-какие безделушки из шкатулки сестрицы Полины Осиповны, скончавшейся в восемнадцатом году от инфлюэнцы. Раньше же не продавали из сентиментальных соображений.

– Последний вопрос. Почему бы вам самим не объездить поэтов с этими суточными?

– А вы посмотрите на меня: да кто я такой, чтобы приставать к знаменитостям с юбилеем Достоевского? Никому не известный фабрикант, вечный, с «Бедных людей» начиная, восторженный почитатель романов Федора Михайловича. Даже если бы и было у меня достаточно честолюбия, только представьте себе: вылез бы я как финансирующая сторона празднования, тут бы меня Чрезвычайка за ушко да на солнышко: «Показывай, буржуй, где золотишко припрятал!» Вот отметим мы с вами юбилей Федора Михайловича, я и уеду за кордон от греха подальше.

– А чем занимаетесь, если не секрет?

– Секрет и есть, точнее, коммерческая тайна. Ну, могу сказать, что в основном занимался горячим копчением. Достаточно с вас? А если серьёзно, так в последний раз обогатился я в незабываемом девятнадцатом, когда генерал от инфантерии Николай Николаевич Юденич едва не взял Петроград. Помните, что тогда делалось? Мне кстати, Шполянский поведал забавнейшую историю тех дней. Сидя, между прочим, в ванне Григория Григорьевича Елисеева, среди керамических лилий в стиле *moderne*. Он тогда ходил на одну литературную студию, а той отвели комнату в доме Мурузи на Литейном, в бывшей квартире банкира Гандельмана. И вот, аккурат, когда Шполянский делал доклад о «Тристраме Шенди», заявляется прямо на заседание сам Гандельман и с супругой. Банкир, тот сделал общий поклон, встал себе в уголке и стоит, а Гандельманша, не говоря худого слова, давай стряхивать студийцев с кресел и ну на каждом чехол поднимать: а не срезали ли ребята кожу на сапоги? Вот так всегда: не умею я смешные истории воспроизводить...

– А как вы заработали на наступлении Юденича?

– Да не заработал я! Просто спас кое-что из своего. Мадам Гандельман – дура, понятно, редкостная, но нашлись тогда идиоты ещё похлеще. Благодаря Юденичу мне удалось продать несколько своих предприятий, фактически уже национализированных. Есть ли другие вопросы, Валерий Осипович?

– Теперь уж и в самом деле последний, господин меценат, – криво улыбнулся Гривнич. – Расписку в том, что уступаю свою бессмертную душу, мне кровью написать – или вам и чернил будет довольно?

– Не смешите, меня, романтичнееший Валерий Осипович! Верить в бессмертную душу к концу гражданской войны, над этим теперь и Иванушка-дурачок посмеется. И расписка мне от вас не нужна. Мы вот как с вами сделаем. Забирайте себе портфель, изучите внимательно инструкцию – вот тогда и решайте окончательно, станете ли со мною сотрудничать. Если согласны будете, позвоните завтра утром по телефону 610–05, спросите меня. Если нет – и звонить не надо: сам вас разыщу.

– Кого спросить-то? – опомнившись, крикнул Гривнич в сторону моста Равенства, вдогонку таинственному благодетелю.

– Всеволода Вольфовича, – донеслось из сгустившихся сумерек.

И тут о гранит разбились первые крупные капли, а Гривнич, прижимая к груди бесценный портфель, ринулся через проезжую часть Дворцовой набережной, надеясь укрыться от ливня в подъезде.

## **Полусвиток петроградский, длинный**

### ***Глава 1. Александр Блок***

– Здравствуйте, Александр Александрович!

Больной, для чужих глаз сидящий на постели, а глянуть мутным взглядом изнутри, так подвешенный – впрочем, чувствуя всё своё большое непослушное тело, – меж бредом и явью, в надоевший жар, и опять сердце колотится, будто заняло полгруды... Сощурился знаменитый больной, вымолвил в прославленной своей ледяной манере:

– Вас тут не должно быть. Я болен, мне хуже с каждым днем, ко мне никого не пускают...

– Меня впустили. Вы не признали меня, господин Блок?

Тёмная фигура, стоит у двери. Бог с ним пока, никуда не денется. Главное, что не отвезли в больницу: вон она, заветная ширма красного дерева. И пустое

место, где стоял детский ещё шкафчик, сожжённый прошлой бедственной зимой. Это всё та же квартира, последняя (именно!) его квартира на Офицерской, над углом Пряжки. С положением в пространстве прояснилось, теперь разобраться бы со временем... Цифры на календаре расплываются.

– Сегодня шестое августа одна тысяча девятьсот двадцать первого года по новому стилю. Три часа пополудни. Так и не узнали меня?

– Вот ведь навязались... Впрочем, останьтесь. Присаживайтесь вон в те розовые кресла, если не боитесь микроба моей неведомой болезни: я в них два месяца просидел, пока не пришлось перебраться на кровать.

– Благодарю, Александр Александрович.

Посетитель, по-прежнему мутнолицый, расплывающийся, потонул в кресле, купленном заботливой мамой для сына Саши – доброго молодца гвардейского роста, косая сажень в плечах, румяного, кудрявого...

– Закуривайте. Возьмите мою любимую пепельницу. На столе она – зелёный такс мой, косит красным глазом. Мне нельзя теперь, но вдохнуть табачный дым бывает приятно.

– Не стану я курить. Едкий дым от самокрутки с махоркой вам несомненно будет вреден.

– Как знаете... Что это вы так дёрнулись? Что увидели за моею спиной – неужто Костлявую с косою?

– Хороши у вас шуточки, Александр Александрович... И вовсе не за вашим плечом я увидел, а в окне. Там, на той стороне улицы, точнее, речки, в окне стеклышко блеснуло...

– Нашли чего пугаться. Гимназистик там какой-нибудь балуется с отцовским биноклем. Говорите, с чем пришли. Только рукопись не возьму. В глазах плывёт, вас вижу чёрным пятном – не обижайтесь...

– Да я на сей раз не с рукописью. Представлюсь вторично: я Бренич. Это литературный псевдоним, а в жизни – Гривнич Валерий Иосифович. Вы меня на всю Россию прославили в очерке «Русские дэнди». Теперь – вспомнили?

– Конечно. Только мне запомнилось: Брэнч. Так немножко лучше. А ваше Бренич не звучит для поэтического имени.

– «Брэн» – есть такой пулемёт, Александр Александрович...



– Что ж, тогда актуально – этакая интернациональная, даже футуристская решительность. Почти, как Демьян Бедный. А вот Гривнич, вы уж извините, тоже не звучит.

Больной подумал, что освоился в яви достаточно, если уже поддевает самозваного посетителя. Заслужил ли бедняга? Не упустить бы нить разговора...

– ...отчего же не жалкий, смешной псевдоним? Скромному человеку – и наименование требуется поскромнее. Не каждому же придётся в пору такое звенящее – Александр Блок!

– Если хотите, прочтите пару вещей своих, Валентин Иосифович. Помнится, писали вы отчаянно декадентские стихи, не изменили ли манеру?

– Я не по поводу стихов, Александр Александрович. Прежде всего, я хочу извиниться перед вами за ту мистификацию.

– Что?

– Ну, если уж вспомнили... Когда вы мне позволили после поэтического вечера проводить вас домой, я убеждал вас, что принадлежу к пропащей группе молодежи. Нам-де при социализме остаётся только умереть, потому что к реальной действительности неприспособленны. Что все мы кокаинисты, что влюблены в порочного Кузмина, что каждый вечер – по три телефонных звонка от барышень (о, если бы так!).

– И что мы, Бальмонт, Брюсов, Блок, в том вашем окаянстве виноваты – тоже вранье? – строгим шепотом спросил Блок. – Потому что вам нужна была каша, а мы вас кормили амброзией?

– Полуправда, а что жили мы только вашими стихами, правда. Хотел я поинтересничать перед вами, Александр Александрович, припудрить, если позволите, свою ординарность.

– А что каждые полгода собираетесь...?

– ...покончить с собой? Нет, не вранье. Однако ведь жив покуда, значит, тоже полуправда. Не далее как позавчера весьма в омут тянуло, однако обстоятельства вдруг поправились. Службу мне одну предложили, а в связи с нею и вас обеспокоил. Я, кстати, пытался телефонировать вам предварительно...

– А... Телефон у нас сломался до того ещё, как во время наступления Юденича ЧК отключила все частные телефоны. Нет, позднее, в прошлом году...

Так и не починили. А теперь и вовсе не починят, я думаю. Едва ли смогу вам чем-нибудь помочь – я ведь уже говорил.

– Речь идет о юбилее Достоевского, Александр Александрович. В этом году столетний юбилей в конце октября. У меня к вам предложение войти в юбилейный комитет его председателем.

– Благодарю, но я же уже сказал, что не смогу ничем помочь... Достоевский, говорите? На следующий день после нашей с вами ночной беседы я встретился с девушкой, заявившей мне, что её любимое занятие – сидеть у печки и читать Достоевского. Я вот думаю: была бы эта девушка дурнушкой, разве я прислушался бы к её словам? Но она красива (чёрный агат, понимаете ли вы меня?), и ещё духи, а ещё такое – совсем несправедливо и незаслуженно – трепетное отношение ко мне, что невозможно было не отозваться.

– Да как же иначе можно к вам относиться, Александр Александрович? Вас продолжают любить даже те, кто порицает вашу поддержку Октябрьского переворота. А касательно духов, то девушка (я догадываюсь, о ком речь: ваши имена до сих пор связывают), небось, переполовинила флакон из маминого трельяжа. Это же надо – французские духи зимою восемнадцатого!

Чеканное лицо больного расплылось в улыбке, однако, сфокусировав взгляд на незваном госте, увидел он, что тот явно расстроен. С всегдашней отзывчивостью и некоторой свойственной ему беспардонностью (ведает такое за собой, но не поверил некогда Ахматовой, в глаза язвительно назвавшей его некогда «мастером тактичных вопросов») Блок построил свой вопрос по возможности необидно для собеседника и готовился теперь вклиниться в поток его речи.

– ...придётся им вырабатывать собственные духи, Александр Александрович. Я представляю себе их под названиями «Солдатский сапог», «Махорка», «Пот металлурга» – или вот: «Наташка». Или даже, для модников-чекистов, «Свежая кровушка»...

– Простите, но что вас так огорчило, господин Гривнич? Ну подумаешь, отказался больной писатель председательствовать в юбилейном комитете, найдёте другого. Есть известные писатели (вы догадываетесь, конечно же, о ком

я); тех, напротив, хлебом не корми – дай где-нибудь попредседательствовать... В чём дело?

– Могу ли я ответить откровенно, Александр Александрович?

– Разумеется, вот только поторопитесь, господин Гривнич. Я, действительно, очень слаб и могу, помимо моего желания, просто заснуть посреди вашего монолога...

Блок прикрыл глаза. Добавил с неожиданной резкостью:

– Слушаю вас.

– У меня ведь ещё одно поручение к вам имеется, Александр Александрович. Оно прикрывается первым, как на палимпсесте под варварским творением какого-нибудь Беды Достопочтенного скрывается светлый текст Алкея. Или как у Пушкина, где «Художник-варвар кистью сонной...

– ...Рисунок гения чернит...». Да помню я. Вот только разве юбилей Достоевского можно соотнести с «рисунком беззаконным» средневекового варвара? Дело ведь доброе, нужное...

– Да, пожалуй... Хотя... Хотя без юбилея Достоевского эта нищая, голодная страна как-нибудь обойдётся. А вот дело, в котором вам предлагают принять участие, по своей важности для судеб России с этой чередой заседаний и выступлений поистине несравнимо. Потому я и позволил себе соотнести. А обращаюсь я к вам первому, как к председателю Всероссийского Союза поэтов...

– Не по адресу обратились, господин Гривнич. В этом феврале меня выгнали из Союза поэтов... то есть членом остался, даже в суде чести их дурачком. А председателем избран Гумилёв. Вот к нему и адресуйтесь... Что с вами опять такое?

– Гумилёв на днях арестован, Александр Александрович. Сидит в Петроградской губЧК, на Гороховой.

– В губЧК он или в своей комнате в ДИСКе, именно Николай Степанович сейчас председатель Петроградского отделения Союза поэтов, а в Москве избрали другого председателя, футуриста Василия Каменского.

– Чтó для меня, для всех читателей России эти поэтические должности? Для меня и для моих поручителей именно вы, Александр Блок, самый авторитетный из русских поэтов, живая совесть русской литературы!

– О, должностей хватает у нашего нечиновного сообщества! Впору составлять поэтический «Табель о рангах». Ведь и король поэтов есть – в Ростове, кажется, выбирали, и Председатель Земного шара... Я вас слушаю.

– Вынужден я начать несколько издалека, Александр Александрович... Как бы вы отнеслись к такому тезису, что поэзия спасёт мир?

Блок тяжело вздохнул. Ответил скучным голосом, будто гимназисту изъяснял дореформенное орфографическое правило, по которому говорится «ие», «ые», а пишется «ія», «ыя»:

– Во-первых, господин Гривнич, у Достоевского, как мне помнится, спасёт не «поэзия», а «красота»... В «Идиоте» князь Мышкин заявляет, что «красота спасёт мир», и важно ведь, согласитесь, кто именно это сказал. А поэзия мир, конечно же, не спасёт. Это ещё Лермонтов прекрасно понимал. Помните, в его «Кинжале»? Нет, извините, пьеса называется «Поэт». Там говорится, что современный поэт променял на деньги свою власть над «светом». И дальше:

Бывало, мерный звук твоих могучих слов  
 Воспламенял бойца для битвы,  
 Он нужен был толпе, как чаша для пиров,  
 Как фимиам в часы молитвы.  
 Твой стих, как божий дух, носился над толпой...

Всё, как видите, в прошлом. Лермонтов имел в виду Тиртея, гимнами возбуждавшего спартанцев перед битвой. Учтите, что речь идет о спартанцах, туповатых бойцах, увлеченных одной только войной и собственным, для войны же взлелеянным здоровьем. Уверен, что Тиртей не смог бы столь же успешно вдохновить хитроумных афинян, развращенных высокой культурой своего города.

– А Некрасов? Разве можно отрицать его влияние на прогрессивную молодежь семидесятых годов? А вольнолюбивая лирика того же Пушкина?

– Послушайте меня! Мы тут в России всего за пятнадцать лет пережили четыре жесточайших национальных потрясения, три революции и мировую войну – и разве русская поэзия сыграла в них хоть сколько-нибудь заметную роль? Кстати, ведь Лермонтов очень четко воспроизвел ту же ситуацию: смотрите, политики решились воевать, полководцы отдали приказ, «бойцы» уже собрались

«для битвы», а тогда вспомнили и про поэта – иди, любезный, «воспламеняй» пушечное мясо!

– Сейчас, Александр Александрович, ситуация принципиально иная. Полоса революционных переворотов закончилась, большевики победили – и победу в ближайшие годы из рук не выпустят. А в мирное время, в стране, где гражданская война прекратилась (развертывание мировой революции или там нынешние военные экспедиции в Польшу или в Персию не в счет), в стране, где церковь полностью политически дискредитирована, духовное влияние поэзии на власть должно усилиться многократно! Речь идет не о том, чтобы один из русских поэтов сумел занять при Ленине или Троцком положение Вольтера при Фридрихе II – смягчать жестокость пролетарских вождей, напоминая им об их же обещаниях послевоенной всеобщей справедливости и общенародного благосостояния...

– Вспомнили бы ещё Платона при дворе тирана Дионисия Сиракузского... Сократите, если это возможно, господин Гривнич.

– Если возможно короче, попробую. По календарю Французской революции мы сейчас находимся в преддверии великого якобинского террора. Разруха и неумение большевиков хозяйствовать уже привели к восстаниям крестьян и даже матросов (кто бы мог подумать!), к забастовкам рабочих – возможно ли такое в пролетарском, как они говорят, государстве? С Ленина-Робеспьера вполне станется решить проблему голода простым уменьшением количества едоков. Пустить в ход гильотину, чтобы уже физически «ликвидировать как класс» оставшихся в стране буржуев, а в число буржуев у нас неизбежно попадает бóльшая часть интеллигенции. Очевидно, вырезав множество народа, русские якобинцы сами попадут под нож, однако их судьба нам с вами не столь интересна. Признаки, что коммунистическая верхушка уже приняла решение пойти на эту кровавую авантюру, имеются. К примеру, жестокость при подавлении Кронштадтского восстания, поднятого классово близкими матросами. И арест Гумилёва, между прочим, тоже.

– Николай Степанович сел по ошибке. Не он первый. В ЧК не полные же идиоты: разберутся, выпустят, – не открывая глаз, чётко произнёс Блок.

– Не знаю, лично у меня очень скверные предчувствия, – пожал плечами Гривнич. – Мои доверители полагают, что единственный выход – противопоставить большевикам духовную оппозицию. И в первую очередь, для того противопоставить, чтобы спасти поэзию как выразительницу нашей сегодняшней духовности. Вы же ещё в феврале сами говорили в своей пушкинской речи об «отсутствии воздуха» в России, убивающем поэтов. Не один поэт, пусть самый авторитетный, должен решиться на духовный подвиг – нет, все лучшие поэты должны взяться за руки, забыть разногласия и...

Он замолчал, ибо дыхание его знаменитого собеседника, секунду назад шумное и аритмичное, вдруг успокоилось, притихло. Блок потерял сознание или заснул. Гривнич в недоумении приоткрыл рот, затем махнул рукой – и продолжил излагать ему порученное.

Он правильно поступил: потому что Блок не потерял сознание и не заснул, а снова очутился на всё тех же опостылевших своих качелях полуяви, полусна. Предложение чудаковатых доверителей обманного «русского денди» оказалось мистическим – чему ж удивляться? Кому ж и предлагать головокружительные мистические проекты, как не мистификатору? Ведь он и появился, этот преждебывший молодой человека, из ниоткуда, проскользнул неведомо как мимо бдительной Любы, столь радеющей о муже – ох, не к добру её кроткая заботливость... А Брэнч проник, словно ангел, или, уж скорее, если вспомнить кокаин и звонки от барышень, словно бес, – ему ведь нигде не загорожено. Если бес он, то и телефон мог бы починить – надо было попросить. Каюсь, подумал я, что это немец (тот же бес) из Берлина с деньгами или порученец из Кремля, от Каменева, с мандатом на санаторий. Поздно, со мной уже покончено, слопала-таки меня поганая, гугнивая матушка Россия, родимая моя родина, слопала, как чушка своего поросенка. А проект хорош и сейчас, а десять лет назад все наши доморощенные мистики и духовидцы в него вцепились бы – и первый Боря Бугаев... И тем уже хорошо придумано, что позволит объединить хоть на время наше себялюбивое холодное племя, побудит вспомнить и по-человечески оценить друг друга, преодолеть абсурдное противостояние петербуржцев и москвичей, заставит футуристов хоть ненадолго вернуться на грешную кровавую землю... Да, от христианства не жди теперь чудес, а от тупого нашего православия, в

Российской империи ставшего чиновничьей государственной религией, преследовавшего старообрядцев и сектантов, благословившего кровавых палачей белого движения – тем более. Это же надо было такое придумать – батальон из одних попов в армии Колчака-вешателя! Православие теперь может только честно, достойно умереть – если сумеет. А поэзия, ведь она сама по себе есть чудо, и кто ж может ручаться, что совокупно наши смелые мечтатели и трусливые волокиты не сумеют принести священную жертву Аполлону? Вот она где, опасность: подставиться в случае неудачи, всунуть неосторожно голову под железную пятау ЧК...

Гривнич умолк. Он сообщил всё, что было ему поручено. Охватившее его минутное довольство собою не в малой степени определялось приятной тяжестью в желудке: сданных утром двух серебряных ложечек хватило бы не только на пшеничную кашу, заправленную настоящим подсолнечным маслом, однако он не хотел рисковать, обедаясь после голодовки. Человек в чёрном, открывший ему дверь в квартиру № 21, как только Любовь Дмитриевна спустилась по лестнице с хозяйственной корзинкой и покинула подъезд, сказал, что подождёт за углом, потому что дверь достаточно просто прикрыть. Просто захлопнуть за собой: замок английский. Гривничу очень хотелось бы увидеть, как выглядит сегодня небожительница, вдохновившая Александра Блока на «Стихи о прекрасной даме» (с площадки верхнего этажа, через перила перегнувшись, он разглядел давеча только по-прежнему тугие плечи, полускрытые полями летней шляпки), однако побоялся её дожидаться: дама решительная, а по слухам, так даже скандальная, Любовь Дмитриевна вполне способна запереть его где-нибудь в чулане и вызвать милицейский патруль.

Гривнич вздохнул и, наказывая себя за боязливость, тихо прошёлся по комнате. Надо разыскать своё канотье (сунул в смятении чувств неизвестно куда) да и запомнить обстановку в квартире: придётся ведь рассказывать о сегодняшнем визите внукам или (вот это звучит правдоподобнее) заветной тетрадке мемуаров, чтобы, так никем и не прочитанная, раскисла она и растворилась в болотной тине – ведь не миновать снова разлиться болотам на месте выстроенного под несчастливой звездой Петрополя. Проходя мимо высокого окна, присмотрелся к неказистому зданию через речку, где блеснула тогда, в самом начале разговора,

стекляшка. Показалось, наверное... Гривнич поклонился Блоку, спящему сидя с прямой спиной, откинувши строгий свой лик к стене, развёл извинительно руками, выбрался из комнаты и тихо прикрыл за собою высокую дверь.

## **Глава 2. Чекист Луцкий**

Стёклышком, блеснувшим четвертью часа ранее в открытом окне неказистого трёхэтажного домишки на правом берегу Пряжки, была передняя линза подзорной трубы, настоящего астрономического телескопа на треноге: реквизированный года два тому назад чекистами в Пулковской обсерватории ввиду срочной оперативной надобности, он без толку пылился в каптёрке, пока сегодня его не взял под расписку у горластого каптёра агент Петроградского губЧК Пётр Луцкий, а по-настоящему же Збигнев Куликовский. Теперь временный пользователь телескопа подозревал, что его товарищам подсунули в Пулкове инструмент заваливающий, самим астрономам вовсе и не нужный. А бинокля не выдал ему каптёр, клялся, что на складе нет. Впрочем, своё дело труба исполняла и наблюдение за квартирой подозреваемого обеспечивала.

Здесь, в комнатке под самой крышей, а потому в дождь заливаемой, а в солнечную погоду чересчур жаркой и вонючей, агент Луцкий оказался не по своей воле, а согласно приказу начальника осведомительного отдела товарища Карева.

– Вот что, Пётр, – сказал ему позавчера товарищ Карев. – Ты у нас человек в Питере новый, город ещё толком не изучил. Ведь не изучил, правда?

– Хрен тут его изучишь, – проворчал несдержанный на язык Луцкий, – если каждый тебя гоняет, как пацана.

– Луцкий, сумка у тебя есть?

– Ну, имеется у меня полевая сумка.

– Так гонор свой польский – в сумку! Понял?

– Так точно, понял я, товарищ начальник, – подскочил с табурета и вытянулся Луцкий.

– Уж извини, Пётр, но это у себя в Харькове ты был человек известный, награжден, я слышал, самим Феликсом Эдмундовичем Дзержинским, однако



здесь мы сейчас не бандитов подстреливаем, а совсем другими делами заняты. Училища своего у нас нет, и нашему чекистскому ремеслу, тонкому и политическому, только так вот и возможно обучиться – мотаясь по городу, выполняя разнообразные поручения, а они вовсе не бестолковые и пустые, это кажется тебе. Понял теперь?

– Так точно.

– То-то же. Сегодня я даю тебе первое серьёзное задание, ты с ним справишься и без особых знаний топографии Петрограда. Слушай внимательно. Сейчас все мы трудимся на Особый отдел, а он разрабатывает контрреволюционный заговор питерской буржуазии, созревший, как нарыв, у нас под самым носом. Твоя задача – установить наблюдение за квартирой Блока. Адрес вот на бумажке, теперь я тебе на карте покажу.

Пётр послушно подошел к стене и уставился на карту, как баран на новые ворота. Он не получил никакого военного образования: в солдатской школе не учился, окопных университетов не проходил, да и боевой его опыт, если не считать драпа в составе уездной Бердичевской ЧК до самого Харькова во время польского наступления, ограничивался перестрелками с бандитами и погонями за ними на тачанке. Товарищ Карев хмыкнул, отодвинул Петра плечом от карты, показал маршрут от Гороховой до Офицерской и ткнул пальцем в вершину прямого угла, с одной стороны ограниченного белой и голубой линиями, а с другой – только белой.

– Вот здесь квартира подозреваемого, «21» на третьем этаже. Блок вообще-то живет в «23», этажом выше, а сейчас занимает квартиру матери. Мать его временно выехала. Твоя позиция – здесь, через речку, с биноклем. А здесь – конспиративная квартира, там есть телефон. Вот ключ от неё, адрес – на той же бумажке. Следишь за квартирой Блока днём и ночью, если появится подозрительный посетитель, бежишь на нашу конспиративную, телефонируешь лично мне, а я уж скажу, что тебе дальше делать. Понял?

– А не лучше бы обоих сразу повязать, товарищ Карев? Ещё смотают удочки, пока я до телефона доберусь.

– Слушай, да знаешь ли ты, кто такой Александр Блок? Ты его поэму «Двенадцать» читал?

– Я из сапожников, товарищ начальник, в революцию пришел. Два класса церковно-приходской школы имею за плечами, только и выучился, что читать-писать. Про Мицкевича и Шевченку – и про тех только слышал.

– Ничего, мы все на ходу учимся. При прежнем режиме учеба не для таких, как ты, заведена была, а теперь... Некогда теперь, вот разве что после мировой революции. Значит, слушай. Поэт Александр Блок – личность в Питере всем известная и всеми уважаемая. Он вместе с Советской властью с самого Октябрьского переворота, создал, как многие считают, первое произведение нашей советской литературы – ту самую поэму «Двенадцать». Однако... Вот ты, Пётр, член какой партии?

– Как это какой? Обижаете, товарищ начальник... Я в РСДРП (большевиков) с девятьсот тринадцатого года, с пролетарского моего, подмастерьем ещё был, ученичества. Имею право такой вопрос и некоторым другим задать...

– Да не ершишься ты, кому сказал! Видишь, хоть и был ты сапожник необразованный, однако классовый инстинкт подсказал тебе правильный путь. И такой же, как Блок, знаменитый поэт-символист, Валерий Брюсов в Москве не только принял революцию, но и вступил в нашу с тобой партию.

– А это что за хренотень такая – символист?

– Тебе оно пока не нужно, Пётр. Я и так с тобой завозился. В общем, Блок революцию-то принял, но сам яхшался больше с левыми эсерами. Они в восемнадцатом году подняли мятеж, а когда в девятнадцатом попытались снова выступить против нашей партии, Блок несколько суток просидел тут у нас, в холодной. Потом наши ребята разобрались, что он только стихи свои и статьи в эсеровских газетах печатал, и отпустили.

– То дело, по моему разумению, давнее...

– Угу. А вот тебе поновее. Весной Блок в международном вагоне, что твой нарком, ездил в Москву, решал свои писательские дела. Однако, между прочим, был в гостях у самого Льва Борисовича Каменева, в Кремле.

– У председателя Моссовета?

– Да. Они хорошие знакомые по Петербургу. И только один дьявол знает, не передал ли Каменев через Блока инструкции своим сторонникам-

оппозиционерам в Петросовете. Блок – отличная возможность обойти легальные партийные линии связи, которые, понятное дело, нами, ленинцами, контролируются.

– Беспартийный приятель товарища Каменева, вот оно что...

– Дальше. Блок в последние полгода высказывал резкое недовольство диктатурой пролетариата. Воздуха ему не хватает, свободы... И самое главное. До февраля сего года Блок был председателем Союза поэтов, потом переизбран, а председателем стал Гумилёв...

– Союз поэтов – это и есть та самая контрреволюционная организация, это их мы сейчас трясём?

– Нет, Пётр, оно вроде писательского профсоюза. Так вот, на днях наши Гумилёва арестовали, и в его бумагах обнаружена недавняя переписка с Блоком. Едва ли не шифрованная: будто бы какой-то Голлербах пожелал быть принятым в этот Союз поэтов, а Гумилёв как председатель выступил против. Тогда Голлербах обратился будто бы в суд чести, членом которого является Блок, требуя от Гумилёва извинений. Скажи, Пётр, возможна ли такая галиматья в Петрограде, на четвертом году пролетарской революции?

– Похоже, точно шифр, товарищ начальник.

– Кронштадтское восстание мы проморгали, это надо честно, коммунистически, признать, так что уж лучше теперь перестраховаться. Конечно же, Гумилёва допрашивают, однако не мешает нам и за Блоком присмотреть. Он, кстати, болеет сейчас, из дому не выходит, тебе это только на руку. Дома с ним одна жена осталась, актриса Любовь Дмитриевна Басаргина – дамочка под сорок, плотная такая, но не толстуха. Фотографию самого подозреваемого тебе наш библиотекарь покажет. Можешь идти, Луцкий, если не имеешь больше вопросов.

Впрочем, ещё один вопрос нашёлся у самого товарища Карева, когда агент Луцкий взялся уже за бронзовую дверную ручку:

– Там, в Харькове, вам читали приказ о расстреле чекиста транспортного отдела Екатеринославской губЧК Котлярова за пьянство и раскрытие конспиративной квартиры?

– Так точно, – ответил Пётр. – Наслышаны мы.

И взял себе на заметку, отправляясь в каптёрку за биноклем, что очень уж твердо выговаривает товарищ Карев: видать, латыш или немец.

Вот так, полдня на беготню предварительно потратив, и водворился чекист Луцкий на своей голубятне. Коли б не вонь в комнатке (пока крыша не прохудилась, и дыру в потолке не размыло, в ней бродяги, видать, обретались), не служба была бы, а лафа. Подозреваемый, как больному и положено, лежал, наверное, всю дорогу, и его, прямого, будто палку проглотил, и вовсе не кудрявого, как на картинке в книжке, Пётр углядел в трубе только пару раз, когда Блок выходил из своего помещения, надо думать, по нужде. Басаргина появлялась в высоких окнах квартиры куда чаще, но к ней чекист не особо присматривался: во-первых, ему нравились дамочки малого роста, бойкие и сублильные, а во-вторых, в телескопе он видел всё вверх ногами – а что эдак в молодке разглядишь?

Пётр как раз постукивал по подоконнику пайковой воблой в рассуждении пообедать, не прерывая слезки, когда добросовестное, неусыпное наблюдение принесло первые плоды. В подъезд вошли два буржуя. Тотчас же, сделав над собою умственное усилие, Пётр припомнил их внешность: один помоложе, в серой пиджачной тройке, в плоской соломенной шляпе, второй повыше и постарше, весь в чёрном, как гробовщик.

В квартире Блока они не появились, и чекист расслабился, решив, что буржуи наострились куда-нибудь ещё, а не к подозреваемому. Тем временем Басаргина, посутившись на кухне и затем в недоступной для наблюдения глубине квартиры переодевшись в уличное, мелькнула, уже в шляпке набекрень, у мужа в комнате и через пару минут вышла из подъезда. Вышагивала, хозяйственной корзинкой помахивая и легко, но некрасиво, носками в стороны, выставляя на тротуар ботиночки из-под светлой и короткой, выше щиколоток, юбки. Карточки отправилась отоваривать, куда же ещё? Пётр ухмыльнулся, припомнив, как он, мальчишкой ещё мечтая о революции, представлял её непременно в грозе и буре, под чёрными тучами и блистающими молниями – как *Zmartwychwstanie*, Страшный Суд, жупелом этим пугал в костеле ксендз-проповедник. Кто бы мог помыслить, что на четвёртом году пролетарской

диктатуры по Петрограду, колыбели Великой революции, будут порхать такие вот дамочки!

Но тут произошли в наблюдаемом пространстве перемены, сразу выбившие из головы агента Луцкого ненужные мыслишки. В комнате подозреваемого мелькнула незнакомая личность, и почти одновременно краем глаза усмотрел Пётр некое движение у подъезда той стороны четырёхэтажной домины, что на речку смотрит, и перенацелил туда телескоп. Тот, в чёрном, коротко сказать «гробовщик», вытащил из кармана сложенную газету, развернул и, основательно из-за газеты осмотревшись, зашёл за угол и там остался. Пётр сунул воблу в карман, сглотнул бесполезную теперь слюну и, сдерживая излишнюю торопливость в выводах, вернул телескоп к окнам квартиры подозреваемого. Ясно, что «гробовщик» стал на стрёме, да только мало похожи буржуи на бандитов – и даже на столичных, лощеных. Покрутив туда-сюда окуляр, Пётр увидел в окне, что тамошняя прибавочная личность – тот самый молодчик в сером костюме, вошедший вместе с «гробовщиком» в подъезд. Висел в окне вниз головой, уже без шляпы, а потом скакнул ещё выше и стал виден только по плечи – сел, стало быть. Рот раскрывает, руками машет – разговаривает. Нет, не бандиты они, эти франты по части ЧК.

Пётр вытащил из нагрудного кармана френча казённые часы «Павел Буре» на цепочке, щёлкнул крышкой, засёк время и, высунув от усердия язык, записал огрызком карандаша на обороте записки товарища Карева: «Три с четвертью». Потом убедился, что на объекте наблюдения ничего не изменилось, снял со стола телескоп, поставил на пол и накрыл рогожкой. Дверь с дырой на месте замка примотал бечевкой и, растопив над зажигалкой сургуч, запечатал круглой печатью «Доктор медицины Яковъ Яковлевичъ Иоффе», выигранной в очко года два тому назад.

Подбегая к доходному дому на Лермонтовском проспекте, где указал ему товарищ Карев одну из конспиративных квартир ПетроЧК, агент Луцкий весьма кстати припомнил разговоры в чекистской курилке о том, сколь славно использует порой начальство такие казенные гнездышки и как опасно застать там кого из членов коллегии с посторонней девицей – опасно для мелкой сошки, что

застала, конечно. Но делать было нечего, он взбежал, уже задыхаясь, по лестнице, на площадке огляделся и сунул ключ в замочную скважину.

Пусто, слава Богу. Душно, пыль. По проводу из прихожей выследил он телефонный аппарат и вот уже крутит ручку.

– Барышня, коммутатор ПетроЧека!

Покидал агент Луцкий квартиру, по-прежнему не теряя драгоценного времени, только вот решительности в нём поубавилось. Товарища Карева на месте не оказалось, а дежурный заявил ему, что весь народ разъехался на аресты, и пусть он, Луцкий, выполняет приказ, действуя по обстановке.

### ***Глава 3. Николай Гумилёв***

В смутных чувствах спускался Гривнич неметёной лестницей дома на Офицерской, будто с Олимпа на грешную нашу землю. Почему именно к Блоку – высокому красавцу, в двадцать пять лет счастливо женатому, к тридцати годам богатому и благополучному, в сорок лет продолжающему сводить с ума барышень, – Бог был так всецел, что даровал и поэтический гений, и трудолюбие? А что делать нам, тоже поэтам, снующим строки с той же ритмикой, что у Блока, и наспигованные куда более смелыми образами, почему же у нас получается чёрт те что! Бывало, себя по окорокам похлопаешь («Ай да Бренич! Ай да молодец!»), а поймашь кого-нибудь, прочитаешь – смотрит в сторону, мычит... Потом и сам осознаёшь, что опять не то – фальшиво и мутно. Блок, тот хоть честен и прям: не нравится – так и скажет, и к тому же не постесняется объяснить, что именно и почему не нравится. О, Блок!

Гривнич вышел из подъезда на послеполуденное августовское солнце. Убедился, что по-прежнему держит канотье за тулью, расправил, надел, выровнял на голове. Огляделся, не увидел ни извозчика, ни Человека в чёрном, пожал плечами. Ах да, благодетель, назвавшийся Всеволодом Вольфовичем, предупредил, что хочет проверить, не увязалась ли за ними слежка. Какая чушь! Гривнич повернул в сторону моста, желая пешком, в неспешных раздумьях, выйти на свой Литейный. Общение с таким человеком, как Блок, действовало на Гривнича, будто первая рюмка коньяка после длительного воздержания. Видно,

уязвленное честолюбие мобилизует в тебе все творческие силы, и ты пытаешься выпрыгнуть из себя, чтобы хоть немного соответствовать мэтру. Так, может быть, именно сейчас, в пронзительные эти мгновения, и принять решение, которому предстоит изменить его жизнь? Если за десять лет не удалось сделать себе имя в поэзии, то не пора ли образумиться и бросить попытки проломить стену лбом? Говорил же пьяный Голлербах в «Привале комедиантов»...

Гривничу так и не удалось поймать за хвост судьбоносную мысль, почти прорезавшуюся на фоне всплывшей в памяти болтовни Голлербаха. Прямо перед ним возник, словно чёрт из табакерки, долговязый парень во френче и в солдатской фуражке. Сунул ему в нос револьвер и, задыхаясь, выговорил:

– Руки вверх! Лишний раз дёрнешься – стреляю!

Не успев испугаться, памятуя, что знающие люди советуют первым делом успокоить налётчика, Гривнич поднял руки и забормотал:

– Отведите в сторону дуло – так ведь и выпалить недолго... Оружия у меня нет... Деньги все отдам, не беспокойтесь...

– Нахрен мне твои деньги? Топай к стене! Мордой к стене, я говорю!

Очень не захотелось Гривничу поворачиваться спиной к нервному налётчику, но и не пришлось. Внезапно парень с револьвером рухнул, подняв с тротуара столб пыли, а коренастый мужчина возник на его месте, стащил, покривившись, с правой кисти кастет и прикрикнул на Гривнича:

– Что встали? Затащим его в подъезд. Руки, руки опустите.

Тут и сам коренастый застыл. И скоился так ужасно, будто хотел заглянуть себе под правую лопатку. Гривнич присмотрелся к чёрной тени, вырисовавшейся в пыли за коренастым, и вздохнул с облегчением:

– Наконец-то, Всеволод Вольфович! Тут без вас чёрт знает что делается.

– А ведь мистер Сидней Рейли дело говорит. Не дёргайтесь, мистер Рейли, это всего лишь карандаш. Возьмите лучше типа за руки, а вы, Валерий, за ноги – и понесли.

В подъезде Гривнич оторопело наблюдал, как коренастый незнакомец (Сидней Рейли?!) и Всеволод Вольфович сноровисто обыскивают безучастного налётчика, перебрасываясь отрывистыми фразами:

– Чекист! Красная сволочь!

– В малых чинах... Не троньте его, мистер Рейли!

– Адреса какие-то...

– Первый – Александра Блока, тут рядом на Офицерской. Второй надо запомнить. Хорошо бы его проверить...

– Или засвечен. Или чекистский притон. Надо бы всё-таки заглянуть...

– Ключ. От замка, слишком дорогого замка для такой мелкой сошки... Если от второй, что на записке, квартиры, хорошо было бы оттиск сделать. Жаль, времени нет.

– Шпалер-то слабоват... Так заберите ключ – тоже мне problem!

– Так, так. Так, значит. Всё на место, мистер Рейли. Вы его не слишком сильно стукнули?

– Нет, только чтобы оглушить... Мне ж его ещё допросить надо. Как это всё на место? И чекистское удостоверение, тоже скажете – на место?

– И удостоверение. Если хотите, чтобы я помог вам, это тоже забудьте – допросить...

– Нет уж, воблу не отдам! У меня два дня маковой росинки во рту не было!

– Чёрт с ней, с воблой, берите. Да так оно и правдоподобней! Уходим. Валерий, ау! Проснитесь!

Оставив чекиста в подъезде, вывалились они на улицу. Солнце скрылось уже за облачком, жара притухла. Гривнич со странным бесстрашием, будто приключение происходило во сне, рассматривал неуловимого английского шпиона. Круглая стриженная голова обвязана носовым платком, на плечах грязная клетчатая рубаша и жилетка, обут на босу ногу в опорки, источающие жуткое зловоние.

– Всеволод Вольфович, а как вы мистера Сиднея Рейли узнали?

– Ишь ты, а я думал, это от чекиста такое ambgée... Как было не узнать, если Чрезвычайка два года тому назад приговорила нашего гостя к расстрелу, а «Петроградская правда» вместе с приговором напечатала его портрет? Впрочем, некогда...

– Вы же из the French Secrete Service? Я вас узнал в «Астории». Проследил за вами, желая встретиться для организации взаимодействия, подслушал вчера ваш телефонный разговор... А потомстряслась со мною эта немислимая



катастрофа. It was possible only in this dirty Russia. Ах, простите, молодой человек, не имел чести познакомиться с вами...

– Гривнич Валерий Осипович, знаю, между прочим, четыре европейских языка, – гордо заявил молодой человек. – А насчет dirty Russia мог бы с вами и поспорить.

Бабёнка, по виду горничная, обвешенная мешками и мешочками, пару минут как появившаяся из-за угла, обогнула странную троицу по большой дуге, вернулась на тротуар, а через два дома замедлила шаг и оглянулась.

Мнимый (Гривнич в том окончательно убедился) Всеволод Вольфович проводил бабёнку задумчивым взглядом, вздохнул и заявил грубовато:

– Ну ладно, разбежались. Вы со мною, Сидней, я помогу вам деньгами, как и обещал, хоть к французской разведке и не имею отношения. Надо ведь поддержать человека, наскაკивающего, как Давид на Голиафа, на безбожных большевиков. Ишь ты, dirty Russia... Не видали вы ещё грязной России! Подумаешь, решили ради конспирации переночевать у питерской проститутки, а она оказалась наводчицей.

– Угадали, коллега, – усмехнулся одними губами меднолицый Сидней Рейли. – Еле ноги унес, а кастет пришлось у беспризорника отобрать. За братскую помощь заранее благодарен.

– А вы, Валерий, пока кухонная эта прелестница вас не опередила, поспешите на угол... ага, Офицерской и проспекта... (вот ведь беда, старые названия улиц забыл, а новые не вспомню)... Короче, на первый перекресток за мостом. Там стоит постовой милиционер. Расскажите ему, что разговаривали с нашим приятелем, а тут его сзади саданул по голове какой-то бродяга. Вы испугались и прибежали за помощью. А не найдёте постового, сами ловите на Садовой извозчика, грузите болезного и везите прямо в ЧК. Возможно, чекист, очухавшись, скажет, что видел нас с вами вместе. Твердите на допросе, что это было случайное совпадение, что мы вместе вошли в подъезд, я-де поднялся выше, а на какой этаж, вы не обратили внимания – на меня тоже. Волновались-де перед встречей с великим Александром Блоком, хе-хе-хе.

– Так ведь посадят нашего молодого человека, – грустно, будто его такая перспектива и впрямь огорчает, выговорил англичанин.

– Посадят – и выпустят. Быть может, выпустят. Зато это единственная возможность для Валерия Осиповича навестить в тюрьме Николая Гумилёва. Шансы не так и плохи – вероятность в пределах тридцати трёх процентов.

– Откуда такая точность предсказания, Всеволод Вольфович? – уже зная, что согласится, задиристо спросил Гривнич.

– А на Гороховой всего две камеры, Валерий: комнаты на верхнем этаже с номерами «94» и «95», смежные, следовательно, фактически одна камера. Кроме неё, Гумилёв может оказаться в чекистской «Предварилке» на Шпалерной, а если, не дай Бог, он признан особо важным заговорщиком, так могли уже и на допросы в ВЧК отправить, в Москву. Куревом я с вами поделюсь, а без чистого бельишка пару дней как-нибудь перекантуетесь. Вы вот ещё что: отдайте мне на сохранение вашу легкомысленную шляпу, воротничок отстегните – и в карман, галстук, само собой, тоже... И вот что, дайте мне, пожалуйста, вашу расчёску, – безжалостно разлохматил пробор Гривнича, присмотрелся и хмыкнул. – Так вам гораздо лучше. Теперь бегите!

Вот так и оказался Гривнич в камере № 94 на Гороховой. Конвоир, пробормотав что-то (не расслышал узник, потому что давление у него поднялось и в ушах зашумело), втолкнул его внутрь и за спиной загремел щеколдою. Казенный, то бишь сапожный, махорочный и шинельный, запах в коридорах ЧК, напомнивший и больницу, ибо отдавал карболкой, не сменился, а агрессивно дополнился вонью фекалий и пота отчаянно напуганных людей. Волна чужого страха и паники едва не отбросила Гривнича на дверь, и он, сам успевший уже порядочно перетрусить, на мгновение испытал гаденькое чувство превосходства над заполнившими темницу обречёнными. Судя по рассказам бывалых арестантов, сейчас его, новичка, полагалось бы протолкать на место у параша, однако, похоже, никому нет до него дела. Глаза Гривнича привыкли к полутьме, он огляделся: потные лысины, пенсне, болтающиеся на шнурках, трясущиеся губы... Питерской академической интеллигенцией набит сегодня чекистский ягдташ, каменный мешок для дичи, а этот бестолковый народец не способен организовать ни причудливую, опасную для чужаков иерархию уголовников, ни чёткое самоуправление заключенных-революционеров.

Осторожно двинулся Гривнич вдоль тесного ряда железных коек, составленных вплотную, без промежутков, высматривая местечко, где бы хоть на краешек присесть. Безрезультатно прошел так всю «94» и через дверной проем со снятым дверным полотном внедрился в смежную к ней «95» комнату. Не искал при этом глазами Гумилёва, потому что поручение напрочь вылетело у него из головы, и испытал немалое, с прикусом вины и душевного дискомфорта, потрясение, когда вдруг услышал знакомый голос, уверенно и покойно, будто на гулянии по Морской, выговоривший:

– Ба, да ведь это Валерий Осипович!

Голос был Гумилёва, а присмотревшись с усилием, убедился Гривнич, что и впрямь он – худой, угловатый, если не костлявый, остриженные под машинку волосы поредели спереди на продолговатой, дыней, голове, бледное, потом покрытое лицо – в редкой и кустистой тёмной щетине. Лежит, ногу на ногу положив, а руки за голову закинув. Рукава неясно белеющей рубашки заворочены, ворот расстегнут, пиджак и жилет, очевидно, свёрнуты и под головой.

– Здравствуйте, Николай Степанович. Если бы вы знали, как нужны мне!

Показалось ему или нет, что Гумилёв приложил палец к губам? Тут же легко сел по-турецки на голых досках койки, хлопнул ладонью по освободившемуся пространству. Заявил почти весело:

– Садитесь, Валерий Осипович! Извините, вовсе не хотел скаламбурить. Какими судьбами, не спрашиваю, потому что некорректно, руки не подаю – уж точно негигиеничен шейкхэнд в здешних условиях. Но всё же очень мне любопытно, для чего я вам так настоятельно понадобился.

– Какими судьбами? Одно только могу сказать, Николай Степанович, что ни в чём не виноват...

– Это же самое вам здесь всякий скажет, – по-волчьи ухмыльнулся Гумилёв.

– ...и что не позже завтрашнего дня выйду на свободу.

– А вот такой оптимизм в здешней компании редкость. Разве что в первые дни после ареста – как, впрочем, и в вашем случае... Единственно, о чём я вас попрошу: желательно ни слова здесь о политике. Есть в нашей камере господа,

которые тоже ни в чём не виноваты и тоже хотят завтра же выйти на свободу – а для этого готовы уже буквально на всё. Понимаете?

Гривнич отметил, что на последних фразах поэт не повысил голос: стало быть, не желал какого-то конкретного доносчика уязвить. Потом с обидным запаздыванием сообразил, что сказанное может касаться его самого, и побагровел:

– Ко мне слова ваши нисколько не относятся, Николай Степанович. Меня дежурный по ГубЧК отправил в камеру для того только, чтобы утром разобраться. Все следователи, говорил, на арестах, не до тебя сейчас.

– О, счастливец! От всей души желаю вам утром выбраться отсюда. Однако впереди у нас ещё несколько часов до ужина – вполне экзотического, сами увидите, потом отбой, сладкие сны, утром – горькое пробуждение, вынос параша и не менее экзотический завтрак. А допросы начинаются только после десяти, когда кое-кого отправят на Шпалерную, и станет на время попросторней. К тому же, поскольку я всех в шахматы обыграл (разумеется, шахматы тут классические, изваянные из хлебного мякиша), на меня здешние дуются, и играть со мною никто не желает. Как видите, впереди бездна времени, чтобы изложить ваше ко мне дело.

Гривнич рассмотрел, наконец, что они с Гумилёвым заняли узенький коридор, с двух боков ограниченный двумя широкими спинами и задами: правая спина в грязной нательной сорочке, левая – голая, вся в жирных складках, поросших длинным рыжим волосом.

– Только прежде устройтесь поудобнее, Валерий Осипович. И советую разоблачиться, подобно нам, грешным, а не то от здешней жаркой духоты вас может хватить тепловой удар. Вот, этак-то лучше. А пиджак лучше повесить на спинку койки: тогда сможете прислониться к пиджаку...

– Я не смогу так долго выворачивать голову, как сейчас, Николай Степанович, чтобы разговаривать с вами...

– Можете и не глядеть на меня. А то садитесь ко мне лицом, vis-à-vis. Не умеете по-турецки или на корточках, как бедуины, так подогните ноги перед собою, словно барышня на пикнике.

«При чём тут барышня?» – неприятно удивился Гривнич, повозился, устраиваясь, и доложил тоном довольно напряженным:

– Я готов.

– Вы что ж – обиделись на мою назойливость, Валерий Осипович? Полноте, позвольте объясниться. Я постарше вас, у меня, как-никак, немалый опыт солдата-фронтовика и путешественника, и я давно заметил: опасность переносится куда легче, когда ты не один, а с товарищем. Вас я знаю давно и считаю порядочным человеком... Чу! Извините.

Гривнич и сам уже прислушивался к неясному, но густому шуму, проникнувшему в камеру из соседней: прорезалось в нем шарканье подошв, грохот засова.

– Улов после дневных арестов, только и всего. Нашу камеру, как всегда, пополнят во вторую очередь... Так о чём это я, Валерий Осипович? Вспомнил, о пользе общения на тюремных нарах. Признаю её, да только со здешними господами меня знакомили чекисты на очных ставках, что, согласитесь, не лучшая для моих сокамерников рекомендация. И как сойтись с человеком, перманентно находящимся в состоянии панического ужаса, когда инстинкт самосохранения у него взбесился? Я тут от нечего делать вспоминал некоторые вещи Пастернака – и с удивлением обнаружил, что мне могут быть близки его строки. Те, где

люди в брелоках отчаянно брюзгливы

И вежливо жалят, как змеи в овсе.

– «Как змеи в овсе» – это, пожалуй, чересчур, – пробормотал Гривнич и оглянулся на лохматую спину, будто проверил, не висит ли на ней брелок. – Пастернак словно стреляет навскидку или совсем уж наугад.

– Чересчур-то чересчур, но разве «как блохи в овсе» было бы предпочтительнее? А что стреляет наугад, так на войне именно шальные пули – самые опасные. Однако вы же не стихи этого плаксивого кубофутуриста хотели обсудить со мною, Валерий Осипович?

– Нет, конечно. «Плаксивый футурист» – ну, ну... Я хотел отнестись к вам, как к председателю Петроградского отделения Союза поэтов.

– Неужто заявление подавать о вступлении в Союз? – ахнул Гумилёв. – Вот ведь нашли место...

– Упаси Боже! – не вполне искренне ужаснулся Гривнич. – Как стихотворец я не созрел для членства в Союзе, а теперь уже думаю, что никогда и не созрею.

– Ну, этого-то наперёд никто утверждать не может, – неохотно протянул Гумилёв и вдруг, придумав, небось, пристойный выход из щекотливого положения, оживился. – Вас, наверное, история с попыткой Голлербаха отпугнула? У нас с ним, пижоном царскосельским, чуть до дуэли дело не дошло. Он ведь ещё и Блока в эту кляузную историю хотел запутать, да не на того напал. Кстати, что там, на воле, слышно о нашем Зевсе-Олимпийском? Всё ещё болеет?

– Да. И не заметно, чтобы шёл на поправку. Я был у Александра Александровича не далее, как сегодня перед обедом. По тому же делу, что и к вам... – тут Гривнич прикусил язык: не хватало ещё проболтаться, что добровольно сел в чекистский застенок, надеясь встретиться тут с Гумилёвым. Сразу же нашёлся. – И с Голлербахом на днях ужинал в «Привале». То есть это Эрик Федорович ужинал в «Привале комендиантов» и пригласил меня за свой столик, а я перенёс туда свой стакан с химическим чаем «Шамо». Правда, когда он, опьянев, возымел намеренье плеснуть мне под столом очищенной политуры, я не отказался. Слаб человек!

– В наше время кто бы отказался? Я сейчас и от понюшки кокаина не отказался бы – не прихватили с собою, Валерий Осипович?

– Нет, что вы, – Гривнич, сам себе удивляясь, не обиделся. – Богемные пороки давно уже мне не по карману, Николай Степанович. Да и кокаин испарился, а богачи вкальвают морфий. Вот запасец махорки имеется...

– Благодарю, но мне совершенно не хочется... Мне как раз жена передала табаку и том Платона в переводе Владимира Соловьёва. Перекурил, видно, днём за чтением.

– Хотел вас предупредить, что Голлербах излагал мне свою версию вашего с ним столкновения и, по-видимому, не мне одному. И на Александра Александровича, как на члена суда чести, тяжко обижался.

– Эх, Эрик Федорович, Эрик Федорович... Живёт в Царском Селе...

– Новое название теперь – «Детское имени товарища Урицкого».

– Всё равно ведь, как теперь ни назови, оно Царское. Живёт, говорю, в Царском Селе и мечтает себе. Если, мол, каждый день проходит мимо кирпичных коробок, помнящих Карамзина, Пушкина и Кюхельбекера, то имеет на понимание Пушкина некую монополию... Чушь дикая. Знаете, как называла его Анна Андреевна Ахматова (мы ведь с нею жили в Царском постоянно)? Царскосельский сюсюка.

– Лихо!

– Берегитесь язычка Анны Андреевны, Валерий Осипович! Всё ею написанное и всё ею сказанное примутся когда-нибудь изучать так же пристально и бережно, как она теперь изучает Пушкина. Тот, кого Ахматова сегодня осмеяла, останется в памяти потомков только благодаря *bon mot* моей великолепной первой жены.

– Гм, – в смущении выдавил из себя Гривнич и, не желая глядеть в глаза абсолютно серьёзному Гумилёву (что за манера шутить?), предпочёл оглядеться. Долгий августовский день успел угаснуть за высоким окном, почти до самого верху кирпичом заложённым и густо прикрытым решеткой, и уже накалилась угольная нить свисающей с потолка электрической лампочки, ничего пока, впрочем, не освещающая.

– Не верите? А с Эриком Федоровичем связана странная страница моих здешних мытарств. Вчера следователь, некто Якобсон, долго допытывался, какая именно тайная информация зашифрована в моей переписке с Блоком по поводу жалобы на меня Голлербаха в суд чести. Мне пришлось буквально на пальцах объяснять этому латышскому мужлану, что такое «честь писателя», что такое «честь вообще», для чего поэтам необходим профессиональный союз и почему в него нельзя принимать первого встречного из кропающих стишки. Особенно тяжелы для него оказались понятия «суд чести» и «порядочный человек».

– Не удивительно, Николай Степанович. А откуда в ЧК узнали об этой истории?

– Это-то как раз понятно. Они выгребли все бумаги из моей комнаты в ДИСКе прямо во время ночного ареста. Письма Блока вместе с черновиками-ответами валялись на самом верху письменного стола. Этот Якобсон не знал, кто я такой. «Так вы что, сами тоже писатель?» – «Писатель». – «Настоящий

писатель, как пролетарский писатель Максим Горький?». – «Об этом не могу судить. Однако печатался в газетах и журналах, издавал книги». Ну и взглядом же он меня подарил...

– Эй, господа заговорщики! Ужин!

Лежавших на койках немедленно смела неведомая сила, и вот уже всё пространство между койками и противоположной стеной оказалось забито ставшими в очередь интеллигентами разной степени упитанности, во всех стадиях облысения, с домашними съестными припасами в руках. Испытав стадный порыв бежать, куда и все, Гривнич спустил было ноги на пол, потом хотел было обратиться к собеседнику, чтобы узнать, где тут можно получить миску и ложку, однако удержался от вопроса. Гумилёв, как оказалось, остался на месте. улыбнулся понимающе, пошарил, не глядя, в газетном пакете, извлек два красных яблока и протянул одно из них Гривничу.

– Берите, это мне жена сумела передать. Если на самом деле рассчитываете завтра утром выйти, здешней еды вам лучше и не пробовать. Здесь наливают баланды сразу на пять едоков в одну деревянную миску, а прежде мы должны сами разбиться на партии в пять человек. Вот на такую пятерку и выдается миска, а к ней пять деревянных ложек и пять кусков хлеба – конечно же, с опилками. Ну как, соблазнились, Валерий Осипович? К тому же попоститься всегда полезно. Я где-то уже писал, что на заре человечества, когда только создавалась культура, люди точно так же, как мы на войне и в революцию, жили нервами, много говорили, мало спали, мало ели, а умирали рано... Придвиньтесь ко мне ближе.

Гривнич подsunулся по нарам к Гумилёву, и тот прямо в ухо ему зашептал:

– Кормят скверно, порции ничтожные. Поэтому, пока вон там, в «94» камере, прямо через окошко в двери, будет продолжаться раздача баланды, никто нас подслушивать не станет. Выкладывайте своё дело, я же понимаю, что с какой-нибудь безделицей вы бы сюда не сунулись.

– Скажите прежде, – прошептал, кивнув предварительно, Гривнич. – Скажите мне только одно: здесь пытаются?

– Нет; во всяком случае, мне о таком неизвестно. Точнее, известно, что Коллегия ВЧК год назад формально запретила пытки и унижения арестованных и что в Петрограде этого запрета придерживаются – всё-таки бывшая столица. Зато



смотрят на нас с презрительным пренебрежением – будто на живых мертвецов или на представителей низшей расы. У своего следователя, Якобсона, я и такую гримасу примечал, как у студента-медика, скальпелем пластающего лягушку. А в провинции, в особенности на Украине, происходят, говорят, эксцессы неимоверной дикости... Вы что же, работаете на ЛОКК?

– На что я работаю?

– На Лигу обществ Красного Креста?

– Вовсе нет, Николай Степанович. В этом году исполняется сто лет...

Излагая поручение, давно уже затверженное наизусть, Гривнич с благодарностью признал глубокую правоту Гумилёва: вдвоем, с товарищем вместе, да ещё с таким бывалым, как Николай Степанович, заключение и в самом деле переносилось легче. Выслушав, Гумилёв кивнул и, едва перекрывая раздающееся со всех сторон чавканье, хлюпанье со свистом и причмокивание (когда успели у этих людей испариться хорошие манеры?), зашептал:

– Проект отличный, и прикрытие его замечательное. Вот только не ко мне вам надо было обращаться. Я если и хотел бы, ничем вашему благородному делу не сумею теперь помочь.

– Почему же, Николай Степанович? – искренне огорчился Гривнич. Он уже размечтался, что и на воле продолжит эти невероятно короткие отношения со знаменитым поэтом. А ведь раньше, повинаясь общему мнению околелитературной шатии-братии, считал Гумилёва субъектом высокомерным и даже заносчивым.

– Тут два резона имеются. Один внутреннего свойства, другой внешнего. Я, как это вам, несомненно, известно, один из зачинателей акмеизма и к настоящему времени чуть ли не в гордом одиночестве сохраняю ему верность. Акмеист же земным человеком интересуется, а не мистикой, его увлекает, прежде всего прочего, материальное бытие, стихия «естества», где и своих захватывающих тайн невпроворот. Да и я сам слишком грубо и просто устроен, посему заведомо неспособен к мистическим прозрениям. Бог не позволил мне увидеть ни одного из своих чудес – кроме сотворенных людьми, разумеется. Не скрою, были и у меня моменты духовной слабости, когда я обращался с просьбой о спасении к Высшим Силам. Как раз в начале войны, когда я служил рядовым-

добровольцем в Лейб-гвардии уланском полку, попросился я по дурости в дальний разъезд, а от разъезда сам же напросился в одиночную разведку. Впрочем, это было дуростью уже производной, я вёл себя вполне логично – если исходить ab ovo, от исходной глупости, то бишь от решения пойти на войну добровольцем...

– Стыдно признаться, но мне папа купил «броню», – вздохнул завистливо Гривнич, – а я такой, как вы изволили выразиться, глупости не совершил – вот и вспомнить теперь нечего...

– А совершили бы тогда такую же глупость, – грубовато возразил рассказчик, – глядишь, некому было бы и вспоминать об этом теперь. На войне судьбами людей распоряжается вроде как гигантский арифмометр, однако же с таким сложным статистико-вероятностным устройством, что выброшенные им решения поневоле принимаешь за волю Божью. Моя же дурость усугубляется теми отягчающими обстоятельствами, что совершал я мальчишеские поступки уже далеко не мальчишкой (было мне тридцать лет) и что воспринимал эту подлую и бессмысленную Великую войну, паровым катком проутюжившую моё поколение, в романтическом флере Отечественной войны 1812 года. Помнится, ослепление моё доходило до того, что мечтал о звёздном часе моей жизни, когда русская гвардейская кавалерия вместе с лучшими полками Англии и Франции вступит в Берлин. Мечтал, что нам выдадут парадную форму, и тогда весь этот огромный серый город расцветёт, как оживший альбом старинных гравюр, детской неверной рукой заляпанных медовыми красками. Я представлял себе всю ширину скучной Фридрихштрассе цепи взявшихся под руку гусар, улан, кирасир, сипаев, сенегальцев, казаков, их разноцветные мундиры с золотым шитьем, с орденами всех стран мира, их счастливые лица – белые, чёрные, жёлтые, коричневые, наши пирушки в берлинских кабачках и кофейнях, где мне, как в путешествии по Африке, придётся говорить на пяти языках сразу... Даже стишки складывались:

Хорошо с египетским сержантом  
По Тиргартену пройти,  
Золотой Георгий с бантом  
Будет биться на моей груди.

– А Георгия вы ведь тогда получили – причем солдатский Георгиевский крест, награду редкую для офицера?

– Да, я был награжден двумя Георгиевскими крестами, и до сих пор помню номер первого из них, солдатского, полученного перед самым Новым, 1915 годом: 134060. Не знаю, что сие число означает: скорее всего, ваш покорный слуга оказался в начале сто тридцать пятой тысячи окопных безумцев, поощренных латунной висялкой. Не стоит всё-таки забывать, что я служил в привилегированной лейб-гвардейской части, в эскадроне Ея Величества. Я мог бы рассказать о посещении моей палаты в Царскосельском лазарете покойной Александрой Федоровной и великими княжнами, но не стану: как раз перед арестом я мучил этим мемуаром Ходасевича, а повторяться скучно.

– И не лучшее для того место, Николай Степанович.

– Да о чём разговор – у меня, унтер-офицера, был собственный вестовой солдат, их мы называли почему-то «архимедами»...

– Вы, Николай Степанович, обещали рассказать о своей первой индивидуальной разведке.

– Вы, Николай... запямятовал, как вас там дальше..., не пообещаете ли мне замолчать? Люди вокруг вас спать хотят.

Гумилёв промолчал, и собеседник его не увидел, почувствовал скорее, что он и не шевельнулся в ответ на замечание, прозвучавшее из темноты справа свистящим шепотом. Лампочка продолжала светиться, отбрасывая кольцо жёлтого света на неровный сводчатый потолок. Слои табачного дыма клубились вокруг неё, как облака, набегающие на луну. Прохладнее стало, зато духота словно бы сгустилась. Вокруг храпели в различных тонах; из левого угла камеры толчками, будто через воду, просачивались смутные голоса: не то невнятная беседа, не то сонный бред. Ближе к середине ряда коек кто-то звучно спрыгнул на каменный пол, прошлепал мимо, задев локтем пиджак Гривнича. Стукнула крышка, камерой проплыла волна зловония, раздалось журчанье.

Гумилёв, как ни в чём не бывало, зашептал снова:

– Да не о чём там рассказывать... Мне пришлось, возвращаясь к своим, проскакать по пахоте мимо разъезда германских кавалеристов. Они выехали из лесу шагах в тридцати и принялись палить в меня из карабинов, а офицер, как

сейчас помню, пожилой, низенький – из револьвера. На скаку я бормотал мгновенно сымпровизированную молитву Богородице, а как только догнал свой разъезд, мгновенно её и позабыл. Такой забубенный скептик и материалист, как я, может только помешать вашему чуду.

– Моему чуду, Николай Степанович?

– А разве ваша цель – не чудо?

– Не думаю, что помешаете. А второй ваш резон?

– Я просто физически не смогу принять участия в предложенном вами замечательном... ну да, праздновании юбилея Достоевского. Не хочется мне разрушать ваши трепетные надежды, Валерий Осипович, однако приходится напомнить, что мы с вами в следственной тюрьме Чрезвычайки. Надеюсь, что вы в лучшем положении, а я, пожалуй, ни на какие юбилеи в этом году не попадаю. В конце сентября я буду либо в шахматы сражаться где-нибудь в Иркутском каторжном центре, либо гнить в земле сырой.

– Неужели так плохи дела, Николай Степанович?

– Насчет сырой земли я, может быть, и преувеличиваю (дай-то Бог!), но дела мои неважные. Мне, как и всем этим господам, а также сидящим ещё в нескольких камерах на Шпалерной, инкриминируют участие в некоем грандиозном «Таганцевском заговоре», имевшем будто бы целью захватить власть в Петрограде и призвать на помощь державы Антанты. Вы этих господ видели, похожи они на таких смельчаков?

– Едва ли, Николай Степанович.

– А сам пресловутый Таганцев, он не в нашей камере сидит, сей злокозненный жирондист... Вы случайно не знакомы с Владимиром Николаевичем Таганцевым, профессором-географом в университете?

– Не может быть...

– Вот и я себе голову ломаю. Да неужто возможен столь грандиозный контрреволюционный заговор в сегодняшнем Петрограде, да ещё с университетским профессором во главе? Ну, готов допустить, что Владимир Николаевич – тайный приверженец каких-нибудь бомбистов, вроде эсеров, однако разве смог бы такой авантюрист тихонечко затаиться в щёлке на все революционные годы? Вот я и пришёл к выводу, что влип в грандиозную

чекистскую провокацию. А уж зачем её состряпали, об этом я и в камере довольно слышался, и собственные соображения возникли, да только не в этом месте нам их стоило бы обсуждать...

– Полностью согласен, Николай Степанович, полностью... Но всё же, всё же... Не восемнадцатый же на дворе год. «Красный террор» вроде бы давно отменили. Вам бы поактивнее защищать себя: не знал, мол, ни о каком заговоре и уж тем более не участвовал.

Гумилёв зашевелился, встал на колени, и Гривнич, сообразив, чего он хочет, подполз по нарам и подставил ухо.

– Вся беда моя в том, что вот этого я и не мог заявить следователю гражданину Якобсону. Я-то как раз знал: ко мне приходили знакомые офицеры, предлагали вступить в некую боевую повстанческую организацию, однако я решительно отказался. У меня с Советской властью, знаете ли, нейтралитет: она сама по себе, а я сам по себе. Я в конце войны служил в Лондоне, вполне мог остаться в Париже, однако же вернулся в Советскую Россию. Не воевал ни за белых, ни за красных. В анкетах привык правду писать, что «беспартийный», и такую же правду, что «аполитичен». Естественно, я наотрез отказался, однако теперь мне говорят, что я по закону был обязан сразу же побежать в ЧК и донести на этих офицеров. И что не донёс, есть преступление, караемое отсидкой. Ну ладно, по этому моменту у меня хоть совесть чиста...

– Николай Степанович, замолчите! Вы не должны и заикаться сейчас о том, что может быть использовано против вас! – отчаянно зашептал Гривнич, напрочь позабыв о неудобном положении, в котором сидел, хоть мышцы буквально сводило уже от боли.

Гумилёв отодвинулся от него, и Гривнич с изумлением угадал в темноте, что зубы его блеснули: поэт беззвучно смеялся! Потом прошелестело:

– Да как моё признание ещё может быть использовано против меня, если оно вчерашним утром было уже запротоколировано Якобсоном? Я действительно поступил очень легкомысленно: когда те же офицеры предложили мне взять денег для помощи офицерским вдовам и семьям, я взял некоторую сумму. Времена сейчас тяжёлые, я потерял родительское имение и все свои доходы после революции и распада Российской Армии, а живу, продавая оставшиеся личные

вещи – вот и подумал, грешным делом, что моя нынешняя семья и сын от первого брака тоже ведь нуждаются в помощи. Потом решил, что потратить деньги на них было бы нехорошо, и передал всю сумму одной девушке. Имя я вам назвать не могу, однако она вдова офицера, к тому же самая талантливая в литературной студии, мною сейчас руководимой, стало быть, деньги весьма сомнительной в нравственном отношении организации пошли, в конечном счете, на русскую поэзию.

Гривнич ахнул. И про себя обозвал крепким русским словом вертящуюся с некоторых пор в окололитературных кругах Петрограда прожженную особу с девчоночьими косичками: крутит то с блестящим руководителем студии, то с никчемным, зато безумно втрескавшимся в неё красивеньким мальчишкой Георгием Ивановым. И ради этой мнимой инженерю, этой блудливой, себе на уме пустышки Гумилёв едва не погубил себя?

– Вы что-то сказали, Валерий Осипович?

– Нет, хотя... А зачем было сознаваться следователю, что вам предлагали вступить в боевую организацию, что вы деньги у них взяли? Отрицали бы – и всё. Сам я не юрист, историко-филологический факультет посещал, зато папá мой покойный подвизался адвокатом и любил перед камином рассуждать о процессах, в которых участвовал. Слово доносителей против вашего слова, доказательств-то никаких.

– Сразу же вам, как сыну юриста, напомню, что мне предстоит отнюдь не суд присяжных. Для моих судей (полноте, да судей ли?) главный вес будут иметь не доказательства, а, как меня уже просветили, знаменитое внутреннее революционное убеждение. Но если говорить серьёзно, я не мог поступить иначе. Этот гражданин Якобсон сперва величал меня Станиславовичем и уверял, что с точки зрения мировой революции безразлично, как там меня по батюшке кличут, а потом вдруг раздобыл мой сборник «Колчан», затвердил наизусть стихотворение «Война» и с запинкой прочитал его на допросе. Прочитал, дабы доказать, что я – монархист, после Великой Октябрьской революции посмевавшийся воспевать империалистическую войну и преступный шовинистический патриотизм Российской империи. Судите сами, ну разве мог я хитрить и ловчить с этим мерзким типом – и разве не было бы мне после такого бесчестного поступка

бесконечно стыдно все те годы, которые мне ещё предстоит прожить до смерти в девяносто лет?

– Да замолчите наконец, господа, имейте же совесть!

– Похоже, пора нам на боковую, Валерий Осипович. Я сейчас лягу на правый бок, протяну ноги и продвинусь в вашу сторону, а вы повторяйте мой маневр. Что сможем мы с боку на бок повернуться, не обещаю, однако до утра поспите. А вот лягаться совсем не обязательно!

Гривнич смущенно извинился. Как только приналёг он виском на собственный кулак, а носом уткнулся в горячую спину Гумилёва, так и соскользнул в забытье, и впоследствии сомневался, не приснилось ли ему сказанное поэтом уже под утро:

– ...конечно же, я надеялся, что убьют меня на войне. Но ведь война, в сущности, для отдельного человека есть та же смерть, что нависает над всеми нами с самого рождения, только более близкая, осознаваемая. Или как та же смертная казнь, только растянутая. Смерти не избежать. Я не боюсь расстрела. К естественной середине жизненного пути я достиг всего, о чём только может мечтать человек. У меня есть имя в русской литературе. Я воевал и убедился, что не трус. Я повидал мир, как мало кто в России повидал. Я был женат на великой женщине, на памятнике самой себе, и после на другой, обыкновенной – мягкой и домашней. Деревя не успел посадить, зато родил двух сыновей и дочь. Я не единожды поэтически пережил свою смерть в поэзии и не подумаю испугаться её наяву.

#### **Глава 4. Валерий Гривнич**

– Подъём, граждане буржуи!

Гривнич поднял чумную со сна голову и не сразу осознал просторность своего спального места. Ночной собеседник стоял у нар, смотрел на него с жалостной снисходительностью:

– Просыпайтесь, Валерий Осипович! Я для вас очередь занял. Попадём к умывальнику в первой десятке.

Но прежде пришлось Гривничу отстоять очередь к параше. Переполненный тюремными впечатлениями, он не желал больше впускать их в себя, поэтому старался не смотреть по сторонам. О Гумилёве ему подумалось: утренний, он так же непохож на ночного, как отпечатанный фотографический снимок на негатив. Господи, да ведь это сравнение ни в какое стихотворение не засунешь...

Ему не пришлось дожидаться завтрака. Едва успела их десятка вернуться из умывальной, как в дверь застучали, и грубый голос прорычал:

– Кривич, на выход, с вещами!

Поскольку никакого Кривича в камере не обнаружилось, на призыв робко отозвался Гривнич, и уже лязгали засовы, отпираясь, когда он почувствовал деликатное прикосновение к плечу. Обернувшись, увидел улыбающегося и словно усиленно косящего глазами Гумилёва. Протягивая ему пиджак с жилетом, поэт быстро проговорил:

– Сказано было же вам, Валерий Осипович: «С вещами»! Поздравляю искренне! Я тут много чего наговорил, обрадовавшись свежему человеку, а вы забудьте. Если со мною что-нибудь, паче чаяния, случится, зайдите, пожалуйста, на Сергиевскую, дом семь, квартира двенадцать, к Анне Андреевне и расскажите ей, что здесь увидели. А жене я как-нибудь и сам весточку сумею передать...

– Ты Кривич? Якого хрена телишься? Пошёл!

После камеры воздух в коридорах ЧК показался Гривничу опьяняюще свежим, и он, посаженный конвойным солдатом на скамейке у двери с цифрой «10», сначала бездумно и счастливо старался надышаться. Потом дошло до него на седьмой минуте, что не успел попрощаться с Гумилёвым, он застонал от стыда и испуганно покосился на дремлющего рядом, опершись на винтовку, солдата. Тот не пошевелился.

Ждать пришлось долго, и Гривнич тоже не удержался, зевнул пару раз. Промелькнула в его меркнувшем сознании ленивая догадка, что так рано привели на допрос, дабы сэкономить порцию от завтрака – и почти тотчас же очнулся, заслышав в коридоре твердый стук подкованных сапог. Робко поднялся и очутился нос к носу с белобрысым молодым человеком в офицерской портупее на выцветшей солдатской гимнастерке. Скользнув взглядом по Гривничу



(«Привели? Ну, ну!») молодой блондин повернулся к безмятежно, с раскрытым ртом посапывающему конвойному и неуловимо быстрым движением надвинул ему на глаза фуражку.

Солдат вскочил, вытянулся, стукнул прикладом винтовки. Однако, столкнув со лба козырёк и всмотревшись в шутника, встал «вольно».

– Так цэ вы, товариш Карев? – и зевнул.

– А ты думал кто – председатель Губчека? Не бойся, и товарищ Семёнов вот-вот появится, он в это время кабинеты обходит. А ты, Пархоменко, как заделался вертухаем? Ты ж в расстрельной команде.

– Та наряд вне очереди видробляю, товариш Карев.

– Подожди, скоро будет и вам, бездельникам, работа. Ты поболтайся здесь, пока я с гражданином разберусь, – открыл дверь ключом и, к Гривничу оборотившись. – Заходите.

Сидя на табурете перед скромным, свободным от бумаг столом, Гривнич украдкой огляделся: стены традиционного для советских учреждений немаркого грязно-зелёного колера, запущенный паркет, портреты Ленина и Зиновьева на стене – и явно несоответствующие общему унылому интерьеру великолепные напольные часы. Ими как раз занимался, открыв стеклянную дверцу, хозяин кабинета. С явным удовольствием заводил он механизм двумя ключами: сначала одним, для хода, потом другим, чтобы отбивали часы, получасы и четверти.

Наконец, чекист Карев спрятал ключи в ящик стола, уселся, откинувшись на спинку стула, безучастно взглянул на Гривнича:

– Про ваше приключение я прочитал в утренней сводке. Рассказывайте теперь подробно.

Гривнич рассказал. Чекист кивнул, предложил придвинуть табурет к столу, дал листок из старорежимной школьной тетрадки и карандаш, приказал так же подробно записать. Сам придвинул к себе телефон и решительно крутанул рукоятку. Прислушиваясь одним ухом, трепещущий Гривнич понял, что чекист разыскивает в военном госпитале вчерашнего раненого.

– Луцкий, ты? Докладывай, как очутился на койке... Что у тебя пропало – удостоверение, наган? Вобла, говоришь? Вобла... Говоришь, вдруг засмердело, но обернуться не успел... Нет, контрик не сбежал – он тебя на извозчике в ЧК

привёз... И кружится...? Оставайся пока там, лечись. Да, я доложу. Бывай... Эй, эй, сестра! Верните его! Луцкий, где ключ, что я тебе давал – помнишь? К тебе через час нарочный за ключом приедет. Хорошо, иди лечись...

Взял в руки тетрадный листок, прочитал, хмыкнул. Пустил через стол назад:

– Дату также, домашний адрес и место работы.

Когда Гривнич дописал требуемое, Карев перечитал показание и вдруг воткнул ему в глаза свои – бешеные, беспощадные:

– Смотреть на меня, глаз не отводить! Как выглядел босяк, ранивший Луцкого? Быстро! Сразу отвечать, не задумываясь!

– Высокий, худой... кажется, в солдатской шинели... На ногах опорки... Волосы взлохмачены... Больше ничего не помню. Я испугался, побежал за милиционером...

– Хорошо. И всё-таки никак мне не понять, с чего бы это босяк хватил нашего товарища кастетом по голове именно в тот момент, когда Луцкий тебя задерживал. Луцкий обнажил ствол?

– Что?

– Луцкий держал тебя на мушке, спрашиваю?

– Да, да... Я его ещё просил успокоиться – за налётчика принял...

– И вот босяк, вместо того чтобы смыться, увидев момент ареста, нападает на вооруженного чекиста... Нечего мне лапшу на уши вешать!

– Может, ограбить хотел?

– Кого – солдатика в ботинках с обмотками? Не смеди меня, Гривнич! В глаза мне смотреть, я говорю!

И тут, когда Гривнич уже уверился, что сегодня же вернётся в страшную камеру и не выйдет из неё живым, Карев отвёл от него пронизывающий взгляд. Не особо торопясь, поднялся со стула, вытянулся, как давеча конвойный солдат, и расправил складки на гимнастерке.

– Здравствуйте, товарищ Семёнов!

– Поздравляю тебя с началом нового трудового дня, товарищ Карев!

Уже на ногах (и не знал ведь за собою такой угодливости!), Гривнич осмелился и сам взглянуть на начальство, побудившее пронизательного чекиста

стать перед собой во фрунт. Оказалось оно невысоким мужичком лет за тридцать типичной для коммунистического начальства среднего звена внешности и одетого стандартно для руководящей прослойки, однако со всем возможным в пределах совдеповской моды лоском. Френч индивидуального пошива из коверкота высшего качества, под расстегнутым отложным воротником – белоснежная рубашка, сапоги на высоких каблуках сияют немислимым блеском, полные щёки гладко выбриты...

– Так что провожу допрос подозреваемого, Борис Александрович!

Начальство взяло со стола листок, прочитало его, шевеля губами, потом разорвало на мелкие части и бросило в невидимую Гривничу корзину.

– Это ведь о спасении сотрудника ЧК, я читал уже в сводке... Не нужно никаких допросов, товарищ Карев.

Начальство двинулось в сторону Гривнича, растопыривая руки, и не успел тот опомниться, как оказался в дружеских объятьях. Пахнуло на него тюремным запахом, сдутым с собственной одежды, и – вполне неожиданно – довоенным мылом «Ралле». Звучно трижды поцеловав Гривнича («Вот так – по-нашему, по-русски!»), начальство напоследок пожало ему руку и, не выпуская её, обратилось к изумленному Кареву:

– Я же говорил, что трудовой Петроград всегда поможет карающей руке ЧК. Вот этот скромный пролетарий умственного труда работает под руководством товарища Горького в издательстве «Всемирная литература», помогает окультурить наших рабочих и крестьян, чтобы сподручнее было им совершить всемирную революцию. Увидев, как бандит из-за угла напал на сотрудника ЧК, он не испугался, не убежал, не сказал «Моя хата с краю», а организовал доставку пострадавшего в госпиталь. Как там, кстати, Луцкий?

– Поправляется, Борис Александрович. Тошнит его, говорит...

– Передайте начхозу моё приказание. Сегодня же организовать посещение в госпитале и поощрить допайком из экстраординарного фонда. Ещё раз жму вашу честную руку, товарищ Гривич!

Хлопнула дверь. Карев медленно опустился на стул, а на него глядя, и Гривнич присел на свой табурет.

– Чего расселся тут, герой трудового фронта? – с холодной яростью выговорил Карев, и в речи его вдруг пробился твердый прибалтийский акцент. Открыл ящик, достал бумажку, рывком откинул крышечку на чернильном приборе, критически присмотрелся к перу № 3 в простой школьной вставочке, аккуратно обмакнул, поиграл желваками, вздувшимися на худых щеках, тщательно заполнил печатный бланк. – Бери. Это пропуск. На выходе отдашь часовому... Вон отсюда!

Впоследствии Гривнич никогда не мог припомнить, как оказался на извозчике. А высадившись на Литейном, перед своим домом – приметным и сейчас сооружением русского модерна, не сразу сумел сориентироваться. Ткнулся зачем-то в парадный подъезд, заколоченный в конце семнадцатого, и долго искал на связке ключ от него. Чертыхнувшись, прошёл через загаженную подворотню, мимо стен, испещренных наивными лозунгами времен всеобщих выборов в Учредительное собрание и позднейшими пессимистическими матерными сентенциями, привычно вдохнул горячий смрад отбросов во дворе, жилые запахи гнилых овощей на лестнице для прислуги и проник в квартиру через чёрный ход.

Соседей, слава Богу, не обнаружилось в коммунальном коридоре, и Гривнич, привычно стукнувшись о велосипед слесаря Штольца, без помехи отомкнул комнату. И не нашёл сил, чтобы удивиться, обнаружив своё канотье целехоньким на вешалке, а у окна, за письменным столом, мнимого Всеволода Вольфовича. Тот вынул ювелирную лупу из глаза и поднялся ему навстречу.

– Наконец-то, наконец-то, Валерий Осипович! А я уж, грешным делом, начинал беспокоиться. Вот часики ваши карманные починяю, вам теперь без часов нельзя... Видите, аккуратненько, газетку подстелил.

– А как вы сюда попали?

– Обычным путём, обычным путём... Позвонил во «Всемирную литературу», барышня сказала мне ваш адрес и как комнату вашу найти. Верно, уже захаживала к вам – а, проказник? Вам бы надо замки сменить, уж очень легко открываются универсальной отмычкой. Почему не спрашиваете, отчего я не испугался чекистского обыска и последующей засады? Во-первых, слишком ничтожен ваш случай, Валерий Осипович, чтобы устраивать такие оперативные мероприятия, а во-вторых, тот агент пытался вас арестовать один, без напарника;

а это указывало на то, что их шатия-братия занята была на какой-то крупной акции. Я ведь угадал, правда?

– Надеюсь, мистер...

– Тсс...

– Надеюсь, ваш приятель не спит сейчас на моей кровати? – показал Гривнич подбородком на ширму.

– Нет, кровать ваша свободна. Я подскочил спозаранку на ближайшую толкучку, подкупил провизии, дров (две тысячи за охапку!), растопил колонку. Полдник (холодный, правда) – вон он, ожидает вас на сервировочном столике. Но я бы рекомендовал сначала в ванную, пока соседи всю горячую воду не выхлюпали...

– Спасибо, Всеволод Вольфович. Я, признаться, на ногах еле стою... Скажите, что вы тут курили?

– Курил? Папироски «Дукат».

– Дайте и мне, пожалуйста.

Он очнулся, вынырнул из кошмара в уютный мирок своего спального закутка. Солнце уже садилось, потому что только в закатных лучах так ярко светится роскошный жёлтый шёлк ширмы, и рисунок, повторяющийся на ней, можно разглядеть во всех деталях даже с изнанки: изящный единорог склоняет голову и колени перед девственницей, почему-то тёмнокожей, но с открытой по моде XV века грудью. Глаза горели от слёз, у рта неприятно сгустилась слюна. Не только в кошмаре, но и наяву существуют эти камеры на Гороховой, и вот был бы ужас, если бы они-то и оказались реальностью, а уют мирного жилья – сном!

– Проснулись, Валерий Осипович?

Отзываться ему не хотелось, хотя то обстоятельство, что в его комнате-крепости завёлся и вот теперь снова начнет надоедливо трепать языком чужой человек, не огорчало сейчас Гривнича. Сомнительный благодетель возился за ширмой неназойливо и полезно, как няня в розовом детстве или персидский кот Руслан в более поздние, но по-прежнему безоблачные времена. Умом Гривнич понимал, что должен бежать из Питера куда глаза глядят, однако вопреки очевидности призрачное удобство и скромный уют родного жилья обещали ему защиту и спасение.

– Ау, Валерий! Не притворяйтесь спящим. Нам пора поработать.

– Как вы узнали, что я уже не сплю? – неприязненно осведомился Гривнич.

– А перестали бредить и стонать. Поднимайтесь да поищите себе, чего одеть на выход. Вашу троечку я позволил себе развесить на балконе – вряд ли успела выветриться.

Придерживая полусложившуюся ширму перед собою, Гривнич продвинулся к одежному шкафу, огородился там, порылся в остатках прежней роскоши и с горем пополам облачился.

– Присаживайтесь, – широким жестом указал Чёрнокостюмный на гостевое кресло, сам по-прежнему восседая за столом в рабочем кресле хозяина. – Очень советую вам достать спиртовку. Это позволило бы кипятить воду для кофе, не высовывая лишний раз нос на кухню.

– А где вы теперь видите кофе? – удивился Гривнич.

– Ну, в порту и сейчас почти всё можно раздобыть. А того лучше завести деловое знакомство в посольстве Литвы или Латвии. Я долго жил во Франции и теперь чувствую себя весь день не в своей тарелке, если не позавтракаю чашкой кофе и круассаном. Давайте рассказывайте всё и, как сможете, подробно.

Гривнич рассказал – и почувствовал, что ему полегчало на душе. Однако мнимый гробовщик на сей раз преследовал цель отнюдь не терапевтическую. Тяжко вздохнув, он заметил:

– Худо дело. Чекисты очень часто прячутся за псевдонимами, их руководители вообще (кроме, конечно, зубров вроде Дзержинского или Лациса) укрыты за кулисами, но нынешний председатель ПетроЧК Семёнов, с которым вам довелось облобызаться, человек там случайный. Однако в совдеповских кругах Питера хорошо известен. Старый большевик из рабочих, но на вторых ролях, тюремный сиделец, беглец, нелегал. Штурмовал Зимний дворец, а после от Питера дальше Гатчины в 1919 году не отлучался. Отличился тогда при наступлении Юденича. До последнего назначения был, говорят, большой шишкой в Петроградском райкоме большевиков. Его предшественник уволен с должности в конце марта, потому, надо полагать, что проморгал Кронштадтское восстание. Судя по вашему рассказу, Семёнов в делах сыска профан.

– Что поделаешь? Время дилетантов: матрос становится министром финансов, а революционер-каторжанин организует охранку, вахмистр командует армией, поручик – фронтом...

– Вы затронули, Валерий Осипович, сложный вопрос. Ваш благодетель Семёнов – особый случай. Если в контрразведке он мышей не ловит, то это ещё не значит, что дурак. С вами он поступил как политик, поэтому скажите мне спасибо, что забрал у вас канотье и заставил снять стоячий воротничок с галстуком: в обычном виде вы могли бы вызвать у него ассоциацию не с трудовым интеллигентом, а с буржуазным бездельником – и загреметь снова в камеру. О прочем умалчиваю.

– И без всего такого прочего напугали...

– А следовательно, этот ваш товарищ Карев, он вам как раз и не поверил. Вернётся из госпиталя крестник нашего приятеля, Карев его допросит основательно – и снова примется за вас. Есть тут и ещё одно обстоятельство... Не наше, правда, это дело, да и пугать вас заранее не хочется...

– Опять... Благодарю, благодарю, сто раз благодарю вас. Довольны, наконец?

– Фу, как раскипятились. Впрочем, вас можно понять, Валерий Осипович.

– Извините, ради Бога... Я правильно понял – надо уезжать?

– Да, к сожалению. Надёжнее будет исчезнуть, пока ваша нелепая история не забудется. Ладно, скажу. Пока вы спали, звонил молодой человек из «Всемирной литературы», он всех сотрудников обзванивал, меня за вас принял, да не в том дело... Сегодня умер Александр Блок.

Гривнич вскочил с кресла, потоптался бестолково, и принялся мерить комнату шагами: от книжного шкафа к стене с продолговатыми пятнами свежих золотистых обоев на месте проданных в прошлом году турецких сабель и пары кремневых пистолетов, от стены к шкафу, набитому чужими книгами, того же Блока. «Умер великий Пан», – стучало у него в голове; пытался вспомнить, как оно на греческом, но не смог, и одновременно казнил, что так бедно, так бесчувственно воспринимает великую трагедию русской культуры. Остановился, выговорил трудно:

– Это же конец целой эпохи...

– Возможно. Однако эпоха как-нибудь сама о себе позаботится. Вы же к этому явно неспособны. Большевики, кто ж сомневается, будут обвинены в том, что не сберегли большого поэта, ставшего к тому же на их сторону. Вы и сами прекрасно представляете, какой крик поднимут эмигранты в Париже и Берлине! Так почему бы Чека не попробовать свалить вину на врагов, покаравших-де Блока за его просоветскую позицию? Вспомните, кто из наших добрых знакомых последним посетил Блока, а? К тому же в отсутствие его супруги: ведь она будет клясться, что не впускала вас в квартиру. А теперь сами сделайте вывод.

– Час от часу не легче...

– Вам дадут отпуск во «Всемирной литературе»?

– Да зачем там отпуск? Я же не в штате. Так, перевожу по договорам. И получил покамест с Гулькин нос, три с половиной тысячи. Господи, как не хочется бросать квартиру...

– Хорошо... То есть хорошего мало. Бросать комнату не потребуется. Достаточно заявление оставить у ответственного квартиросъемщика (в сопровождении небольшого презента, разумеется), что уезжаете на месяц для лечения. Скажем, в Крым. Да, без уточнений: в Крым.

– Боже мой...

– На самом деле мы с вами, Валерий Осипович, останемся в Питере, пока не устроим здесь наши дела. Попользовался я вашим гостеприимством, воспользуйтесь и вы моим. Мне моя интуиция подсказывает, что у вас под кроватью стоит хорошей кожи, вместительный саквояж. Соберитесь не спеша, портфель, вам памятный, тоже захватите. Встретимся в приёмной комнате паровой прачечной на Каменноостровском проспекте ровно в восемь. Знаете, где это?

– Да. Я не из любителей путешествий... Подумать только: Блока нет.

– Вот, кстати, ваши часы. Пружина лопнула, пришлось её укоротить, так что заводить теперь требуется два раза в день, утром и вечером. А в общем и целом идут.

– Спасибо. Я бы мог и мастеру отдать, не стоило вам лично возиться.

– Я в вашей квартире... мне здесь сейчас не вполне комфортно. Словно чекисты могут вас навестить в любую минуту. Механическая же работа прекрасно



успокаивает нервы. Для чекистов, впрочем, рановато; операцию с козлом отпущения (простите чистосердечно!) они могут начать только после санкции своего высшего руководства. Я ухожу, собирайтесь и вы поскорее. Уж лучше побродите по Невскому до условленного времени.

– Так и сделаю, – кивнул Гривнич. Следовало бы, наверное, и ещё разок поблагодарить, однако вместо этого захотелось спустить гостя с лестницы. Впрочем, Гривнич раньше такого никогда не проделывал, так что вряд ли у него получилось бы.

– Закройте за мною, пожалуйста.

Мрачный коридор, освещённый только жёлтым прямоугольником из оставленной отворенною комнаты, тёмный зев чёрного хода. Чёрнокостюмный гость растворился в темноте, что ж, авось, не поскользнется на грязной ступеньке. Гривнич запер дверь и, не теряя времени, направился в ванную – посмотреть, не осталось ли тёплой воды на бритье.

Собрался он, по своим меркам, мгновенно. Не застегивал только саквояжа, готовый бросить в него обтертую и в то же полотенце завернутую бритву. Пятки будто поджаривало. Скобление щёк, хоть и механическое занятие, не очень-то отвлекло. «Разве человек может чувствовать себя, будто на вулкане? – спрашивал себя озлобленно. – Ведь на вулкане человек уже ничего не сможет почувствовать. Вор, забравшийся в чужую квартиру, вот это сравнение получше».

Стук в дверь чёрного хода. Рука Гривнича дёрнулась, он поспешно стер бедную пену полотенцем. Метнулся к столу, схватил ножницы, отрезал полоску от поля старой газеты, прилепил на ранку. Стукнули уже трижды, шансов, что не к нему, почти не осталось... Четвертый удар.

– Гражданин Гривнич, я вам ответственный квартиросъемщик, а не швейцар! – втиснулась в дверь белая, будто мучная, физиономия соседа слева. – Извольте сами открывать!

Пятый стук. Шестой. Гривнич метнулся по коридору, готовый на своё «Кто там?» услышать классический ответ «Телеграмма».

– Эта я, Надя.

Такое невозможно. Трясущимися пальцами отстегнул он цепочку и распахнул дверь. Там действительно стояла Надя, дула на обожжённые спичкой

пальцы. В облаке запаха серных спичек, позабытого в Питере, и аромата своего собственного, Надиного – от него-то и начали у Гривнича раздуваться ноздри. Он не поверил, обошёл её, поглядел. Нет, чекисты не прячутся на лестнице.

– Заходи. Закрой за собой, пожалуйста, дверь. И накинь цепочку.

Вглубь коридора удалялась, источая неодобрение и постепенно темнея, белая спина соседа, крест-накрест пересеченная подтяжками.

– Вениамин Яковлевич, не запирайтесь, пожалуйста. У меня заявление!

Толкнул дверь, достал из кармана сложенное фунтиком, с тремя тысячами внутри, заявление. Положил на лопатой подставленную руку:

– Там и для вас сувенир. Лично вам, из симпатии, по-соседски...

И в самом деле, Надя. Стоит посреди коридора, справа и слева обставленная чемоданами. И без того огромные близорукие глаза широко распахнуты. Вот-вот колдовски засветятся, как у кошки в темноте.

– Что тут происходит, Валерий? С каких это пор ты стал кататься на велосипеде? Почему мне не открыла Марфушка? Ты, значит, всё-таки рассчитал Марфушку...

– Заходи в комнату. Вот сюда.

– Зачем ты заставил мебелью мой будуар? И стол Иосифа Абрамовича здесь... Тебе придётся всё это убрать, Валерий. Я у себя этих твоих бумажек не потерплю.

До Гривнича наконец-то дошло, что его бывшая жена вернулась. Чувствуя, что ноги предательски подкашиваются, добрался он до стола, упал в рабочее кресло (мгновенно в голове мелькнуло, что внешне он в той же позиции относительно неё, как давешний чекист в безликом своём кабинете) и только тогда осмелился снова посмотреть на Надю. Господи, сколько раз воображал он себе это мгновение, сколько душещипательных речей, обращённых к ней, сочинил, сколько придумал развязок – сентиментальных, циничных и даже с участием турецкой сабли со стены! Не одну подушку промочил слезами, извёл на жалостные виршики целую стопу замечательной писчей бумаги – ох, как бы она в прошлом году пригодилась... И вот оно, осуществление мечты: стоит в его последней цитадели, посреди милой семейной мебели. Хорошенькая, знающая себе цену самочка. А лучше сказать – потасканная сучка, всё ещё

привлекательная для кобелей. И для него, конечно, что скрывать... Оно расплелось немного, это легкое тело, сейчас безошибочно угадывающееся под тонким летним платьем, а некогда до последнего миллиметра (это только казалось тебе, дурак!) принадлежавшее ему одному, вызывавшее столько безумств, обещающее их даже и сейчас – уж в чём в чём, а в этом он не может ошибиться...

Она облизала губы и, глядя исподлобья, улыбнулась – медленно, мучительно и бесстыдно.

– Отчего молчишь, Валерий? Ты же счастлив, что я вернулась к тебе. Я ведь вижу...

– Квартира давно уже реквизирована. Эта комната – единственное, что у меня осталось. Марфа сама потребовала расчета и уехала в деревню в девятнадцатом. Папа умер через три месяца после того, как ты... Как ты убежала с ротмистром Рождественским.

– С кем убежала? Ах, этот... Ты до сих пор ревнуешь, Валерий?

– Знаешь, Надя, давай прекратим это выяснение отношений. У меня очень мало времени.

– Если тебе не терпится немедленно осуществить свои супружеские права, Валерий, я вынуждена тебя огорчить. Мне нужно прежде показаться хорошему венерологу. Видишь, я с тобою по-честному... Мне нелегко пришлось, когда я выбиралась из Крыма – ну, когда в Ялту ворвались большевики...

– Избавь меня от гнусных подробностей! И успокойся насчет супружеских обязанностей: мы уже полгода, как разведены. Если тебе нужна справка, возьми в 3-м городском Загсе.

– Это подло с твоей стороны, Валерий! Ты ведь клялся, что будешь любить меня до гроба.

– Прекрати юродствовать! Ты не прописана здесь, и у тебя нет прав на эту комнату.

– Очень хорошо! Так ты, значит, хладнокровно выгоняешь меня на улицу? Ну, это мы ещё посмотрим.

У Гривнича опять начали пятки поджариваться, но он преодолел панику и присмотрелся к Наде внимательнее. Прежде в такой патетический момент она уже визжала бы на всю улицу, а сейчас сохраняет деловой тон и внешне остаётся

спокойной, тем самым подтверждая, что и вправду успела пройти через огонь, воду и медные трубы. И ещё в том он убедился, что определились и зачерствели её некогда очаровательно зыбкие, смазанные, как на любительской пастели, черты. Господи, как же прав был мудрый папа, сумевший ещё тогда разглядеть за обликом шаловливого ребенка оскал опасной хищницы! Однако, если так обстоят дела, едва ли бывший муж, потерявший всё, кроме этой комнаты, интересен сейчас для Нади. И он правильно начал с нею разговаривать: по-деловому, с понятной ей чёткостью питерского сквалыжника.

– Ты стал больше похож на своего отца. Нет, не в смысле, что поплохел от возраста...

– Надя, ей-богу, нет времени. Ты можешь потом сходить к правозащитнику, в райкомунхоз, вот к Вениамину Яковлевичу (ты его видела в коридоре), это наш ответственный квартиросъемщик... Да только потом, сейчас тут оставаться опасно. Меня только утром выпустили из Чрезвычайки на Гороховой и вот-вот придут арестовывать снова. Ты видишь, что я собрался, что полностью готов в дорогу?

– Темнишь, Валерий?

– Господи Боже! Да у меня костюм весь провонял тюрьмой...

Подбежал к ней, уже опять гонимый тревогой. Надя притянула его к себе и воткнула носик в лацкан. Пухлая грудь её через пару одежек соприкоснулась с его кожей, и нельзя сказать, чтобы это совсем оставило равнодушным...

– И ведь не врешь... Послушай, а телефон у нас сняли?

– Решением общего собрания жильцов квартиры перенесён в коридор. Можешь позвонить. Справа, на тумбочке у самой кухни.

Вслед за нею, подло суетясь, вытащил бездушный скупердяй Гривнич женины чемоданы в коридор (свой саквояж чуть ли не в зубах), запер за собою дверь и укрыл ключи в глубине внутреннего кармана. Сам себя презирая, прислушался к Надиному задорному почему-то голоску.

– ...Да нет же, Жоржик, пустышка вышла. Мой благоверный только что из кичмана, а вещички давно спустил. На хате пахнет палёным. Еду к тебе... Как это – несогласная? Врежь ей – и станет вполне согласная...

На randevу с загадочным гробовщиком Гривнич опоздал. Уже стемнело, проспект освещён был только жёлтыми квадратами окон. Приёмная комната паровой прачечной заперта, за стеклами витрины темно, однако глубже в здании глухо бухтел локомотив, и взметалось порой звонкое щебетание прачек. Чёрнокостюмный же нигде не обнаруживался. Гривнич принялся прохаживаться вдоль прачечной, мыча, хватаясь время от времени за голову и тем пугая редких прохожих.

Вдруг чёрная тень на противоположной стороне проспекта шевельнулась, и в ней постепенно проявился мнимый опоздавший. Оказалось, что на самом деле его смутила задержка сотрудника, поэтому решил проверить, не привёл ли хвост.

Чёрный человек бросился щупать Гривничу пульс («Частит!»), заявил, что на нем лица нет, спрашивал, не пришлось ли убегать от чекистов. Обманутый муж чистосердечно рассказал Благодетелю о происшедшем, смутно надеясь, что его не только утешат, но и пообещают решительно отвадить хищную Надю.

К глубокому разочарованию Валерия, заботливый Всеволод Вольфович поскучнел. Сказал грустно:

– Нехорошо, господин Гривнич. Мы ведь так не договаривались, что за вами бывшая супруга увяжется, да к тому же, как оказалось, с уголовными наклонностями и с подозрительным дружкойм Жоржем.

– А вы вспомните, как именно мы договаривались, – не пожалел яду Валерий. – Можно подумать, что вы дали мне тогда слово вставить. Однако меня сейчас иное беспокоит. Я, пока сюда добирался, вот до чего додумался... Вы давеча заявили... Да, сначала заявили, что не скажете мне о неприятности, потому что она меня, мол, не касается, а потом объявили о смерти Блока. Но ведь меня эта новость как раз и касалась – разве нет? Я прошу вас объясниться.

Начало тирады Человека в чёрном заглушил прогрехотавший Каменноостровским проспектом трамвай.

– ...замыслил одну операцию, и о ней чем меньше мы с вами будем знать, тем лучше. Нехорошо и то, что наш британский приятель самочинно уже запутал нас обоих в свои грязные делишки. Ладно, пошли. Отсюда недалеко. Неровен час, господин Мандельштам теперь уже не только пьет одну кипяченую воду, но для здоровья и спать ложится с курами.

## **Глава 5. Сидней Рейли**

– Проваливай! – рявкнул мистер Рейли.

Старичок в кепке, с тросточкой, только что пытавшийся выпросить у незнакомца, кого это он уже полдня поджидает на площадке, не товарища ли Игнатовского из восьмой квартиры, подпрыгнул, развернулся и засеменил вниз по лестнице. В принципе, жильцы подъезда должны были бы привыкнуть, что в одиннадцатую квартиру шастают люди решительные, способные и подзатыльник отвесить. Ибо квартира № 11 в этом доме на Лермонтовском проспекте, по глубочайшему убеждению Рейли, есть не что иное, как одна из явок Петроградской губЧК.

Англичанин прислушался, чтобы определить, куда направится привязчивый старичок. Пошаркал на уровне второго этажа, потом опять...

– Если вы к товарищу Игнатовскому, то он до половины десятого у себя в присутствии.

– Я что же – совета спрашивал?!

Что старичок донесёт, он не боялся. Телефонные провода проверил ещё засветло, на второй этаж не выходит ни один. А что пойдёт старинушка по ночи искать дворника или милиционера, так это скорее из области шотландских народных легенд. Однако в его непрошеном совете есть рациональное зерно.

Рейли слонялся у этого дома вчера с утра до обеда и потом вечером до полуночи. В квартире № 11 за занавесками днём не наблюдалось никакого движения, вечером окна оставались тёмными. Он убеждал себя, что не ошибся: квартира конспиративная. Какая же ещё? Если отдельная, если пустует в пору жесточайшего жилищного кризиса, если поставлен хороший английский замок, если подведён телефонный провод... Сегодня он дежурил на площадке в обеденный перерыв и вот сейчас, после завершения присутствия у петроградских советских бюрократов, опять мается. Вчера никто не появился здесь в рабочее время, глядишь, повезёт в нерабочее.

Хлопнула входная дверь. Шаги, молодой уверенный голос внизу:

– Киньте ваши девичьи штучки, Лиза. Чего вам бояться? Питерские девушки привыкшие к тёмным подъездам. И это вы настояли остаться в театре ещё и на обсуждение, когда добрые люди разошлись... Да и ваш подъезд тоже без лампочки, промежду прочим.

– Мерси за комплимент. А про наш подъезд вы запомнили, товарищ Буревой, когда приходили брата забирать?

– Тихо! Про служебные мои дела – молчок! Имён не раскрывать!

– Да нет тут никого, товарищ...

– Промежду прочим, сами напросились, Лиза, выпить у меня последний стакан чаю... Держитесь за перила и следуйте за мной.

– Потому что вы обещали...

– Ну, обещал... Сказано же: делаю, что могу.

На лестнице заминка. Англичанин пользуется ею, чтобы на цыпочках подойти к двери квартиры № 15, самой дальней от лестницы на площадке. Почти уткнулся носом в рваную обивку. Только бы не оказалось с другой стороны, в коридоре, собацоры. В голодные зимы собаки в Питере почти исчезли, да мало ли чудес...

Шаги на площадке. Рейли завозился, кашлянул.

– Кто здесь? – и фитилёк зажигалки вспыхнул.

Рейли, не торопясь, поворачивается: плотный парень в отблескивающей кожанке и барышня, её не разглядеть. От кавалера держится (вот ведь чёрт!) на почтительном расстоянии.

– Да вот, товарищ, никак не могу шестнадцатую квартиру найти. Какая-то хулиганская сволочь посрывала номера...

– Это выше этажом, товарищ.

– Вот спасибо, – и спокойно, спокойно к лестнице.

Мужик подзывает барышню, суёт ей зажигалку и щелкает ключом в двери одиннадцатой квартиры. Второй щелчок, открывается чёрная щель. Мужик пропихивает спутницу вперед (и где только набрался галантных манер?), а Рейли, как гоночный мотор, срывается с места. Всею массою своею вталкивает парочку внутрь, мощно лягает дверь и слышит, как замок защелкивается. Отлично! Мужичу кастетом по голове, в следующее мгновение – барышне локтём в живот.

Оба на полу в отключке. Рейли переводит дыхание; морщась, сдирает с ободранных пальцев кастет. Пахнуло горелым, он опускает глаза и видит, что тлеет соломенный коврик. Затаптывает огонь, закрывает колпачок нагретой зажигалки, нащаривает на стене выключатель, поворачивает тумблер горизонтально.

Когда глаза привыкают к свету, Рейли позволяет себе осмотреться. Очень мило: сидят голубки на полу, друг против друга, к стенам прислонившись; с него даже фуражка не слетела, она икает и пытается вдохнуть. Ишь ты, вытянула ноги в рваных сандалиях, подрагивают. Рейли стаскивает с головы у барышни красный пролетарский платок и заталкивает в слабо сопротивляющийся рот. Ничего, авось не задохнётся. Теперь можно и парнем заняться.

Лицо молодое, это из-за полноты показался постарше. ЧК – организация энергично функционирующих молодых людей. Но этот не боец: замечтался, не успел и кобуру расстегнуть. Что у нас там? Ага, немецкий «люгер». Не фонтан, как говаривал папа-одессит, но тоже не помешает. Теперь документы. Старорежимный, прямо тебе роскошный бумажник. Два удостоверения. «...Буревому Ивану Васильевичу в том, что является сотрудником Секретного отдела Петроградской губЧК... Действительно по 31 декабря 1921 года»; «Среблястому Афанасию Петровичу, ассистенту кафедры вычислительной математики 1-го МГУ... в бессрочном отпуске по личным обстоятельствам... 20 ноября 1920 года» – и тоже подпись, печать. Партбилет на имя Среблястого, ещё несколько бумажек... Всё... Неужто шифровальщик?

Рейли осмотрелся внимательнее, изумленно взглянул на теплый клетчатый шарф, повисший на крючке вешалки. Замотал им барышне глаза, получилось вроде чалмы. Пошлёпал чекиста по полным щекам:

– Эй! Расскажешь, что мне нужно – отпущу. Твои и не узнают никогда. Ты ведь из Москвы? Мне нужна схема расположения кабинетов в ВЧК, на Лубянке. Эй, не молчать мне!

– Пойди..., контрик, в ватерклозет... пописай... – и вдруг мутные глаза чекиста расширились. – Да ведь ты...

Мощным апперкотом отправляет чекиста-математика назад в беспомыслие. Удалось бы переправить парня через финскую границу, в Лондоне



начальство до пенсии пылинки сдувало бы с капитана Рейли... Бери выше – с майора! Полковника! Да где там...

Вздыхнул и принялся расстегивать на чекисте ремень с кобурой. Придётся переодеться, как в маскарде. И натянуть эти щегольские сапоги, хотя и на размер меньше. Ничего, на несколько дней только...

– Вы ведь не собираетесь меня убивать – ведь правда? Если глаза завязали, значит, не собираетесь меня убивать?

Выплюнула платок – сильна! И достаточно разумна, чтобы не менять позы и не ссовывать с глаз шарфа. Рейли натянул правый сапог, притопнул, крикнул и заметил скучно:

– Если вздумаете сейчас орать, тогда уж точно убью. Вы кто – его сексотка?

– Простите?

– Осведомительница?

– Ещё чего... Я студентка. То есть учусь во 2-ой студии Петроградского филиала ВХУТЕМАСа.

– Думаете, среди студентов нет сексотов? Тогда – любовница?

– У меня брата арестовала ЧК. Он ни в чём не виноват, я так думаю... Ну, разве что болтал лишнее. Володе удалось передать записку, что грозит расстрел. А товарищ Буревой пообещал передать моё заявление в руки председателю товарищу Семёнову и самому дополнительно, лично похлопотать. А взамен... Вам ведь понятно, чего эта свинья потребовала взамен.

– Ну да. А как вы с ним познакомились?

– Он подошёл ко мне, когда стояла в очереди на передачу.

– Вы написали заявление позавчера, а фамилия ваша Силантьева?

– А откуда вы узнали?

– Просматривал бумаги товарища Буревоего. Он никому ваше заявление не отдавал.

– И я же догадывалась, догадывалась! – взвизгнула барышня, так что Рейли пришлось уgomонить её («Тише! Тише!»), оторвавшись от неприятного процесса поиска ключей в чужой, сдавившей ему плечи кожанке. Ключи обнаружили в правом кармане, но запомнившегося тогда, на Офицерской, среди них нет.

Квартиру надлежит как ни в чём не бывало запереть, это замедлит расследование. Что она там несёт? Достоевщина какая-то...

– И всё-таки надеялась, что он поможет Володе. Как противно! Если хоть какая-то надежда оставалась, хоть тень надежды... Я должна была сделать для Володи всё, что могла. Меня не физическая сторона пугала: я, технически говоря, уже не девушка – перетерпела бы как-нибудь... Но с нравственной стороны ситуация отвратительна.

– Скажите лучше, вы не сидите на ключе?

– Что? – и почему-то обиженным тоном. – Если вы о ключе от его квартиры, то где-то с этой стороны двери. Зазвенел, когда вы так зверски меня толкнули.

Кряхтя, присел он на корточки и в мусоре, накопившемся у порога, нашёл-таки ключ. Выпрямившись, решил просветить бедную Лизу:

– Это не квартира товарища Бурового, мадемуазель Силантьева. Он живёт в другом месте. Женат, кстати, и получает паёк на семью. А это конспиративная квартира Чрезвычайки. Упаси вас бог признаться, что тут были. Вас могут ликвидировать только за то, что узнали эту тайну.

– Какую я тайну узнала? Да я не смогла бы снова найти это место!

– Моё дело – посоветовать, – пожал плечами капитан Сидней Рейли, покровитель обманутых девиц, и склонился над коварным соблазнителем. Тот вторично за вечер приходил в себя. Рейли повторил свой вопрос – и с тем же конечным результатом.

– Как вы смеете избивать беспомощного человека?

Рейли не удержался, глухо захихикал-закудахтал и впервые внимательно посмотрел на Елизавету Силантьеву, студийку, если не врёт, какой-то скороспелой студии, из тех, что, как грибы, расползлись по Петрограду. Кто её за язык тянул признаваться, что особа уже опытная? Не намекала ли, что ему дозволяется утешить её на той самой казённой койке, где намеревался использовать товарищ Буровой? Девица тем временем почуяла заминку, а то и опасность (интуиция у баб ещё та!), забеспокоилась, слепо пошарила тонкой кистью в воздухе, ощупью ухватила его за сапог и подняла к нему замотанную шарфом голову.

– Вы ведь боретесь за святое дело, сражаетесь на последнем, тайном фронте белого движения. Я вас прошу: возьмите меня с собою. Мне ведь некуда деться теперь...

– Глупости говорите. Это потому вы приняли такое решение, что вас видели с этим типом на каком-то спектакле и потом – на обсуждении, кажется?

– Да, на «Фуэнте Овехуне» во 2-ом артколлективе ТЕО. Буревому дали билеты на службе. Смотрел на меня, как на собственность – противно до невозможности...

– Он что, выступал на обсуждении?

– Куда ему! Мы остались, чтобы послушать знаменитостей – Кузмина, Гржебина. Ждали Мандельштама, но не пришел.

– Не так всё страшно. Вас могут и не найти. А найдут, скажете, что проводил вас до дома и ушёл. Впрочем, подождите, я попробую позвонить одному человеку: он, наверное, сможет вам помочь.

Ворча, отправился Рейли вглубь квартиры. И как только прихлопнул за собою дверь, девушка стащила с головы тюрбан и, опасливо обойдя распростертого на полу, в небрежной случайной одежде вовсе уже и не представительного чекиста, приложила розовое ушко к полотну двери:

– Барышня, мне 610–05.... Алло! Позовите Всеволода Вольфовича...

Еле успев вернуться на место, нахлобучила она на глаза опостылевший пыльный шарф. Чихнула. И услышала усталый голос:

– Нет приятеля на месте. Обойдётся и так. Мы пару часиков подождём, пока улицы совсем опустеют, а тогда в обнимку с товарищем Буревым спустимся по лестнице, фактически вынесем, как вдребезги пьяного. Пройдём по набережной до первого спуска к Пряжке, там вам придётся посидеть на ступеньке с завязанными глазами, и чтобы я мог достать рукой. Впрочем, лучше вам будет и уши заткнуть, пока я не побеседую с вашим другом по душам и не спущу его в реку. Вот тогда-то я вас освобожу и дам на извозчика. Надеюсь, вы хоть на этом берегу Невы живёте?

## **Глава 6. Осип Мандельштам**

Гривнич узнал эту гостиницу. Теперь называлась она, судя по вывеске, «Пятым общежитием горкомунхоза имени товарища Фердинанда Лассаля», некогда же именовалась покороче, «Голубой лагуной» и, как и все временные приюты, где можно было снять укромный уголок на час-другой, пользовалась неважной репутацией.

В вестибюле, конечно, без изменений не обошлось. На месте, где в былые времена висела картина неизвестного художника «Зевс, наказывающий шлепком Ганимеда», красный солдат тычет в Гривнича перстом, вопрошая: «Ты записался добровольцем?» Глаза красноармейцу художник Дима Орлов, взявший псевдонимом фамилию шиллеровского бунтаря Карла Моора, сделал совершенно безумные – так и кажется: как только зритель признается, что записался к белым в Добровольческую армию, красный фанатик тут же приколет его штыком.

– Валерий Осипович!

Это Гривнич зовёт его к стойке портье. Здесь всё по-старому, если не считать, что ореховые панели залеплены жёлтыми бумажками инструкций, приказов и распоряжений. И портье тот же, гнусный Абрамка – а чему удивляться?

– Тут вот ведь какая петрушка... Номер ваш, его для вас по моей просьбе придерживал Авраамий Ардалионович, пришлось отдать по телефонному звонку какой-то московской шишке. Согласны спать на диване в моём номере? Это на несколько только дней...

– Осмелюсь заметить, Всеволод Вольфович, – подал голос портье, – что и в этом случае придётся прописаться – а вдруг, упаси Боже, облава?

– Кончай волынку, Абрамка! – гаркнул вдруг Чёрнокостюмный. – Тебе заплачено достаточно. Считай это платой за риск. Риск небольшой, кстати: у Валерия Осиповича своя жилплощадь в Питере, где он, разумеется, прописан.

– Как прикажете. Бельё постельное я принесу. Извиняюсь, едва не запамятовал... Был вам телефон, Всеволод Вольфович. Мужчина, не назвался, ничего не велел передать.

– Так тому и быть.

На половине марша скрипучей, красного дерева, лестницы Гривнич чуть не наткнулся на Чернобородого: тот остановился, обернулся к уже невидной стойке:

– Забыл спросить... Господин Мандельштам здесь?

– У себя они. Осмелюсь напомнить: в пятом номере.

– Как? – выдохнул уже наверху Гривнич: у него из головы сразу же выбило все ленивые мысли о редкой безобразности Абрамки и о пороках, способных сформировать столь отвратительную внешность.

– А мой для вас небольшой сюрприз, – хихикнул затейник. – Прямо сейчас к Осипу Эмильевичу идите, прямо сейчас... Я уж и условился о вашем к нему визите на это время. Мы, правда, немножко припозднились. Давайте ваш саквояж, я буду ждать вас во втором номере... Портфель, портфель забыли!

Гривнич постучал. За тонкой дверью замерло неясное постукивание подошв, потом продолжилось. Снова замерло, и взвинченный, неожиданно густой голос зачастил:

– ЧК? А ордер есть? Позовите портье, пусть засвидетельствует, что вы действительно из ЧК!

– Осип Эмильевич, это не ЧК! – удалось вклиниться.

– А? Не ЧК? Тогда кто стучится в дверь ко мне – так поздно?

– Это я, Гривнич Валерий Осипович. Меня вам когда-то представляли, Осип Эмильевич. О нашей встрече сегодня с вами уже условливались.

– Вы теперь служите в ЧК?

– Нет, конечно. Я подвигаюсь переводчиком в издательстве «Всемирная литература». И разве может стихотворец пойти служить в ЧК?

– О, я знаю одного поэта-декадента, который прекрасно устроился в ЧК! Его видели в кожаной куртке, с маузером, пьяного и с чекистским мандатом. А отчего это мы разговариваем через дверь? Вы что – предпочитаете разговаривать через дверь?

Заскрежетал замок, взвизгнули петли, и Гривнич оказался в небольшой комнате. Мандельштама он не успел сразу рассмотреть, потому что Мандельштам отпрыгнул от него на другой конец комнаты, к тёмному окну.

– Вы низко обманули меня. От вас несёт тюрьмой! Микробы! Меня дважды арестовывали, я знаю запах тюрьмы!

– Да, Осип Эмильевич, я утром навестил в тюрьме Гумилёва. Я принял ванну, но другого костюма у меня нет...

– Эти белогвардейские палачи в Феодосии... Я им прямо и честно сказал, что я порядочный человек, но они только посмеялись... Я признался им, что не создан для тюрьмы, а они хотели меня расстрелять... Слава богу, прибежал Волошин, эта всеобщая добрая баба... Горький придёт в ЧК, как Волошин, и вытащит зарвавшегося гуляку Гумилёва... Это же надо: красивенькую умницу Ларису Рейснер осмелился у самого Раскольникова умыкнуть!.. И в Тифлисе сажали меня меньшевики... Вас Валерием зовут? Как Брюсова... Имя слишком сладкое, не мужское какое-то...

Гривнич тем временем присмотрелся к Осипу Мандельштаму, этому внешне нелепому, удивительно нескладному устройству, производящему гениальные стихи. Половину культурной России они очаровывают, а вторую половину ставят в тупик. Небольшого роста, худенький, Мандельштам столь суетлив, что исчерпывающе заполняет комнату. Носится взад-вперед, погвардейски прямо, неестественно для комнатного пишущего человечка держа спину и откидывая лохматую голову, а ноги ставит так, будто в пуантах и словно вот-вот поднимется на них. В его нынешнем облике отразился болезненно переживаемый и Гривничем душевный кризис, наступающий каждого мужчину около тридцати: молодость неотвратимо вытесняется зрелостью, а та воспринимается неадекватно трагически, как первый стук в твоё окно старости и смерти. На внешности Мандельштама этот всечеловеческий диссонанс отразился с катастрофической структурностью: сквозь прославленный в годы дебюта облик молодого Пушкина (правда, с проплешиной на темени – но кто поручится, что у живого молодого Пушкина не было проплешины на темени?) неумолимо просвечивает не зрелый муж, а вот именно старец, капризный в мощи зрелого интеллекта, беззубый, с беспомощно заострившимися носом и подбородком.

– Вы – почему? Зачем пришли?

Чудак уже застыл на месте и смотрит на него с выражением стоического терпения.

– Осип Эмильевич, я обращаюсь к вам от имени инициативной группы по подготовке к столетнему юбилею Федора Михайловича Достоевского. Мне поручено передать вам предложение войти в юбилейный комитет и...

– Какая глупость! Разве России сейчас до Достоевского? И Горький ваш его не любит, и Ленин... И я как-то... Чего в детстве не прочитаешь, потом уже навсегда не твоё. У нас в книжном шкапчике, завешенном от солнца зелёной тафтой, стоял многотомный Достоевский в издании Маркса, из приложений к «Ниве», пол-России покрывших бедными томиками в картонных обложках... В семье он считался «тяжёлым», мне был не разрешен... И он ведь антисемит, ваш Достоевский!

– Достоевский? – ахнул Гривнич.

– Как же не антисемит? Если сам был поляком и поляков ненавидел, то можете представить себе, как такой человек мог относиться к евреям!

Гривнич развел руками. Понизил голос:

– Я надеюсь, что вы измените своё решение, если узнаете о невяном, подспудном деянии, которое предстоит выполнить юбилейному комитету...

На сей раз Мандельштам выслушал Гривнича с удивительной кротостью, ни разу не перебил, хоть и не прекратил раздражающего хождения по комнате. Помолчав, сверкнул значительно глазами, проговорил:

– Глубинная, корневая идея просто замечательна, более того, признаюсь, что полностью с нею солидарен... Да и кто из порядочных людей в России думает иначе? Все так же думают, только не все умеют выразить... Я как раз собираюсь изложить подобную концепцию в нескольких статьях. Если в двух словах... Российская революция разрушила старый мир справедливо: он был обречён... Можно сказать и так, что большевики только помогли ему саморазрушиться. Говорят, что большевики – узурпаторы и заговорщики... Да что могли бы сделать два десятка заговорщиков, если бы у миллионов россиян не чесались бы руки снести империю до основания? А вы возьмите хоть сегодняшнюю интеллигенцию. Да, многие в оппозиции, все поголовно ворчат, но только попробуйте пообещать им, что завтра утром на шею им снова сядет тупой армейский подполковник, а на голову – армия толстых попов и грязных монахов, делающих вид, что живут в допетровской Руси... Вздоют ведь!

– Возврат к монархии невозможен, – солидно подтвердил Гривнич. – Я уж не говорю о том, что нынешний режим можно свергнуть только в результате

новой интервенции и гражданской войны, то есть ценою новых десяти миллионов жизней.

– Да! Поэтому единственный путь – побудить большевистский режим к внутренней эволюции... Жестоковейшая диктатура железных наркомов должна очеловечиться, должна постепенно осветиться ночным солнцем истинной гуманной и всемирной культуры... Вот это и предстоит взять на себя интеллигенции... Воздействовать на таких людей в коммунистической верхушке, как... Ну, во всяком случае, на равнодушных к литературе... Начиная с Луначарского (тот сам грошовый драматург), Троцкого (говорят, басни Крылова на малороссийский язык переводил), Бухарина, Каменева. А то, что вы предлагаете – прекрасная метафора для тяжкой работы перевоспитания культурой, и работу эту надо начинать немедленно. ещё вчера надо было...

– Я счастлив, что вы одобряете идею, Осип Эмильевич.

– Кто вам сказал, что я одобряю идею? Ах да, идею и в самом деле одобряю... Однако практический (если можно только такое слово употребить) замысел – не стоит и выеденного яйца... Взяться за руки метафорически, прекратить склоку между фракциями в русской поэзии, это ещё можно... Хотя зачем прекращать? Пускай ругаются – так ведь веселее! Или вот остановить футуристов – чтобы не воспевали столь верноподданно коммунистических правителей! Это бы хорошо сделать! Давно бы пора... Но браться с ними за руки? Как вы только могли предложить такое? Мне – взять за руку бродягу Хлебникова? Отчего это вы так уверены, что он моет руки? Он же в Персию с Красной Армией пошёл! Вы представляете, каких оттуда микробов принесёт?

Выразительное лицо Мандельштама столь ярко отразило его ужас перед персидскими микробами, что Гривнич растерялся. Вдруг его осенило:

– Однако возможно ведь договориться, с кем именно в решающий момент вы соедините свои руки. О соседях ваших слева и справа... Скажем, Анна Андреевна Ахматова и Марина Ивановна Цветаева. Дамы, они-то ведь точно руки моют.

Теперь уже неистовый поэт опешил. Остановил свой бег по комнате, пожевал губами, стряхнул с папироски пепел себе за левое плечо и проговорил уже вполне по-человечески:



– Дамы не в счёт. У меня в семнадцатом году был знакомый священник, отец Бруни, я его воспринимал некоторым образом как даму, так вот он едва ли руки мыл: ему их должна была обеззараживать святость. Я надеюсь, что эта поездка будет полезна для Анны Андреевны: она вот уже несколько лет, после Октябрьского переворота, в хаос, замкнулась в семейном кругу, ничего из стихов не издаёт и даже, похоже, не пишет.

Что такое? Ведь весной вышел её «Подорожник»... Однако Гривнич, решив не противоречить гениальному буяну, заметил кротко:

– Я очень надеюсь уговорить Анну Андреевну съездить в Новгород Великий, Осип Эмильевич.

– Да, вот ещё – почему именно в Новгород, в этот пустой и мёртвый город? – снова завёлся Мандельштам. – Если вам так уж нужна София, то почему тогда не Киевская? И разве я, иудей по рождению, иудейство отвергнувший – точно так же, как и православие, не испорчу вам вашей обедни?

– Ваше участие обязательно. Осип Эмильевич, – попытался успокоить его Гривнич. Достал из портфеля уже приготовленный и тщательно, с завитушками и ятями надписанный конверт. – Вот, кстати, суточные, проездные и прочие, сумма вполне достаточна. А Киевская София перестроена была в стиле украинского барокко, есть также София Полоцкая, но ту теперь вообще от костёла не отличишь.

– Где я должен расписаться? – деловито осведомился Мандельштам, доставая из кармана огрызок карандаша.

Гривнич попытался было объяснить ему, что расписываться не нужно, потому что он, Гривнич, как секретарь и кассир лично отвечает перед Юбилейным комитетом за расходование денег, однако напрасно понадеялся он этим порадовать нервного поэта. Тот бросил конверт на пол и снова помчался по комнате, выкрикивая:

– Дело нечисто! Признавайтесь, чьи деньги? Нансена, Кутепова? Из Берлина? Из Варшавы?

По-видимому, чистосердечное изумление, написанное на лице посетителя, пристыдило Мандельштама, потому что он фыркнул и начал с другого конца, по модели, как с горьким чувством догадался Валерий, отповеди начинающему:

– Я помню ваши стихи, Валерий Осипович... Стихи как стихи... Продолжаете ли вы это занятие? Прогрессируете ли в нём? Знаете, когда я забирал тираж своего «Камня» из типографии, старый еврей, её хозяин успокоил меня: «Молодой человек, вы ещё будете писать всё лучше и лучше».

– Слишком лестно для моих каракулей и одно упоминание рядом со стихами вашего «Камня», – растрогался действительно польщённый Гривнич. – Я же, если и пописываю теперь, то для себя только. Теперь модно говорить: «в стол». Я как услышу, так и представляю себе: обыск, и жандарм (неважно, в какой форме) заглядывает ко мне в стол – чего я там написал. За свой счёт издаваться нет средств, а что сейчас печатается... Не мне вам напоминать.

– Сегодня отпевали Александра Блока, а он пророчески писал о том, что наша культура переходит в катакомбы. Думаю, что был несправедлив к покойному: одно уже расстояние, отделяющее мертвого от живых, позволяет оценить его точнее. Напрасно было бы надеяться, что в катакомбы спустятся издатели и станут выплачивать гонорары. Надо работать, сцепив зубы, выпрыгивая из собственной кожи, не оглядываясь, напечатают ли, и не рассчитывая на одобрение. С какой стати пишущий человек должен верить чужому мнению о своей вещи? Похвала здесь должна вызывать такое же внутреннее неприятие, как и хула. А что не печатают, так ведь нельзя заставить. Либо как вон у Писемского в романе «Тысяча душ»: влиятельное лицо приказывает редактору журнала напечатать повесть начинающего литератора... Вы бы захотели так издаваться?

– Согласен, что это позорно, как дебют актриски, добытый в постели антрепренёра... Но боюсь, если большевики окончательно задавят частные издательства, они обратятся к этой схеме и будут печатать только верноподданных.

– Вот и не нужно делать ставку на печатание, – с явным облегчением, ибо беседу теперь легче стало повернуть в наезженную колею, задорно подхватил Мандельштам. – Разве Сафо печатали? А Овидия – печатали, по-вашему? А Иисуса Христа?

Гривнич молча нагнулся за конвертом, собрал и вернул на место разноцветные советские банкноты. Разгибаясь, увидел, как ноги в рваных полуботинках подтанцевали к нему и остановились в полутора шагах.

– Приятно было возобновить знакомство, – сверкнули навстречу его взгляду очи Мандельштама.

Гривнич поклонился и вышел. Когда дверь захлопнулась за ним, услышал позади тихий смешок и оглянулся. Чернокостюмный Всеволод Вольфович, прятавшийся, оказывается, за дверью, в комическом ужасе поднёс палец к губам, взял Гривнича под руку и на цыпочках отвёл к своему номеру. Толкнул дверь, показывая, что открыто. И вполголоса:

– Я всё слышал. Получил бездну удовольствия. Вы действовали добросовестно, сделали, что могли. Теперь моя очередь.

Забрал конверт и, решительно стуча каблуками, направился к временному обиталищу поэта. А Гривнич бухнулся, не снимая ботинок, на постель, расстеленную на диване серебролюбивым уродцем Абрамкой.

Очнулся в сером полумраке тягучего питерского рассвета. Демонический благодетель, только что протопавший мимо в смежную комнату, уже с порога вернулся и склонился над ним:

– Разбудил-таки, Валерий Осипович? Победа! Уломал я вашего бурного гения приехать в Новгород. И конверт всучил.

– Как же вам удалось, Всеволод Вольфович? – поинтересовался, не вполне ещё соображая, Гривнич и вдруг отчаянно зевнул. – Ох, извините...

– Начать с того, что объявил: пришёл-де заказать у вас реквием. Он и поймался. Такого человека, всё равно что женщину, первым делом требуется заинтриговать. А после проговорили полночи о старом Петербурге, не о том, что вам с ним, людям молодым, запомнился, а о том, что давно утонул в водах времени и сохранился только на дне моих воспоминаний.

– Однако ж и выразились! – и Гривнич чуть не вывихнул челюсти, но извиняться больше не стал.

– Увы, с кем поведёшься... Я покори́л его рассказом о древнейшем виде петербургского общественного транспорта – конной «каретке», собственно миниатюрном дилижансе, ходившем от Публичной библиотеки на Каменный

остров, до мечети, построенной благочестивым эмиром бухарским, и к тому же подробно описал весь маршрут. Должен заметить, что Осип Эмильевич – удивительный собеседник, умеющий слушать другого, а не поджидающий только, когда удастся снова вставить словцо о себе.

– Слушать другого? Я бы не сказал.

– Так ведь ему не всякий собеседник подойдёт... Устраивайтесь поудобнее, отдохните. Завтра у нас тоже тяжёлый день.

### **Глава 7. Андрей Белый**

Они спускались по лестнице, вроде уже как и немножко домашней для Гривнича, когда секретарь и кассир обнаружил, что забыл портфель в номере. Человек в чёрном, не рассердившись, сунул ему ключ, прикрученный к лакированной деревянной груше, и пообещал подождать в вестибюле.

– Всеволод Вольфович, моё почтение! Тут был для вас телефон...

Наверху пыльную кубатуру коридора насквозь простреливало из единственного окна слепополуденное солнце. Мнимый гробовщик почти весь день отсыпался, а Гривнич блаженно подрёмывал за компанию. В перерыве перекусили доставленными Абрамкою в номер серыми каменными баранками (за такие деньги могли бы оказаться и помягче), открыли банку шпрот, отхлебнули так называемого кофе – из коры столетнего дуба, по мнению Гривнича, и с добавкой земли с кладбища при Александро-Невской лавре, как уточнил Благоподатель. Опять отключились, и Гривнич, временами отрезвляясь от дрёмы, думал только о Мандельштаме. То с бесконечными повторениями, как это бывает иногда во сне, возвращалась к нему бредовая идея, будто, бездельничая, он уступает поэту свою долю творческого пространства, то пытался вспомнить меблировку в пятом номере – и не мог. Хотя поэт, конечно же, не в абсолютно пустой комнате живёт, выходило, что личность Мандельштама подавляет бытовую обстановку – в то время, как его, Гривнича, окружающие вещи, наоборот, покоряют и подминают под себя – признак, очевидно, духовной ординарности, проявление примитивного, мещанского сибаритства. Вот и здесь, в чужом наёмном логове, продавленный диван начинает предъявлять на него права,

а смешная претенциозная лестница уже почти убедила, что она аристократична и удобна, скрипит же весьма мелодично и для того только, чтобы привлечь внимание к скромному изяществу своих балясин...

Прекратил же сонную идиллию граммофон, нахально заявивший о себе из соседнего номера, занятого московской шишкой, точнее, как догадывался Гривнич, каким-нибудь третьеразрядным светилом звёздной системы совдеповских горкомунхозов. Побуждаемый ворчащим спросонья Человеком в чёрном, Гривнич отправился было усмирять нарушителя спокойствия, однако вернулся на щите: двери музыкальной комнаты оказались закрытыми, и было три часа пополудни, а днём, как известно, каждый гражданин РСФСР на собственной жилплощади имеет право услаждать себя музыкой. Чиновный меломан обладал одной пластинкой, каковую исправно каждые три минуты переворачивал, заодно подбадривая заводной ручкой пружину пыточного устройства. И голос Шаляпина, в замшелом, в клочьях вековой паутины, облике Ивана Сусанина, рокотавшего своё «Чуют правду», неотвратимо сменялся голосом Шаляпина же: фантастически загримированный, с подрисованными бицепсами голых рук, в чёрном с блестками плаще, он убеждал, что «сатана там правит бал».

Не выдержав вокальной пытки, демонический Всеволод Вольфович пробудился окончательно и предложил бежать. То есть отправиться на встречу с Андреем Белым в отель «Спартак» немедленно, и не на извозчике (сыскная служба ЧК наверняка контролирует этих ребят), а пешком. Тем более, что не так уж далеко отель – на Гоголя, почти напротив бывшего писательского ресторана «Вена». Как только не без спешки привели себя в порядок, почистились, граммофон умолк. Однако предчувствие, что в следующее мгновение снова прозвучит «Чуют правду», точнее, ожидание новой звуковой атаки оказалось сравнимым с самой пыткой, и мученики, не сговариваясь, решили выходить.

Чуть ли не крадучись, словно опасаясь, что механический бас настигнет его посреди коридора, спускался Гривнич, с портфелем под мышкой, в вестибюль, когда вдруг почувствовал щемящую пустоту в душе и объяснил её отсутствием сейчас в гостинице Мандельштама.

– Валерий Осипович! Поспешите сюда!

Гривнич скатился по лестнице и принял из нетерпеливой руки Чёрнокостюмного отводную слушалку. Отвёл взгляд от страшного красного красноармейца, сосредоточился...

– Повторите, пожалуйста, – прогремел в ухо Благодетель.

– ...в ужасном положении, – заговорила вдруг откуда-то издалека Надя. Пока не сообразил Гривнич, что не Надя это (голос помоложе и «а» не растягивает), мимо сознания проскользнуло несколько слов. – Этот человек сказал мне, что вы смогли бы мне помочь, но вам не дозвонился. Я подслуша... запомнила телефонный номер и как вас зовут. Умоляю...

– А как у вас с образованием?

– Вторая женская гимназия, закончила уже как образовательную школу. Сейчас учусь во 2-ой студии Петроградского филиала ВХУТЕМАСа. Ой, боюсь, что уже училась...

– Не говорите лишнего. Барышни-телефонистки иногда попадают очень уж любопытные... Подождите минутку, мадемуазель.

Не шибко и стараясь, мнимый гробовщик прикрыл ладонью нижний раструб телефонной трубки. Бросил Гривничу:

– Нет, не Мандельштам... Это наш знакомец, тот... ему ещё ноги присыпкой надо обрабатывать, дал ей рекомендацию. Возьмём?

– Куда? – изумился Гривнич.

– Куда ж ещё, если не в юбилейный комитет. Фондообразователь имеется? Вот он я. Секретарь имеется? Имеется! Кассир есть? Стало быть, курьером и машинисткой.

– Вот так – с бухты-барахты?

– Вы правы, пожалуй... – Чернобородый отвёл от раструба ладонь. – Мадемуазель, алло! Я готов встретиться.

– А где?

– На Мосту вздохов в Венеции, мадемуазель, – брякнул неизвестно на что рассерженный Гривнич.

– Мой сотрудник пошутил. Будьте через два часа у входа в «Привал комедиантов». Это на углу...

– Спасибо. Я знаю, где это. А как я вас узнаю?

– Гм. Вы не помните поэта-скандалиста Валерия Бренича? Фланировал Невским с чёрными запятыми на напудренных щеках и в белом шелковом цилиндре.

– Нет, к сожалению... А вы будете в белом цилиндре? Извините, но я звоню из аптеки. Аптекарь и так уже косится: я ничего не купила.

– Хорошо, мы сами вас узнаем.

– Коричневое платье, простоволосая...

– Узнаем. Не так уж много одиноких порядочных девушек прогуливается у «Привала комедиантов».

Молча вышли они на улицу, зажмурились, близнецами-китайцами, на неяркое, сегодня уже почти осеннее солнце и направились в сторону Садовой, помахивая – один портфелем, другой – чёрной блестящей тросточкой с головой Мефистофеля вместо удобного набалдашника. Вдогонку им мордатый Шаляпин, народный артист РСФСР, высунулся из распахнутого окна на втором этаже и заревел: «На земле весь род людской...» Сотрудники юбилейного комитета переглянулись, как гимназисты-прогульщики, удачно ускользнувшие от классного наставника.

– Утром, оказывается, звонил из Царского Села «Б. Н. Бугаев», – начал вводить в курс дела Гривнича его благодетель. – Без каких-либо извинений Андрей Белый отказался принять вас в «Спартаке», как ещё вчера пообещал, и предложил увидеться в «Привале комедиантов», но уже вечером.

– А что за девица?

– Я знаю не больше вашего, Валерий Осипович. Я был у стойки, вас поджидал, когда зазвякал телефон. Смотрю, Абрамка с этой его мерзкой ухмылочкой протягивает мне трубку. Грешным делом, подумал я, что это вы супруге проболтались...

– Бывшей супруге, во-первых, Всеволод Вольфович, и плохо же вы обо мне думаете, во-вторых.

– И вовсе нет, я как раз хорошо о вас думаю... Слишком хорошо, чтобы заставлять вас рыскать за провизией по этому городу, где, за исключением портовых шлюх, всё, потребное человеку для жизни, словно провалилось сквозь землю. Или кипятить кофе на спиртовке, по моему капризу доставая к нему

чухонские сливки. Или сидеть часами на телефоне, пытаясь вызвонить взбалмошных и заносчивых петербургских поэтов. Вот и занятия для девицы. А если она слишком немолода, чересчур круглолица или (ужасный случай!) кривонога, то не сможет ласкать взоры наших поэтических волокит, да и нам лишний раз испортит настроение. А посему, прежде чем нанять её, мы с вами устроим смотрины.

– Да бог с ней, Всеволод Вольфович. Как, кстати, её зовут?

– Не сказала, что было весьма благоразумно. Не слишком ли умна? Это тоже ведь... Я не допускаю мысли, чтобы наш приятель в опорках додумался прислать ко мне полную дуру или провокаторшу. Вы правы, забудем пока о ней. Скажите лучше, отчего это нас с вами довели до белого каления арии из классических опер, исполненные талантливым русским басом?

Не ожидая ответа, принялся сам изъяснять сей феномен, а Гривнич ему возражать – и до того увлекся спором, что перестало тревожить диковинное у Чёрного человека представление о конспирации: если индивидуалисты-извозчики отвергаются как возможные доносчики, то разве опасно было подъехать хотя бы до Невского на переполненной площадке трамвая? Они же выглядят, как обычные обыватели, не то, что мистер Рейли: вон тот, небось, передвигается по Питеру только проходными дворами и задворками; кепку до бровей надвинув, перебегает от одной кучи мусора до другой. Да и внутреннее ощущение собственной полнейшей невинности помогло приободриться. Вот Валерий и высказал мнение, что раздражает не сам Шаляпин: он конечно, дико вульгарен без грима, в партикулярном платье и в общении с неистовыми поклонницами – однако, что мешает нам игнорировать его вне сцены? Чёрный поглядел на сотрудника сочувственно-понимающе:

– Мнится мне, что Шаляпина, выходца из тёмных, необразованных низов, подводит слишком быстрая артистическая карьера. Короткому восхождению к славе не сопутствовала тяжкая работа самоусовершенствования, о духовном же созревании и речи пока быть не может. А парень к тому же крайне самолюбив и желает, чтобы его принимали таким, каков есть. В жизни он – нераспознанное воплощение Грядущего Хама, напророченного нам Мережковским. Впрочем, вы



правы, дело было не в певце... И не в самой же грампластинке. Она ведь, взятая имманентно – настоящее чудо техники!

Авто проскочило проезжей частью, заставив прижаться к обочине извозчика с традиционно широкой задницей, обтянутой скучным сукном. Гривнич разогнал ладошкой смрадный бензиновый дым и заявил ехидно:

– Вот тоже чудо техники! Сейчас в самодвижущейся коляске знатный коммунист покатил, а до войны, вполне возможно, ездил в ней товарищ министра внутренних дел или Распутин. Мотор – лишь голая техническая форма, а человеческое содержание легко меняется. Большевики точно так же использовали и грамзапись: наклепали пластинок с речами Ленина и возили граммофоны по городам и весям, с одного фронта на другой. Или вспомнить хотя бы пошлые еврейские анекдоты Бима и Бома... И всё-таки: иметь возможность прослушать в сибирской глухомани, например, (а есть ведь места и более дикие) ту же арию из «Фауста» в исполнении Шаляпина – это же грандиозный культурный прорыв, Всеволод Вольфович! Я бы не постеснялся приравнять изобретение звукозаписи к великому подвигу Гуттенберга!

– В нашем с вами случае, Валерий Осипович, я усматриваю два существенных обстоятельства. Нас раздражала отнюдь не точная копия пропетого Шаляпиным. Невозможное в живом звучании дребезжанье, странные тремоло, просто шуршанье и треск, а главное – где они, сочность, богатство обертонов, немыслимая бесстыдная душевность русского певца-самородка? Это одно. Я при этом не отрицаю возможности технического усовершенствования, обещаемого нам хотя бы уже пройденным путем от хрупкой игрушки Эдисона до оборудования современной компании, выпускающей пластинки для граммофонов. Однако мне кажется, что граммофонная пластинка просто не способна передать живой звук и все столь милые слушателю обстоятельства исполнения – точно так же, как ксилография или даже фототипия – живописное полотно. Второе...

Мимо них проплывали петербургские дома-корабли, почерневшие, в застывших серых потеках, с островками облупившейся штукатурки и отвалившимися карнизами, и в жалком состоянии этом именно что похожие на чёрно-белые фототипии самих себя – или на гротескные их изображения в

пророческих, как оказалось, листах графика Добужинского, недавно напомнившего о себе гравюрой на обложке «Подорожника» Ахматовой. Покосившись на спутника, подумал Гривнич: если и есть в нём демоническое начало, то не русское, устрашающе-дурашливое, а словно бы опрятной немецкой формовки. При этом вроде не о любезном человеке, приятном собеседнике подумал, а о некоей скрытой за маскарадным обликом сущности. Он вздохнул и снова прислушался.

– ...или, на худой конец, на домашнем концерте, когда сама хозяйка, краснея и жеманясь, садится за пианино музицировать. А пластинку можно ляпнуть на граммофон когда угодно, и никто не запретит вам, к примеру, под шедевр Гуно и Шаляпина опорожнять прямую кишку. Pardon.

– А меня, по-видимому, взбесило в первую очередь тупое повторение тех самых арий, Всеволод Вольфович.

– Отсюда следует, что вы не демократ, мой дорогой, и не любитель детей. Ведь это детишки требуют от нас, чтобы миллион раз повторяли им ту же самую сказку...

– Согласен: я – ненавистник детишек. А почему не демократ?

– А потому что многократное повторение тех же текстов есть закон существования простонародного искусства. Для того, чтобы мужик понял и прочувствовал какую-нибудь мужицкую же песню, он должен услышать её вот именно много раз. Вон Иван Сергеич Тургенев рассказывал, как мужик читает: купит себе лубочную книжку, того же «Бову Королевича» в двадцать страниц, и читает по воскресеньям, а как растреплет, купит себе нового «Бову Королевича» и продолжает сызнава читать...

– Кому это Тургенев рассказывал?

Чернокостюмный благодетель промолчал. Гривнич не стал настаивать на ответе: как раз пересекали Гороховую, и ему захотелось втянуть голову в плечи. И прекрасно понимал, что страшное здание далеко, в самом начале улицы, но пятки опять поджаривало. Гороховая, столь же безлюдная, как и Садовая, осталась, наконец, позади, и теперь ему показалось, что спину буравят внимательные чужие глаза. Не вытерпев, поделился пугающим опасением с Чёрным. Тот, не говоря худого слова, схватил своего секретаря и кассира за рукав

и втащил в первую подвернувшуюся подворотню, а на середине прохода, резко приняв вправо, втиснулся сам и подопечного вдавил в нишу, куда в старые времена выходила керосиновая лавчонка. Пару минут ничего не происходило, на третьей Гривнич почувствовал себя дурак дураком. На пятой приблизительно минуте мнимый Всеволод Вольфович непринужденно шагнул вперед и принялся отряхивать визитку:

– Ни свистков, ни топота, никто не вбежал в подворотню... Да не тушуйтесь вы, Валерий Осипович, лучше перестраховаться, чем недобдеть, – и махнул рукой.

– А что бы мы сделали, если бы агент забежал сюда?

– Филер старой выучки, ещё царской, тот сначала послал бы напарника перекрыть второй выход, вызвал бы подкрепление и только тогда сунулся бы в подворотню. Или – в том случае, если бы вёл открытую слежку, – просто продефилировал бы мимо, нас как бы не замечая, и ближе к противоположной стене, чтобы я не смог сделать ему подножку или другую неприятность. Однако позавчера чекист Пётр Луцкий...

– Кто?

– Да тот горе-агент, которого вы уговаривали не нервничать... Этот малый показал мне, что наши преследователи катастрофически не обучены, а оттого непредсказуемы и, следовательно, смертельно опасны.

Выглянув сначала из подворотни лично, Чёрный человек выпустил на Садовую и Гривнича. Он тоже огляделся, хоть и не было в том необходимости. Слева удалялась под руку парочка фабричного вида, со стороны Сенной пылил извозчик.

Опять потянулись магазины и лавки в первых этажах. Зеркальные стекла витрин разбиты, внутри мерзость запустения, а вот вывески на этом отрезке Садовой почти все сохранились. Гривнич вспомнил, как одна знакомая дама рассказывала ему, что из подвалов «Крафта» по-прежнему пахнет шоколадом, и покачал головой. Наверное, совсем не шоколадом там пахнет.

– Валерий Осипович! А, Валерий Осипович? – повернулся к нему Чернокостюмный, соскучившийся, видать, от молчания. – Вы не против вернуться к теме о пластинках?

– А что, недостаточно меня обличили? Так валяйте. Впрочем, и мне пришло в голову кое-что. Если многократное повторение органично для народной культуры, то куда разумнее записывать на пластинки песни Вяльцевой или Плевацкой.

– В этом что-то есть, конечно... Однако разве вас не согнало бы с места десятикратное повторение, как оно там... «Умер бедняга в больнице военной»?

Гривнич рассмеялся. Очень легко ему оказалось представить Блока (надо теперь добавлять «покойного» – в голове до сих пор не укладывается!) слушающим, подняв бровь, с пластинки мещанский романс про беднягу – Блока, но не Мандельштама. Выходит, или Блок слишком всеяден, если способен на эстетическое приятие неискусства и безвкусицы, или Мандельштам, напротив, чересчур узок и уж, во всяком случае, далек от пушкинской широты.

– Валерий Осипович, ау! Опять Чрезвычайка припомнилась?

– Да нет... «Умер бедняга...» Бр-р-р... Нет, десятикратного повторения я бы тоже не вынес.

– Следовательно, дело не в том, что записано на пластинке, а в нас.

– Я ведь уже соглашался, что недостаточно вами обличён! Ладно, согласен, что мы оказались нетерпимы к чужому эстетическому выбору, к незначительному и укладывающемуся в законные рамки нарушению нашего индивидуального спокойствия... Вот это да! Поглядите, Всеволод Вольфович!

Из пролома в стене заколоченного Гостиного двора выбралась, с серьёзной миной приглядываясь к незнакомым дядям, девочка лет десяти, в платице потрепанном, однако явно домашняя, не беспризорная. Перед собою гордо держит добычу – обмотанный стеблем серенький букет полевых цветов.

– Да, в самом деле, удивительно, – подтвердил мнимый гробовщик. – Пролом ведь рядом с заколоченным входом. Едва ли можно такое объяснить причудливой логикой разрухи: разруха-то как раз весьма логична. Наверное, шальной революционный снаряд.

Гривнич кивнул. Самому ему подумалось иное. Чёрный человек не обратил внимания на девочку с букетиком, потому что она есть феномен ещё более алогичный, чем разбойничий пролом в стене рядом с дверью: всего-то и нужно было оторвать доски. Этот букетик нельзя и в стихотворение вставить:

ведь за образом не будет маячить сверхзадача, этакая «мораль», а без неё не обойтись ни простонародной басне Демьяна Бедного, ни самой изысканной элегии Мандельштама. На пустых торговых площадях Гостиного двора, сего грубого и громоздкого святилища Плутоса (вон они, проплывают мимо, классические храмовые колонны), можно нарвать полевых цветов – ну и что?

– Не знаю, помните ли вы, – мечтательно спросил Чёрный, – но в прошлом году вот в этой яме валялись два разбитых легковых авто, а сама яма был заботливо огорожена сетками и боковинами от железных кроватей. А теперь железо уже убрали.

– У меня создалось впечатление, – поддакнул его спутник, – что и сама яма наполовину засыпана. Лепота!

Всеобщий благодетель внимательно присмотрелся к Гривничу. Хмыкнул и отвлекся зрелищем вечного Невского.

По Невскому, как и всегда, как оно и во время Светопреставления будет, валил народ, однако приметы добывающей город разрухи видны и здесь: у разбитых витрин ресторанов и кафе не толпятся, как двумя ещё годами ранее, бабы-селечницы, инвалиды-папиросники и даже, несмотря на сезон, торговки-яблочницы. А красные флаги, украшающие учреждения и в будни, явно поблекли. Трамвай, издавая железный гром и вороний грай, попытался было догнать путников, однако, окутанный тревожным трезвоном надтреснутой своей лютни, вынужден был свернуть на Невский, на конечную остановку.

– Надо было всё-таки подъехать, – пробурчал Гривнич. – У меня с непривычки уже ноги отваливаются.

Благодетель его промолчал. И отозвался, только когда пересекали они уже Михайловскую площадь:

– В старые времена мы уже были бы на месте, а?

Гривнич оглянулся в ту сторону, где бурые ворота: за ними, и если к тому же пройти во второй двор, можно и сейчас, сбив ржавый замок, спуститься в заплесневелый подвал и послушать, как осыпаются фрески Судейкина – невиданные птицы и бескрылые золотые и лазурные твари, на грешную нашу землю и лапой не ступившие. Питерские власти закрыли кабаре «Бродячая собака» в самой середине Великой войны, кощунственно приравняв вдохновение

к запрещенному спиртному, а на самом деле – чтобы лишить писателей и художников вольного их пристанища. Вот если бы те стены и своды могли записывать звук, как граммофонные пластинки! Если бы пижонистые жрецы синематографа снимали не царские выходы и не Троцкого у бронепоезда, а то, что творилось в этом кабаре! Тогда грядущий, двадцать первого века, Мандельштам не повторил бы: «Я не увижу знаменитой “Федры”...».

– «Я не увижу знаменитой “Федры”...», Всеволод Вольфович.

– И хорошо, что мы её не увидим, Валерий Осипович. Уверен, что вас постигло бы глубокое разочарование. Как, впрочем, и от игры знаменитых Каратыгина или Мочалова, предков наших доводивших до слез. На Хлою следует смотреть глазами Дафниса, хе-хе...

И вот конец пути. Вон он, скромный дворец, построенный братьями Адами в самом начале тихо отгоревшего девятнадцатого века. И наш день гаснет. Гривнич старается не смотреть в сторону братских могил Марсова поля: в конце февраля семнадцатого года оно жестоко его устрасило похоронами жертв революции – и «*Marche funèbre*», душераздирающим траурным маршем Шопена, и ужасом перед толпой в полмиллиона голов, готовой, как ему тогда казалось, порешить скопом, словно *madame de Lamballe*, и затоптать действительных или мнимых виновников кровопролития. А после и большевики хоронили там своих мертвецов с теми же к вселенской мести зовущими рыданиями духового оркестра. У весёленького места снял подвал для «Привала комедиантов» хозяин почившей «Бродячей собаки», ночной мотылек-бодрячок Боря Пронин! И ничего оно не меняет, только ещё тошнее оттого, что между могил Марсово поле перекопано огородами.

– А ничего, правда? Берём!

– Что берём?

– Глаза протрите, Валерий Осипович!

Действительно, идёт им наперерез, у ампириного входа желая перехватить работодателей, решительная девушка в коричневом платье и с открытой коротко остриженной головой. Путники сняли шляпы. Девушка (не из тех, что способны отпугнуть влюбчивых стихотворцев) безошибочно обратилась к Гривничу:

– Вы ведь Валерий Бренич – я не ошибаюсь?

– Не ошибаетесь, не ошибаетесь, мадемуазель! – живо отозвался Чернокостюмный. – Только это вы мне телефонировали. А зовут меня Всеволод Вольфович, я некоторым образом, руководитель нашего комитета.

– Какого комитета? – изумилась она.

– Юбилейного комитета в честь 100-летия со дня рождения Достоевского. А Валерий Осипович его учёный секретарь, прошу любить и жаловать.

Девушка сообщила, что она Лиза, то есть Елизавета Силантьева. Мужчины ответили единодушно, что им очень приятно, после чего мнимый гробовщик деликатно осведомился, умеет ли мадемуазель печатать на «Ремингтоне»? А когда выяснилось, что не умеет, тут же пояснил поспешно, что спрашивал только из любопытства, потому как «Ремингтона» у них нет.

– А почерк у вас хорош ли? – сурово спросил Гривнич.

Девушка Лиза замялась, а всеобщий, как выясняется, благодетель поторопился объявить, что она принята старшим курьером – с приличным окладом. Валерий наставил ухо: поинтересуется ли внезапная сослуживица, с каким именно? Нет, спросила только, удобно ли ей? Это когда Работодатель пригласил всех спуститься, наконец, в подвал. На что тот впервые за весь с нею разговор посмотрел девушке Лизе в глаза и ответил серьёзно:

– С нами – удобно, без нас – едва ли.

Внутри артистическое кабаре «Привал комедиантов» в сотый, а может быть, и в тысячный раз подтвердило Гривничу правоту немецкой, кажется, пословицы, что никому-де не нравится подогретый суп. Очарование «Собаки», уютной и родной для завсегдатаев, с её настоящей живописью на стенах, с настоящим искусством на эстраде, с её довоенным разливным морем вина и с «ананасной водой» военных лет, увековеченной Маяковским в скандальной вещи «Нате!», с её пусть пьяноватой, однако и в самом деле артистической атмосферой, обаяние это сменилось в «Привале» чёрт знает чем, суррогатом. Он понимал, что несправедлив, что ухудшилось качество самой жизни и что постарели те знаменитые завсегдатаи и разлетелись по всему свету те своенравные красавицы, вокруг которых волшебным образом электризовался дымный и цветной воздух кабаре. И закономерно, что место самих «комедиантов», не всегда весёлых, однако уж точно никогда не скучных поэтов и художников, балерин и актрис заняла в

«Подвале» богатенькая публика, пришедшая на «комедиантов» посмотреть и к их божественной жизни присоединиться. И как забыть о главной, быть может, причине неприятия?..

– Действуйте! – ткнул его в бок мнимый Всеволод Вольфович.

– О чём вы? – встрепнулся Гривнич. И кивнул, сообразив, что здесь, на чужой для себя территории, Черный человек уступает ему инициативу.

Выбрал столик, заказал, молчаливо поддержанный денежным благодетелем, всё поименованное в легальном меню и пошептался с официантом Володей об экстраординарном дополнении. Предложены были: довоенная политура двойной будто бы очистки и чмырь, то есть самогон городской выделки, подороже. Переглянувшись с благодетелем, Гривнич выбрал чмырь. Затем Володя, тотчас же уразумев, кто будет платить, обратился напрямую к Чернокостюмному:

– Имеется ещё орехово-морковный пирог. Поскольку испечён без муки, никакой контры противу карточной системы...

– Меня зовут Всеволодом Вольфовичем. Конечно же, несите! Всего, что есть, четыре порции.

– Как замечательно! – захлопала в ладошки девушка Лиза. – Я ничего не ела со вчерашнего обеда.

– Тогда пять порций, будьте добры.

Гривнич скривил угол рта. В его юные годы такая откровенность считалась вульгарной, модно было словесным флёрком затуманивать вещную реальность, а нынешняя молодежь, та режет правду-матку. Вот он где, окончательный крах символизма! Он огляделся. Андрея Белого в зале не нашёл. Было пусто на эстраде и пустовато в зале. Кучка совбуров (во френчах и сапогах, но с портфелями) в компании с парой купчиков заняла столик у самой эстрады, прямо под грубо размалеванным раструбом граммофона, высывающимся из-за занавеса.

– Я так понял, что Борис Николаевич покамест не пришёл, – обратился к Гривничу Всеобщий благодетель. – Я его видел только на портрете в книжке и не уверен, что нынешний Борис Николаевич похож на того Андрея Белого, хе-хе. Уж вы, Валерий Осипович, поглядывайте, пожалуйста, не появился ли.



Гривнич кивнул. Он тоже не был уверен, что узнает. Прошёл слух в семнадцатом году, когда «Боря» вернулся из Германии, что он неузнаваемо изменился, но в семнадцатом году хватало дел и более важных, нежели бегать в «Привал» рассматривать, в чём он изменился, автор прославленного, как сонеты Шекспира, стихотворного сборника «Пепел» и романа «Петербург», переведенного на все почти западноевропейские языки.

Мнимый Всеволод Вольфович меж тем продолжил:

– Приглашение в Юбилейный комитет можете предложить ему и за столом, конверт тоже, а вот относительно места и сроков, – Гривнич снова кивнул, подтверждая, что понимает, – о месте и сроках желательно бы наедине.

– Вот только... – начал было Гривнич. И запнулся. – Да вот же он... Или не он? Борис Николаевич! Сюда! Прошу к нам.

Человек, вынырнувший из прикрытой занавесями двери в углу подвала и торопливо вытирающий руки несвежим белым носовым платком, не мог быть никем иным, как только Борисом Николаевичем Бугаевым, да только не сразу удалось в это поверить. Щегольские усики сбриты, золотистая копна волос облетела сама, оставив за ушами полуседые жёсткие кустики, синие глаза побледнели, горят, будто лучистые фонари, на худом, изможденном, по-прежнему красивом лице.

Пахнуло явственно ветерком и одновременно – лёгким духом очищенной политуры, когда он протянул руку вскочившему навстречу Гривничу:

– Здравствуйте, Валерий Осипович! Я-то вас сразу узнал... – и торжествующе. – Что, не ожидали? Я крепкорукий теперь – недаром на постройке Гетеанума резчиком по дереву два года отработал! Представьте меня, пожалуйста.

В конце церемонии представления бывший «Боря» потребовал, чтобы Всеволод Вольфович назвал и свою фамилию.

– Ну, кому это интересно, Борис Николаевич? Ладно, Иблисовы мы, там свечной заводик, здесь свечной заводик... Поднабрал деньжонок, вижу, что большевики всё едино отберут, вот и решил лучше отдать на доброе, для всего народа нашего, дело. Валерий Осипович вам объяснит.

– Как раз очень, очень интересно... Отчество ваше Вольфович, а я тут два года в «Вольфиле» подвизаюсь, в Вольном философском обществе. Как судьба играет словами!

– В данном случае скорее человек, Борис Николаевич, – вклинился Гривнич. И собрался уже было опустить иглу на свою граммофонную пластинку о Достоевском юбилее, но тут Володя привёз тележку с приборами, пирогом и «ситро», начал накрывать и откупоривать – надлежало присматриваться. Наконец, Володя конспиративно щёлкнул ногтем по бутылке, где химическое пойло выглядело помутнее и посветлее, чем в других. Теперь можно было и к разговору вернуться.

– Я не пью, – повела носиком девушка Лиза. – А можно, я сразу отрежу себе пирога?

Некоторое время мужчины увлеченно наблюдали, как насыщается девица. Гривнич, правда, возымел подозрение, что Благодетель, назвавшийся Иблисовым, и знаменитый поэт оттягивают таким образом необходимость сделать первый глоток вонючего чмыря – поступок, что ни говори, требующий мужества. Сам он положил пить только чистое «ситро» – пока не выполнит свою миссию, во всяком случае. Что ж, время...

– Борис Николаевич! Этой осенью исполняется столетие...

Поэт сосредоточился, влил в себя порцию напитка, на его выразительном лице сменилось несколько поистине трагических гримас, он выдохнул, вскочил со стула и помчался к эстраде.

Лиза прожевала и восторженно прошептала:

– Сейчас Андрей Белый прочтёт нам свои последние стихи...

– Увы! – покачал головой Гривнич. – Рылом мы не вышли, мадемуазель.

Белый пересёк эстраду и, вытащив на середину её низкий шкафчик с граммофоном, принялся перебирать стоявшие в его нижнем отделении пластинки. Гривнич и назвавшийся Иблисовым переглянулись. Зазвучала простая, шершавая мелодия, подчеркнута ритмическая, похожая на африканскую музыку. Гривнич наострил ухо: нет, он не ошибся, прихотливо, не в лад мяукал там саксофон, обязательное украшение военных духовых оркестров.

– Это фокстрот, – Белый уже у столика, склоняется перед единственной дамой, приглашая её на танец. Полублагосклонно, полупрезрительно ухмыляется.

– Исключительно моден теперь в Берлине. «Однообразный и безумный, как вихорь жизни молодой...»

– Я не умею, – с полным ртом отнекивается Лиза.

– Танец очень простой! – и ухватив за руку своей большущей лапой, Белый вытаскивает из-за стола дожевывающую партнершу.

Оставшиеся сидеть в оцепенении наблюдали, как поэт, понимающий фокстрот отнюдь не как скучную толчею «два шага вперед, два шага назад», импровизирует, вертясь вокруг ошеломленной Лизы, выкомаривая гротескные па, тыча пальцем то в пол, то в потолок, дергая головой и делая едва ли не циничные жесты. Только когда умолк граммофон, и Белый метнулся на эстраду, чтобы поставить пластинку с начала, деятели Юбилейного комитета переглянулись, а Фондообразователь промолвил:

– Пожалуй, под это следует выпить, – совершив же задуманное, добавил. – А не подвергаем ли мы опасности нашу новообетенную курьершу?

– Да нет, едва ли, Всеволод Вольфович. Лиза вовсе не в его вкусе. Белый обожает женщин золотоволосых, и чтобы обязательно с лазурными глазами. К тому же наша Лиза для него слишком мелкотравчата...

– Бедная Лиза, – протянул назвавшийся Иблисовым. – Однако же Эраста такая малость не остановила...

– В любви Борис Николаевич отнюдь не походит на Эраста, шевалье де Вальмона или Печорина. Все романы Андрея Белого свершаются, как любовь у слонов: с большим шумом и на высоком уровне. Все они – внутренние явления современной русской литературы и, естественно, в ней живо обсуждаются. Вспомнить хотя бы скандальную влюбленность – не весьма удобно вспоминать, ведь завтра-послезавтра похороны Блока, да уж ладно – в Любовь Дмитриевну. Или роман с Ниной Петровской: там образовался любовный треугольник с Брюсовым, многократно отразившийся в поэзии всех троих. А он женат на Асе Тургеневой (каково?), оставшейся в Дорнахе, когда вернулся в Россию. Теперь мучается, примет ли она его после четырёх лет отлучки... Что Белому ваша курьерша? А тактика ухаживания – над нею втихомолку потешалась вся наша

окололитературная братия! Сперва боготворить женщину, тщательно выстраивая с нею «братские» отношения, уверяя, что мечтаешь только о платоническом духовном союзе, внезапно и неожиданно спуститься на уровень чувственных претензий – и тут же убегать, подобно Иосифу Прекрасному... Убегать, вне зависимости от результатов атаки, да ещё поливая возлюбленную грязью за то, что предала и осквернила высокое горение чувства!

Музыка снова прервалась. Оставшись одна у эстрады, Лиза вперила умоляющий взор в начальника, но тот только отмахнулся. Снова грянул фокстрот. Зрителей прибавилось: в двери, ведущей на кухню, нарисовались приземистая баба, наверное, кухарка, и повар в грязном белом переднике.

– Такого сложного ухаживания за два-три танца не провернуть. Вы меня успокоили, – меланхолично заявил мнимый Всеволод Вольфович. – Надо подумать, как бы вам с Белым уединиться, чтобы обсудить мистическую сторону замысла.

– Не приглашать же мне «Борю» на танго? – возмутился Гривнич. – И удивительно мне, о всезнающий, что вы не слышали об этих вещах!

– Может быть, и слышал, да всегда приятно познакомиться с ещё одной версией сплетни... Послушайте, я понял, что напоминало мне весь вечер Лизино коричневое платье. Да не напоминало, а это и есть гимназическая форма. Только без передника.

– Каждый в России донашивает теперь то, что соблаговолил оставить на его плечах старый мир... Наконец-то!

На сцене уже настраивали инструменты музыканты румынского оркестра в заметно потрепанных национальных костюмах. Шкафчик с граммофоном исчез, а раскрасневшийся Белый, усадив прежде даму, вернулся на своё место за столом. Гривнич набрал воздуха и завёл было снова шарманку, но поэт от него отмахнулся:

– Потом, потом – до издательских ли нам дел в эти дни и ночи? Завтра – панихида, затем и похороны Блока! Вчера и сегодня весь день я творил свои панихиды. И я тут только что почтил память покойного друга пляской перед его гробом, подобно тому, как Давид-псалмопевец плясал перед Ковчегом Завета. Почтим же мы и все вместе память покойного вставанием.

Почтили – Лиза скорее даже испуганно. Назвавшийся Иблисовым разлил жидкости по стаканам, помянуть. Помянули, помолчали. Белый, не садясь, удержал в себе чмырь, отдышался. Снова заговорил:

– Да!.. Эта смерть прозвучала для меня как роковой бой часов: чувствую, что часть меня самого ушла вместе с ним. Вот ведь: долго не видались с Сашей, почти не говорили, а просто «бытие» Блока на физическом плане, житейски, было для меня как орган зрения или слуха; это сильно чувствуется теперь. Я ослеп.

Девушка Лиза ахнула. Белый очаровательно улыбнулся ей, сел.

– Вам трудно в это поверить, милое дитя? Однако эта смерть неминуемо обеднит, пусть сначала и малозаметно для вас, и вашу не вполне покамест сознательную жизнь. Мы все в России несколько ослепнем и оглохнем. Скажете: можно и слепым прожить? Слепые или умирают, или просветляются внутренне, да. Вот те роковые часы и пробили мне смертью Блока: пробудись или умри! Начнись или скончайся. А если выбрать начало, то придётся жить в совершенно другой жизни. Извините, я уже повторяюсь. Приглашаю вас на открытое заседание «Вольфины» в конце августа, я готовлю для него доклад о Блоке, и там философски и антропософски обосную эти мысли.

– Вы, Борис Николаевич, вовсе не повторились, – зачастил Гривнич. – То предложение, что поручил мне вам сделать Юбилейный писательский комитет по всенародному празднованию 100-летия Достоевского, как раз и связано с попыткой духовно воспротивиться обеднению жизни, навязы-ва-ваемому... которое пытаются нам навязать некоторые пасынки революции. Мы просим вас, самого глубокого в наше время интерпретатора творчества Фёдора Михайловича, принять должность председателя Комитета и прибыть в Новгород Великий тридцатого сентября (по старому стилю семнадцатого) на день Веры, Надежды, Любви и матери их Софии. Вот здесь должностной оклад, суточные и проездные.

Белый взвесил конверт на ладони, заглянул внутрь, хмыкнул и положил на стол. И вдруг на глазах сократился, съежился и завизжал:

– Как вы можете доказать, что не провокатор из Чрезвычайки? – и трагическим шепотом, доверительно. – Я и без того хожу по Питеру, как по лезвию бритвы. Не выпускают меня большевики в Германию, хоть плачь. Я, грешным делом, начал подумывать о бегстве. Намекнул одному, другому – по

секрету, разумеется, – что собираюсь удрать: не подскажут ли ловкого человечка, чтобы помог перебраться через границу? Так что ж вы думали – подходят теперь ко мне дамы, спрашивают заговорщицки: когда же вы убежите, Боря? Ужас охватывает: на Гороховой знают каждый мой шаг!

Лиза хихикнула. Гривнич взглянул на неё укоризненно, общий их благодетель – с добродушным удивлением, а Белый одарил широчайшей улыбкой совершенного и полнейшего удовольствия, чуть ли не счастья. Заметил, не убирая улыбки:

– Приятно, должно быть, посмеяться над трусливым неврастеником, а?

– Да как вам только могло прийти в голову такое? – возмутилась Лиза. – Вот вы своими лапищами мне чуть руки не переломали, а ноги-то как отдавили – разве я в претензии? А улыбнулась я потому, что подумала: этот знаменитый поэт ведет себя, как наивное дитя – так и должно, и прекрасно это!

– Поверьте же и мне, дорогой Борис Николаевич, – поспешил вмешаться Гривнич, – что мы тоже все трое – и по разным причинам – десятой дорогой стараемся обходить то здание на углу Гороховой и проспекта Адмиралтейства, где при старом режиме было Градоначальство. Мы к нынешнему начальству не имеем никакого отношения.

– Приятно слышать, товарищ, – заметил Белый язвительно, разглядывая крошки на опустевшем блюде. Скривил губы, когда румынский оркестр грянул не разухабистое румынское, а «Вы жертвою пали...». – А я уж думал, что наш хозяин-буржуй решил не замечать, что со всеми нами делается... Хотел уж уходить. А вот и сам он, серебролюбивый Борька...

Траурный марш оборвался. Свет в зале потух, в тусклом луче прожектора явился перед задёрнутым занавесом мужчина во фраке и с лицом неуместно значительным, будто у римского сенатора. Склонил голову.

– В память почившего в Боге великого писателя земли Русской мы предлагаем сегодня публике сцены из его пьесы «Балаганчик».

Пронин скрылся за занавесом, который почти сразу же и раздёрнулся, и Гривнич увидел хозяина кабаре уже сидящим на скамейке в числе трёх «мистиков». Справа в полутьме светился белыми одеждами щедро напудренный

Пьеро. За спиной кто-то громко откашлялся. Раздались робкие хлопки. И замогильные голоса взвыли:

– Ты слушаешь?

– Да.

– Наступит событие.

– О вечный ужас, вечный мрак!

Белый с гримасой отчаяния, жутковато расплывающейся, искаженной в цветных потёмках, наклонился через столик к Гривничу и громко зашептал:

– Невыносимо! Вы, кажется, хотели переговорить со мной? Так выйдем.

– Я жду.

– Уж близко прибытие.

За окном нам ветер...

– ...подал знак, – зло прошипел поэт, затолкал Гривнича под занавески, а затем и за дверь, украшенную шаржированным чёрным силуэтом фронта в цилиндре. Проверил, не прикидываются ли пустыми кабинки.

– Рассказывайте, пока нас не прервали, какой знак вы с компаньоном всё порывааетесь подать мне. Достоевский родился в конце октября по старому стилю, а вы приглашаете на Веру, Надежду, Любовь. Я же математик всё-таки, замечаю такие вещи.

И Гривнич принялся рассказывать, как мог, и не прерывался, когда поэт скрылся в кабинке, чтобы справить малую нужду. Замолчал, когда его слушатель уже мыл над облупленной раковиной руки.

– Ваша идея не нова, – наконец заявил Белый. Поморщившись, вытащил из кармана платок, критически его осмотрел, сунул назад в карман, стряхнул с рук воду и, продолжая держать их пред собою на весу, продолжил. – Потому что вы попытаетесь инициировать повторение чуда, случившегося почти две тысячи лет тому назад на пути в Дамаск.

– При чём здесь «путь в Дамаск»? – озадаченно пробормотал Гривнич. – Экстаз – да, но не чувственной же страсти...

Водоворотом мы схвачены

Последних ласк.

– Что? – удивился в свою очередь Белый. Потом язвительно усмехнулся. – Вы разделяете беду нашей полуобразованной полуинтеллигенции: всё наспех да по верхам, и если Брюсов дерзостно приравнивает экстаз половой страсти к божественному огню, опалившему Савла на дороге в Дамаск, источник образа уже в пренебрежении.

– Ах да, вспомнил... «Деяния апостолов».

– Слава Богу... Не удивлюсь, если через несколько десятилетий нам с вами... ну, вам так уж точно... доведётся жить среди называющих себя интеллигентами, а «Библии» не читавшими. Итак, презревшие поэзию большевистские наркомы вызовут на себя... как оно там в «Деяниях»? ...свет с неба. И голос с небес услышат, вроде такого: «Троцкий, зачем ты гонишь русских поэтов?» И тогда Ленин и Троцкий подберут, полюбят всех нас грешных, а не только Демьяна Бедного с футуристами, заодно обратятся в пастырей добрых и для всего русского народа. Так, что ли?

– Не уверен, что здесь есть почва для вашей иронии, Борис Николаевич, – трудно выговорил Гривнич и заставил себя взглянуть в огромные и лучистые глаза поэта, – тем более, что в проекте так многое заимствовано прямо от вас: идея Софии, идея космических сил, вторгающийся в земные дела... России – именно как объекта этих лазурных космических...

Оборвал на полуслове. Потому что хлопнули одни двери, вторые и в туалете возник хорошо одетый толстячок. Пришлось подождать, пока он совершит своё дело и, презрев рукомойник, не уберётся, окинув изумленным взглядом Белого. Тот, пожав плечами, сказал:

– Видно, решил, что мы тут морфием или шприцем делимся... Вас удивляет моя ирония, Валерий Осипович – я ведь не ошибся, правда? А меня, честно говоря, удивляет, что вас, автора нескольких неплохих стихотворений, до сих пор держит в плену это наше символистское и декадентское смешивание святой поэзии и греховной нашей жизни. Вот прочту я вам конец довольно известной моей вещи, «Родина».

И поэт, опершись одною рукою о водопроводную трубу, под клекот воды, наполняющей бачок ватерклозета, продекламировал:

Сухие пустыни позора,



Моря неизливные слез —  
 Лучом безглагольного взора  
 Согреет сошедший Христос.

Пусть в небе — и кольца Сатурна,  
 И млечных путей серебро, —  
 Кипи фосфорически бурно,  
 Земли огневое ядро!

И ты, огневая стихия,  
 Безумствуй, сжигая меня,  
 Россия, Россия, Россия —  
 Мессия грядущего дня!

Гривнич замер, ошеломлённый. Текст-то он сразу вспомнил, но его поразила декламация Белого: в ней не было ничего от пресловутой символистской напевности, которую Гривнич называл про себя «завываниями», – Белый четко интонировал и подчеркивал ударение в каждом слове, выведенном его по-юношески звонким, чуть надтреснутым голосом. Как чувствовалось, что читает лучший в России исследователь стихотворной ритмики, который и творчески познал музыку стиха, и разъял её усилиями незаурядного интеллекта!

– Что скажете, Валерий Осипович?

– Прекрасные стихи, – прошептал Гривнич. – Впрочем, я уже читал, конечно же... И разве не близки они к нашей идее, Борис Николаевич?

– Близко выговорилось, согласен... Но неужели вы, читатель, и в самом деле поверили, что автор этих зарифмованных строчек, некто Борис Николаевич Бугаев, готов сегодня же выехать на Камчатку, чтобы прыгнуть там в жерло огнедышащего вулкана?

– Борис Николаевич...

– Далее, вы заметили, что здесь говорится об огненной жертве поэта его стране, пусть поэтической, условной, но жертве? А кто будет принесен в жертву по вашему плану, чтобы ей в ответ сошёл на землю и преобразил убийц ваш космический Христос?

– Жертва не предусматривается ритуалом, Борис Николаевич... Постоите, а погибшие на гражданской войне – чем вам не жертва?

– Тогда почему Христос до сих пор не спустился с небес в России? Послушайте меня, я ведь годы отдал антропософии, хоть и запутался с Учителем... Ну, сейчас не об этом. В мистике утверждается, что приближение к какому-нибудь порогу, рубежу, за которым идет новый этап сознания, всегда сопровождается чувством затруднения, как будто на пороге стоит Страж. Вашему мистическому превращению большевиков в кротких агнцев без жертвы не обойтись. И если для спасения России от гильотины нужна моя жизнь, я готов её отдать – и не поэтически, а реально.

Почувствовал, видимо, что выразился чересчур уж патетично, носитель безупречного вкуса Борис Бугаев, кашлянул, заговорил подчеркнуто будничным тоном. Однако, как тут же осознал Гривнич, вовсе не о будничных вещах.

– Вы, Валерий Осипович, поосторожнее с бесом-то. Я хоть и обращался к вашему Иблисову, а всё в сторонку глядел, влево. И такая там чёрная бездна раскрывалась, что ой-ё-ёй... Вас-то пока ваша ирония защищает, ваш цинизм, для поэтических экзерсисов, возможно, и излишний. А вот курсисточку в чертов омут наверняка затянет. Кстати, я в ваш проект поверил, только когда понял, что... кто рядом с нами. А где этот собственной персоной, там и Тот, Другой на страже.

## **Глава 8. Чекист Карев**

– Покажите мне его лицо! – приказал начальник осведомительного отдела ПетроЧК Карев.

– Не весьма аппетитная картина, товарищ чекист, – предупредил врач-патологоанатом, испуская запах хорошего медицинского спирта. – Вскрытие уже произведено, но пациент не зашит...

– Открывай, я сюда не закусывать пришел!

Врач откинул пятнистую от засохшей крови простыню, и Карев присвистнул. Конечно, он многого насмотрелся, промаявшись в окопах на Западном фронте чуть ли не всю империалистическую войну, и служба в ЧК отнюдь не предполагала созерцание ромашек на июньском лугу, но такое

встречалось ему нечасто. Усмирив эмоции, сосредоточился на выводах. Первый: на цинковой столешнице лежит, несомненно, сотрудник секретного отдела Петроградской губЧК Буревой Иван Васильевич, без вести пропавший в ночь с субботы на воскресенье. Внутреннее чувство, которое можно было бы назвать и интуицией сыщика, и классовым инстинктом, на сей раз не подвело Карева.

Хватились Буревоего только утром во вторник, когда жена позвонила в секретный отдел, потребовала к аппарату мужа и пригрозила выцарапать ему зенки, ежели снова с девками загулял. Оказалось, что Буревой не явился на службу в понедельник, однако его начальник Кащенко не доложил по команде, так как тоже предполагал, что Ванюшка закутил, и собирался наказать его по домашнему. Тогда-то заместитель председателя, старый революционер-нелегал Круминьш вызвал к себе Карева.

– Наше начальство, добрейший наш Борис Александрович, осуществляет общее партийное руководство, кроме того, у всех головы забиты последним петроградским заговором, однако мне исчезновение секретчика Буревоего представляется делом тоже очень серьёзным. В таких случаях в мои обязанности входит председателю помогать. Эта ситуация ясна, товарищ Карев?

– Ясна, Леопольд Карлович.

– Теперь ещё одна ситуация, не менее деликатная. Начальник секретного отдела, хорошо тебе знакомый наш товарищ, пытался прикрыть отсутствие на службе своего подчиненного Буревоего. Как это не дико, но пока мы не нашли и не допросили Буревоего, Кащенко остается под подозрением в причастности к его исчезновению.

– Чепуха, товарищ Круминьш! Я Кащенко знаю с первого дня его службы в ЧК. На глупость способен, на измену революции – никогда.

– А я скажу тебе, товарищ Карев, что в борьбе с охранкой наши нелегалы не заваливались только в том случае, если принимали во внимание все самые невероятные, однако логически вытекающие из обстановки предположения. В данном же случае вполне возможно и совместное бытовое разложение. И вот что: даже если бы я имел возможность полностью доверять Кащенко, нет у меня права поручить ему расследование. Как начальник секретного отдела он не должен

засвечиваться, что при таком поручении неизбежно. А ты... Ты ведь следователем служил, пока Коллегия ВЧК не расформировала следственные отделы?

– Так точно. По моему убеждению, ошиблись тут товарищи.

– И я думаю, что Феликс Эдмундович обязательно исправит ошибку. Бери ты это дело, товарищ Карев. Задействуй на полную катушку своих сексотов, а как только вытянешь хоть одну ниточку, раскручивай во всю пролетарскую мощь! Как следователь со чрезвычайными полномочиями шуруй. Товарища Семёнова я уговорю. Иди работай.

– Леопольд Карлович, мне необходимо знать, что именно Буревой мог выдать нашим врагам.

– Ждал я от тебя этого вопроса, молодец. Буревой – математик с университетским дипломом, у нас обеспечивал шифрование депеш для зарубежных агентов. Он пользовался новым шифром, разработанным в январе спецотделением при президиуме ВЧК. Сейчас, при подготовке революции в Германии, вся связь с нашими там людьми идет через нашу ГубЧК, следовательно, через Буревую проходила. Поэтому личное дело его я тебе дать не могу. Одно запомни: настоящая фамилия его Среблястый, учился и преподавал математику в Московском университете. Это секретная информация, не мне тебя учить. Теперь понимаешь, какое серьёзное дело я тебе поручаю...

Сутки, не прикорнув за столом и на минуту, Карев процеживал Петроград своей осведомительской сетью, и вот теперь пришёл первый настоящий успех. Как только он получил донесение, что в городской морг поступил труп утопленника, молодого человека, извлеченный из Большой Невы, он по телефону приказал немедленно начинать вскрытие и примчался сам.

– Товарищ Чанов, вы написали заключение?

– Пока нет. Пришлось вскрывать в спешке, а продиктовать некому: помощник мой умер ещё в эпидемию инфлюэнцы. Если позволите, я на словах.

– Давайте. Только короче. Основное.

– Понимаю, хе-хе, дух здешний не каждый выдержит.

Карев взглянул на пьяноватого спеца исподлобья. Тоже мне, конь в пенсне. А какой другой дух может быть в морге? Если для дела всемирной революции необходимо будет закопаться в дерьме по шею, Карев полезет и в дерьмо.

– Что смотрите, товарищ начальник? Это дезинфекция, суровая необходимость. Лучше, чем так смотреть, поспособствовали бы по своей линии, чтобы закупили для нас в Германии резиновые перчатки. После каждого вскрытия рискую помереть от сепсиса.

– Излагайте.

– По-простому, так от трупного яда... Лет тридцати – тридцати двух, сложение астеническое...

– Этого не нужно, я его уз... Ненужно, в общем. В заключении напишите.

– В левой части головы гематома. Повреждение прижизненное. Получил удар твердым предметом по темени, однако умер не от него...

Коротко излагать медспец в пенсне явно не умел. Когда он замолчал, Карев уже сам сконцентрировал главное. Утоплен наш Буревой, вода в лёгких речная. Получил удар по голове, не приведший к смерти. Правая рука вывернута, пальцы на ней выломаны. Карева передёрнуло... Оправдывались самые скверные опасения: ни о каком несчастном случае теперь и речи быть не может.

– Когда, по-вашему, утонул?

– Точно определить невозможно: был в воде, там с окоченением осложнения. Ну, день, ну два назад. Одно скажу: захлебнулся практически сразу после того, как был избит.

– Что он ел-пил?

– Воблу, немного хлеба. Пил какую-то суррогатную дрянь.

– Спиртное?

– Нет, типа химического лимонада.

Тут Карев усомнился: как врач, сам хлебнувши из мензурки, может утверждать, что в желудке покойника не было спиртного? Переспросил значительно:

– А вы уверены, товарищ Чанов?

– Да, конечно. Вам что же вздумалось – что я у покойников вскрытые внутренности вынюхиваю? Тьфу! Я могу теперь заняться другими подопечными, товарищ чекист?

– Одежда, оружие, содержимое карманов?

– Харон! Харон, покажи товарищу чекисту.

Седой сторож в студенческой тужурке снова откинул край простыни, прикрывающей труп чекиста Бурового, однако теперь с другой стороны, приподнял бляшку с номером «24», верёвочкой зацепленную за бледно-голубой большой палец правой ноги, близоруко всмотрелся, пожевал губами и подвёл Карева к шеренге шкафчиков, напомнившей чекисту раздевалку в общественных банях.

Карев стиснул зубы. Что ж, если бы сохранил религиозные предрассудки, сейчас самое время помолиться русскому Николаю Угоднику, покровителю мужиков, избравших для себя рискованные профессии. Эх, кабы за этой дверцей – да полный комплект формы, и чтобы в карманах документы, а в кобуре – табельное оружие!

– Вам помочь, товарищ чекист? Вон же она, «24» ячейка.

Покачав головой, Карев потянул за верёвочную петлю. Да, дела обстоят хуже некуда. Оставалась последняя надежда – на ошибку.

– Эй, Харон, а это точно шмотки сегодняшнего покойника?

– Какой я тебе Харон? Харитон я, это доктор сократил. А насчет одежды, то его, трупа, кого же ещё? У нас точно, как в аптеке. По науке!

Клетчатая рубашка, жилетка, заношенные штучные брюки... Конечно же, никаких документов. А вот это странно...

– Отец, а что – покойника босого привезли?

– Можно и так сказать. На одной ноге был опорок, рвань несусветная. Самые жадные родственники не польстятся. Так я выбросил.

– Слушай, отец. Вещички запаковать и, как приедет солдат из ЧК, отдать ему вместе с бумажкой, что доктор напишет. Где у вас телефон?

Несколько секунд смотрел на чёрный потертый аппарат, собираясь с духом. Потом прорычал:

– Сейчас же освободить помещение! Бегом!

Подождал, пока дважды стукнут двери, приказал телефонистке дать коммутатор ЧК.

– ЧК? Товарища заместителя председателя. По наиважнейшему делу.

Когда Круминьш поднял трубку, Карев успел уже успокоиться и сумел так сжак сформулировать, что нашел пропажу и что необходимо как можно скорее

объявить её розыск, в первую очередь на вокзалах и пограничникам. То есть лица в форме и с документами пропавшего. Круминьш, помолчав, ответил, что понял и чтобы приезжал немедленно.

Через полчаса Карев сидел в просторном кабинете Круминьша, испытывая душевное облегчение, сравнимое разве что с тем, которое получает солдат, освобождая мочевой пузырь после трёх часов стояния в карауле на морозе: он принял правильное решение и переложил уже ответственность на плечи начальства.

– А теперь рассказывай подробно, – приказал Круминьш, не давая удачливому подчиненному поживать на лаврах. – Ум хорошо, а два лучше.

– Пока особенно и нечего рассказывать, товарищ Круминьш. Возможно, узнаю что-нибудь полезное от граждан, нашедших труп Буревой, и милиционера, доставившего его в морг. Сразу же после звонка вам я распорядился по телефону отконвоировать их в ЧК, к моему кабинету.

– Дельно. Значит, – вздохнул Круминьш, – никаких сомнений насчет того, что утонул именно наш товарищ Буревой-Среблястый, у тебя не осталось.

– Да, хотя для проформы надо будет вызвать его жену на опознание. Буревой оглушили, потом избили и пытали (вывернута рука, поломаны пальцы), переодели в тряпье и утопили. Документы и оружие, понятно, забрали вместе с формой. Допустим, что напали на Буревой уголовники, хотя нашего брата они, понятно, остерегаются. Меня смутило: зачем было переодевать? Бандиты раздели бы да голого и бросили бы в Неву: жилетка, к примеру, на нем была очень даже ещё и неплохая, на бутылку самогона вполне бы потянула, а то и на две. Буревой, к слову, тем вечером не пил.

– А если его переодели, чтобы выдать, в случае находки, за обычного утопленника? Это же разница – кого находят в Неве, молодого оборванца или чекиста в форме!

– Этот мотив, товарищ Круминьш, несомненно, присутствовал. Кто бы к утопленнику приглядывался, если бы я не наводил шороху? Ну, избит, ограблен. Так ведь каждую ночь по Неве такие трупы плывут.

– Да, покончим с контриками, надо будет прижать поплотнее уголовную шатию-братию. А твой ход мыслей я понял: если Буревой пытали и забрали его

костюм, документы и оружие, значит, он выдал секретную информацию, и по его документам враг попытается устроить нам пакость. Вплоть до крупного теракта. Я правильно понял?

– Да, мы только не знаем, выдал ли Буревой врагу информацию. Едва ли, мне кажется.

– Считаю нужным тебя информировать, что начальник секретного отдела уже снят с должности. А у нового начальника будет куча забот: я приказал перестроить всю работу, исходя из предположения, что покойный наш товарищ сообщил врагу всё, что ему только было известно. Боюсь, что и наверху примут решение об отказе от шифра.

– Даже так... У меня ещё одна просьба к вам, товарищ Круминьш. Допросите лично бывшего начальника секретного отдела. Мне кажется, он что-то скрывает. Вон жена Буревоего кричала по телефону, что он снова с девками загулял. Снова! Не исключена возможность, что они с Кащенко ходили по бабам на пару.

– В этом есть резон. Дело молодое, да и война, почитай, закончилась... Все результаты розыска «Буревоего» будут незамедлительно доставляться тебе. Спасибо за службу, товарищ Карев!

И Карев, вдохновленный вовремя полученной похвалой, с новыми силами бросился раскручивать порученное ему дело. Первым делом взялся он за свидетелей, уже томящихся под конвоем на скамейке у его кабинета.

Убив не менее часа на энергичные допросы и очные ставки, он собрал всех пятерых у себя в кабинете и заявил:

– Послушайте меня теперь внимательно – и вы, граждане свидетели, и ты, товарищ милиционер. Если я в чём-либо ошибусь, сразу меня поправляйте. Итак, вы, граждане Балрушайтис и Карпов, безработные конторщики с Путиловского завода, вчера поймали халтурку и решили на вырученные деньги погулять вечерком. И пригласили гражданок Зотову и Павленкову разделить с вами компанию. Наняли ялик на причале у Летнего сада и под гармошку поплыли, распевая песни, вниз по Неве, имея в виду выгрести назад по Обводному каналу. Плыли вы, держась левого берега, чтобы вас не вынесло в Невскую Губу. Всё правильно?



– Так ЧК уже пару лет как позволяет кататься на лодках. Разве нет? – угрюмо осведомился Карпов.

– Разрешено, и я это уже подтверждал. И вот, когда вы стали ещё больше забирать влево, вы, гражданин Балрушайтис, принялись палить из дробовика по чайкам. Как вы пояснили, для пущего веселья, и чтобы развлечь девиц. И тут перед яликом всплыл утопленник, девицы завизжали – правильно?

– А чего в визготне плохого? – спросила гражданка Павленкова, от нечего делать строя Карева глазки. – Испужались мы.

– Дозвольте до ветру выйти, гражданин следователь, – мрачно промолвила Зотова.

– Дольше терпели, потерпите... И вы, гражданин Карпов, хотели веслом отпихнуть утопленника, чтобы без помех плыть дальше, но услышали милицейский свисток с набережной. Свистел товарищ Евдокимов, заметив сверху утопленника. В ответ на просьбу милиционера доставить труп к берегу вы, граждане, его обматерили, а гражданин Балрушайтис пригрозил ружьем, однако, как он показал на допросе, понарошку. Тогда обиженный товарищ Евдокимов выстрелил из нагана и добился от вас содействия милиции. Дальнейшее органам ЧК уже не интересно. Осталось два момента. Точное время, когда ялик наткнулся на покойника. Ваш ответ, товарищ Евдокимов?

– Да уж почти рассвело. Я как раз шел домой. И-эх!

– Терпение, товарищ Евдокимов! А вы подтверждаете, граждане?

Граждане подтвердили, при этом Карпов заметил, что как раз перед происшествием погасил фонарь, чтобы не жечь понапрасну керосину.

– Понятно. Теперь я к каждому отдельно подойду с картой, и вы мне порознь покажете, в каком месте всё это произошло

Результат этого опроса настолько обескуражил Карева, что он сдвинул фуражку на лоб и почесал затылок.

– Что ж, товарищи-граждане, придётся выехать на место. Вы пока посидите в коридоре. Кому припекло, конвойный в сортир отведет, а я схожу мотор организую.

Тут милиционер ухватил его за рукав.

– Не нужно мотора, товарищ следователь. Утопленник всплыл вот здесь, чуть ниже по течению от моего дома. Я на набережной живу, за углом Пряжки. И в отделении на большой карте проверял, что дом как раз напротив Кожевенной линии на Васильевском. Давайте протокол, подпишу.

Карев всмотрелся в воспаленные глаза еле сдерживающего праведный, ничего не скажешь, гнев милиционера Евдокимова и понял, что теперь, увидев труп, плывущий по Неве или валяющийся под афишной тумбой не на его участке, парень отведёт глаза в сторону и пойдёт дальше по своим делам. Вздохнул:

– Некогда нам тут бумажную волокиту разводить. На крайний случай адреса ваши имеются. Сейчас выпишу вам, товарищ Евдокимов, один пропуск на всех – и свободны.

Поскольку на объявленный членом коллегии ПетроЧК Круминьшем розыск никто пока не откликнулся, Карев принялся самолично обзванивать все отделения милиции, спрашивая, не засвечивался ли в сводках происшествий чекист Буревой. И ушам своим не поверил, когда дежурный по отделению милиции на Николаевском вокзале радостно доложил:

– Да был он здесь. Только при чём здесь сводки происшествий? Товарищ Буревой, когда мы тут облаву устраивали, помогал мазуриков ловить.

– Ты, парень, когда сменяешься? – спросил Карев. – Так вот, с места зад не поднимаю, пока я не приеду.

В трамвае, ухватившись за кожаное кольцо и надёжно сжатый со всех сторон пассажирами, Карев уснул. Очухался как раз перед вокзалом, когда народ из вагона отхлынул. Облегченно вздохнул: документы, «люгер», часы на месте. Пообещал себе больше такой дурости не допускать и, отрезвляясь от сонных видений, отправился в милицейское логово. Дежурный, щуплый паренёк в новеньком ярко-синем мундире, оживился, услышав о Буревом:

– Силён мужик! Мы тут совместно с ребятами с Литейного устраивали облаву в ночь с субботы на воскресенье, и только у вашего товарища документы проверили, как два мешочника бежать кинулись. Так он одного подножкой свалил, а второго догнал и по темени кулаком – тот и с копыток.

– Что ещё тебе о нём запомнилось?

– Не до того было – запоминать: чуть финку в бок не схлопотал я в ту облаву. Хотя – больно уж усталый он был, тот твой товарищ – вот как ты сейчас: служба, видать, у вас такая. Говорил, что прямо с дежурства отправлен в поездку. Вот и всё.

– Далеко ещё не всё. Первое. Задействуй своих осведомителей на вокзале и узнай, ушёл ли этот чекист в город или уехал, а если уехал, то куда.

– Ну ты и даёшь! Да откуда им знать, когда у нас и описания личности нет? И когда мне этим прикажешь заниматься? Да вот в сей же момент телефон проклятуший затрезвонит!

Телефон послушно зазвонил. Карев терпеливо переждал разговор, потом спросил:

– Ты думаешь, товарищ, мы в ЧК в бирюльки играем? Вызывай на своё место помощника, а мы с тобой первым делом сядем рядком, поговорим ладком и составим словесный портрет. Заодно и поучишься нашему с тобой ремеслу.

Бойкий дежурный странно покосился на Карева, но тот предпочёл не обращать внимания на мелочи. Через полчаса словесный портрет коренастого мужика, убийцы Бурового, был готов. Ещё через час вспотевший дежурный по вокзалу доложил, что мнимый Буровой литерного билета в кассе не брал, за свои деньги тоже, а уехал первым утренним ускоренным в Москву.

Карев быстро прикинул. Несмотря на разруху, Николаевская, теперь Октябрьская железная дорога действует чётко. Опоздания не превышают четырех-пяти часов. В любом случае поздно телеграфировать в Москву, чтобы встретили голубчика: поезд давно отстаивается на запасных путях.

Выгнав из каморки обоих милиционеров, Карев ладонью разогнал махорочный дым, особенно сгустившийся почему-то вокруг телефонного аппарата, и позвонил Круминьшу. Услышав доклад, Круминьш помолчал (и отчего это в трубке и летом вроде как метель воеет?) и приказал:

– Давай быстро сюда. На извозчике. У меня тоже есть новости.

По дороге, пока с шиком, на дутых шинах, катил по Невскому, Карева всё казалось, что достаточно ему только два часа поспать в спокойном месте – и сложится головоломка... В картинку сложится, а на ней девочка в панталончиках и смешной шляпке заставляет «служить» пуделя с бантом... Причём тут пудель?

На углу Гороховой и Адмиралтейского проспекта он остановил извозчика, отправил его за платой к коменданту ЧК, отмахнулся от часового и влетел в кабинет Круминьша.

Заместитель председателя, крикнув, отложил в сторону трубку, засунутую для набивки в кисет с махоркой, и произнес веско:

– Хорошая работа. Я уже телеграфировал секретарю коллегии ВЧК, предупредил о возможности в ближайшее время теракта в Москве с использованием формы и удостоверения сотрудника ПетроЧК, а также прочих неприятностей. У нас тоже новая напасть. Пропал ключ от конспиративной квартиры на этой..., ну, на Лермонтовском проспекте. Ты его брал предпоследним – и для чего, позволю полюбопытствовать?

Карев пояснил коротко.

– А где теперь этот пострадавший агент, Луцкий?

– Сегодня хоронят Александра Блока на Смоленском кладбище. Я ещё в воскресенье приказал Луцкому явиться на вынос тела к 11.00 на Офицерскую. На похоронах присутствуют несколько сексотов, один и в оргкомитете состоит, так что сведения о настроениях питерской интеллигенции мы получим из первых рук, а речи будут зафиксированы. Луцкого же я послал, чтобы находился там как гласный наш представитель – с наганом, в форме, с забинтованной под фуражкой головой. Глядишь, ораторы язычки и прикусят. Ну, а ему я приказал осмотреться, не появится ли кто из фигурантов его дела. Теперь это задание становится ещё более зряшным, Леопольд Карлович.

– Я бы не сказал. И ты такого не брякнул бы, если бы успевал высыпаться. Теперь, когда убийца оказался в Москве, мы тут можем уже без спешки, балуя себя временем на размышления, продолжить расследование. Выяснилось, что последним ключ от той конспиративной квартиры брал Кащенко. И, несмотря на настойчивые просьбы коменданта, желающего обойтись без скандала, до сих пор не вернул. Что бы ты предложил – вызвать его на допрос или повременить?

– Я бы предпочел сначала собрать факты.

– И я того же мнения, – скупой улыбнулся Круминьш. – Распорядись о внешнем наблюдении за Кащенко, за его женой и за вдовой Буревого. После чего приказываю тебе отоварить карточки, поесть и отоспаться. Завтра в 10.00

жду тебя здесь. Составим, не спеша, оперативный план. Кто бы мог подумать в декабре семнадцатого, что придётся устанавливать слежку за товарищем-чекистом, и не за левым эсером, а за большевиком-ленинцем!

### **Глава 9. Чекист Луцкий**

Скучал Пётр Луцкий, с самого утра скучал, и голова у него пухла. Он исправно, вовремя прибыл к знакомому дому на углу Офицерской, и даже на четверть часа раньше, чем было приказано. Однако вынос тела, как всегда это и бывает, задержался. В подъезд и из подъезда всё время шастали мужики с головы до ног в чёрном, и Луцкий так даже утомился высматривать в каждом из них зловредного контрика, стоявшего тут на стреме в злополучную пятницу. Народа, впрочем, вообще собралось много, хотя и не все оделись в чёрное.

Потом прибыл оркестр, завёл своё похоронное вытьё, за душу человека хватающее, пугающее и без того страховитой молодкою, с косой острою которая. Вынесли, как положено, покойника, поставили на кухонные табуретки. Луцкий присмотрелся – и чуть было не присвистнул. Не тот это был покойник, что под прицелом Петрова телескопа иногда мелькал в окне, и совсем не походил на портрет поэта Александра Блока, показанный ему библиотекарем ЧК. Лицо серо-жёлтое, темнеющее на фоне белоснежной сорочки, волосы не кудрявые, золотые, а прилизанные, тоже серые. Однако паника у Петра быстро прошла: все остальные, пришедшие на похороны и подходившие по очереди к гробу, явно признавали в лежащем именно Александра Блока. В том числе не возникало сомнений и у очень недурных бабёнок (среди них одна, совсем молоденькая скуластая брюнетка, даже приглянулась Луцкому), родственниц, надо думать: в очередь, платочек под глазками в готовности придерживая, клали они букетики в гроб и отходили в толпу.

Гроб, весь в цветах, понесли улицей шестеро мужиков помоложе, из чего уяснил Петр, что у семьи, казалось бы, вовсе не бедной, на катафалк денег не нашлось. Потом долго месил он уличную пыль в траурной процессии, стараясь держаться в середине и мотая сказанное случайными соседями себе на ус. Впрочем, понять услышанное иногда было трудно. Так, очень многие повторяли,

что у Блока большевики отобрали тайную свободу и что поэт умер, потому что дышать ему было больше ничем, а жизнь его потеряла смысл. Сперва старался Луцкий эти слова запомнить (в «тайной свободе» слышалась ему безусловная контрреволюция), а потом оказалось, что такое сам покойник говорил. Вроде бы, когда хоронили Пушкина. А если мертвец это придумал – что с него возьмёшь?

Перешли, вслед за гробом, сплошь заваленным цветами, Неву по мосту лейтенанта Шмидта, и на углу 9-й линии и Большого проспекта в процессию влились, на время кавардак устроив и сами же себя шумно усмиряя, тощие студенты, огромной ватагой. Болтали они, что Блок-де великий поэт, что его «Двенадцать» лучшая поэма об Октябрьской революции, вспоминали какую-то прекрасную даму. Луцкий наострил уши: выходило, что это Блок сочинил книжку «Повесть об английском милорде Гереоне», которую ему довелось читать в отрочестве. Одна девчонка, со слезами на глазах, сказала, что поэт-красавец слишком рано умер. Луцкий удивился, про себя, конечно: как это – рано умер, если говорил речь на похоронах вовсе уж старорежимного Пушкина? Постановил он, что среди вздорной молодежи делать ему больше нечего, и снова протолкался вперед, в компанию людей постарше, в чёрных костюмах, где и по делу надеялся кое-чего услышать.

Чернокостюмные переговаривались о своём: ужасались и ахали, узнав об аресте другого поэта, тоже знаменитого, только вот имя его Луцкий никак не мог расслышать. Один, с бородкой, в очках, предложил срочно, сразу же после похорон, собраться и позвонить Горькому. Луцкий усмехнулся: так и станет буржуев выслушивать пролетарский писатель Максим Горький – держи карман шире!

Люди шли во всю ширину проспекта, от стены до стены. Луцкому пришло в голову, что впервые он на таких многолюдных похоронах. Только слышать доводилось о народном столпотворении на похоронах Столыпина в Киеве или ещё Веры Холодной в Одессе. Столыпин, так тот хоть и вешатель был, да всё-таки фигура в Российской империи, вроде Троцкого в РСФСР: председатель совета царских министров. И погиб, что ни говори, красиво – террористом застрелен в театре. А Веру Холодную отчего так пылко провожали, ещё понятнее:

звезда синемаатографа, любимого народного развлечения, в цветущей молодости жалостно скончалась от «испанки».

Как вносили гроб в красивую, ничего не скажешь, церковь у главного входа на Смоленское кладбище, не видел Луцкий, только как выносили с высокого церковного крыльца. Проталкиваясь за процессией аллеями кладбища, поглядывал он и по сторонам. Разгром полнейший! По буржуйским могилам будто паровые катки проехали: памятники разбиты, покорёжены, исписаны зазорными словами, решетки покосились или вовсе лежат, деревья сплошь вырублены – на дрова, конечно, да и всё деревянное выломано. Понять можно: в те три революционные зимы, что у петербуржцев позади, не о мертвых заботились живые – о себе, а сволочей несознательных хватает и в вежливом Питере. Так зачем же нового мертвеца сюда везут – чтобы и над его могилой надругались?

Сразу перед ним буржуйка в чёрной шляпке с вуалью склонилась к соседке, промолвила со значением, словно что путное: кладбище-де Смоленской Божьей матери и похороны пришлось на день памяти Смоленской Божьей матери – неспроста, мол. Луцкий плюнул бы, да некуда, вокруг народ плотно: воспитанный в католичестве, теперь православие разумел он как опиум, вредный вдвойне. Прошли томительные минуты, и понял агент, что не сможет выполнить задание: никого из указанных ему фигурантов в этой давке не найдёшь, а если и найдёшь, всенепременно потеряешь. Далеко впереди носильщики остановился у выкопанной могилы. Гроб, как водится, поставили на холмик вынутой земли, уже успевшей посереть. Русский поп и его подручный завели свою канитель. Оставалось полчаса времени, чтобы подобраться ближе к могиле. Протолкаться не успеть, а показывать удостоверение, требуя пропустить, не велено. Пётр решил: протиснулся на край аллеи, перелез через сохранившуюся здесь чугунную ограду и оказался внутри выстроенного купцом 1-й гильдии Брандтом частного мраморного могильника. Нашёл калитку, откинул засов и принялся кладбищенскими руинами прокладывать прямой путь к голове процессии, окружившей сейчас гроб. Позади, в толпе, ропот поднялся, смешки. Луцкий стряхнул с ботинка ржавый жестяной венок и оглянулся: несколько студентов последовали его примеру.

В задачу агента не входило замешаться в круг родичей и близких друзей покойника, поэтому он остановился саженьях в пяти от них и решил присесть, чтобы поменьше обращать на себя внимание. Сорвал лопух, смахнул, как сумел, пыль с ближайшей плиты и устроился достаточно удобно. Угрелся на последнем, может быть, ясном питерском солнышке перед дождливой местной осенью – и очнулся, когда церковная панихида явно сменилась гражданской. У гроба стоял лысый человек в потрепанном сером пиджаке и размахивал руками:

– Блок был символист до мозга костей, теоретик и поэт в их неразрывной связи. Он понял призывы к заре Владимира Соловьева как наступление громадной мировой эпохи, переворачивающей всё, революционизирующей наше сознание до последней конкретности. Соловьев провозгласил скорый приход Софии, отвлеченной и одновременно конкретной до последней степени, о которой он сказал:

Знайте же, Вечная Женственность ныне  
В теле нетленном на землю идет.  
В свете немеркнущем новой богини  
Небо слилось с пучиною вод.

Лысый человек, читая стихи, подвывал и размахивал руками ещё круче. У Луцкого заныли зубы – не потому, что не любит стихов (на службе ведь, можно и потерпеть), а потому что ничего не мог понять. Оттого и не пытался уяснить далее сказанное, а отвлёкся, разглядывая вдову: сегодня, в чёрном, не перевернутая вверх ногами, она показалась ему очень пригожей и молодой. Понял, что для такого разглядывания нашёл неподходящее место, и попробовал снова прислушаться к чудаку-оратору:

– Александр Александрович эпоху чувствовал конкретно, так, как он говорит в одной неизданной заметке: «во время и после окончания “Двенадцати” я несколько дней ощущал физически, слухом, большой шум вокруг – шум слитный, вероятно, шум от крушения старого мира». Здесь характерна эта физиологичность восприятия, это ощущение стихий, почти физическое. Вот такой именно «шум», такую зарю ощущали все те, кто встречали появление нового столетия, когда как бы наперед обретали свои места события всего столетия со многими кризисами и многими светлыми минутами. Мы сейчас вступили в это



столетие, мы разыгрываем первые акты этой драмы, которая будет ещё расти и разрастаться, которая извлечёт ещё из нашего сознания много горечи и много радости. Факт тот, что в девятисотом году Блок уже знал о том, что времена изменились, что старое отрезано, что мы стоим перед новой действительностью...

Теперь у Луцкого заболела ещё и голова. Он не считает себя дураком, полагая, что малую образованность восполняет природной смекалкой, и тот долбаный факт, что никак не может раскумекать сказанное лысым в пиджаке, глубоко уязвил его самолюбие. Разве первая русская революция произошла не в 1905 году? И это ещё вопрос, нужны ли РСФСР, а тем более мировой революции такие вот умники – только ведь мозги людям пудрят! Почему товарищ Ленин до сих пор их терпит? Очистить бы от них республику и оставить на её территории только понятную народу науку. Затем почувствовалось, что оратор будет закругляться, и в самом конце лысый заговорил почти что по-человечески:

– Сотворим же в своём сознании вечную память нашему любимому, близкому, в наши страшные годы с нами бывшему, русскому поэту.

Без контрреволюционной шпильки в пролетарский зад так не обошлось: для кого страшные годы, а для народа весёлые. Потом выступил вперед буржуй в чёрной тройке, с бородкой. Сказал о себе нескромно, что Иванов-разумник. Да будь ты хоть и профессор, пусть о тебе люди скажут, что ты разумный! Этот говорил понятнее, заливал обычную бурду, её-то над могилой никому не жалеют. «Спи спокойно, дорогой товарищ, мы-де никогда тебя не забудем!» Забросают землей, пойдут дальше и сразу же забудут.

– ...И вот – нет Блока. И наше дело, дело Блока, становится теперь нашим долгом Блоку. Первое инстинктивное чувство – скорбное молчание – надо преодолеть. Мы будем говорить о нём, великом поэте России, мы будем бессменно работать над «вечной памятью» Блоку. Но теперь последнее моё слово не о Блоке-поэте, а о Блоке-человеке. Близость его была нам великой радостью; утрату его мы переживаем как безутешное горе, для которого воистину слов не хватает. Ибо умер – Блок.

Теперь дамочка говорила, с места своего не выходя к гробу, высокая, горбоносая, в чёрной шали. Принялась завывать стихи о том, что слышал уже Луцкий в толпе – про никому и нафиг не нужное совпадение между Смоленскими

божьими матерями. Луцкий хотел сплюнуть, но во рту пересохло. Снова начало клонить в сон, и последним ясной мыслью его было наблюдение, что собравшиеся у гроба на него не смотрят, а точнее сказать, не желают его замечать. Вот тот лысый в сером пиджаке, что речь говорил, вытаращился исподлобья в его сторону, а потом поднял глаза к небу (и что там увидел?), над ним же, Петром, взгляд перенесся, принялся рассматривать студентов. И приснилось чекисту, что бежит он, опаздывая на похороны Блока, по улице Казанской, из своего общежития бежит, а похороны тянутся перед ним по Невскому. И вот добегают он, врзается в хвост процессии – и не может повернуть, не может остановиться. Оборачивается – и видит, как последний оборванный студентик, склонив непокрытую лохматую голову, скрывается за углом.

### **Глава 10. Михаил Кузмин**

Со стороны посмотреть, как сидят они за круглым столом в номере Всеобщего благодетеля, вполне могут сойти за семейку бывших петербуржцев средней руки. Жовиальный, себе на уме, отец, держатель семейного капитала, и его взрослые дети, сын и дочь, до седого волоса устроившиеся у сhere рара на шее. Или так: папаша, сын-пентюх и сноха, её-то старый жуир норовит подразнить, уж коли нельзя за глупышкой поволочиться...

– Хочу напомнить господам сотрудникам, что завтрак у нас деловой, – прервал ленивые размышления Валерия Отец-благодетель. Критически взглянул на воблу, лежавшую перед ним на обрывке газеты. – Если, конечно, эту перекуску можно назвать завтраком... Вы, Лиза, сегодня должны будете, наконец, установить, куда после похорон Блока укрылась Анна Андреевна Ахматова.

– Ничего, я сегодня отоварю карточки и принесу пайкового хлеба, – пообещала Лиза. – Без хлеба, пусть и плохого, еда не еда.

– Лиза, нужно искать Ахматову!

– Да пропала она, ваша драгоценная Ахматова, сколько можно повторять? Я была на Сергиевской, там со мною через цепочку поговорила горничная, потому что барыня не вышла. Анна Андреевна съехала месяц тому назад, новый

адрес, мол, хозяйка не велела давать. А без хлеба пайкового мне не обойтись – завтра на Гороховой принимают передачи.

– Не опасно ли будет Лизе идти с передачей, Всеволод Вольфович? – и в самом деле обеспокоился, сам себе удивляясь, Гривнич. Тут же пришлось стукнуть по спине девицу, едва не поперхнувшуюся. – Лиза, не делайте большие глаза, Всеволод Вольфович проинформировал меня о ваших несчастьях.

– Милый мой, Лизу всё равно не удержать. Вот, кстати, ваше жалованье за август, купите вашему брату чего-нибудь питательного, – и Всеобщий благодетель аккуратно выложил перед девицею охапку разноцветных советских бумажек. – Хрустят, и то хорошо! Хоть деньги большевики научились печатать на приличной бумаге... Так вот, Валерий Осипович, наша Лиза, как и мы с вами, в большой опасности. Я представляю себе ВЧК – и очень хотел бы ошибаться – организацией молодой, не успевшей обрасти бюрократами, с огромными полномочиями, в том числе и правом на неслыханные в цивилизованном мире внесудебные расправы...

– А военно-полевые суды в странах Антанты?

– Сами сказали – суды, Валерий Осипович! Помню, как же не помнить... В Италии, когда от немцев драпали. У обочины три офицера – и тут же, на месте, расстрел. Но хоть идея присутствует – суда! Здесь и такого нет. Решение о виновности подозреваемого принимал раньше следователь, а теперь, говорят, вообще оперативный работник.

– Не всё ли равно, кто, если невинного человека могут расстрелять, – заявила Лиза с набитым ртом.

Чернокостюмный посмотрел на неё ласково, усмехнулся:

– В сущности, наша дама права. Но и Валерий Осипович, сын юриста, меня понял. Но я о другом хотел сказать: за четыре года Дзержинскому удалось навести в ЧК железный порядок, и меня теперь это злое детище революции пугает не столько пресловутой жестокостью (после гражданской уже трудно ею испугать), сколько нерусской какой-то педантичностью и планомерностью. Вы знаете, ведь они уже в восемнадцатом году начали составлять списки бывших кадровых офицеров, бывших капиталистов, коммерсантов, помещиков, чиновников Министерства внутренних дел, членов всех партий, кроме правящей,

и прочих. Неужели надо объяснять, для чего это делается? Известно, что ведут учёт и уже уничтоженных новой властью – а это означает, что очередь дойдёт до детей и родственников всех этих людей.

– Вы это серьёзно? – Гривнич чуть не расплескал чай. Перевел взгляд на стакан и тут же забыл о нём: взгляд в торопливом движении зацепился за большую олеографию на стене и к ней вернулся. «Остров мёртвых» Бёклина – хорошо успокаивает!

– Вспомните, как поступали с детьми казненных в древнем Риме во времена террора? А в России – и белые, и красные? Да один расстрел царской семьи чего стоит! Я вас не пугаю, просто хочу сказать, что Лизе при первой возможности лучше уехать из страны. Даже если в ЧК не раскопают, что Лиза была с погибшим чекистом в театре, со временем она рискует разделить судьбу брата.

– Какую ещё судьбу брата? – вскинулась девушка. – Володя ни в чём не виноват. Я, конечно, благодарна вам, Всеволод Вольфович, за помощь, за то, что в гостиницу устроили, и я ещё не решила, стоит ли вот эти ваши деньги брать. Но неужто вы допускаете?..

Присмотрелся Гривнич и увидел: Лиза вот-вот заревёт, а сдерживается только потому, что хочет прежде дожевать. Умоляюще взглянул на Всеобщего благодетеля. Тот коротко кивнул в ответ и заговорил уже потише, мягким, обволакивающим полусшепотом:

– Слезами горю не поможешь, мадемуазель. Следствие в ЧК долгим не бывает, скоро всё выяснится. А пока вам нужно сходить на свою квартиру. Слушайте внимательно! Я расскажу, как следует поступить. Сначала...

– А я уж туда вчера забегала, Всеволод Вольфович, – шмыгнула она носом. – От Володи никакой весточки не было. И на лекции заглядывала. Там всё спокойно, никто меня не спрашивал.

– Какое безрассудство! – притворился, будто хочет схватиться за голову, Чёрный человек. – Хорошо, что обошлось. Но скажите мне, милая, почему тогда вы не переоделись в другое платье? И не в этой ли красной тряпке на голове видели вас тогда в театре?

– Было бы во что, переделась бы. А это не тряпка, а модный платок. Я его вчера простирнула, а потом утюгом высушила.

Всеобщий благодетель побарабанил пальцами по столу и, заявив, что отказов не примет, подвинул к Лизе по столу новую пачку дензнаков – теперь на летнюю, а ещё лучше, на демисезонную шляпку, чтобы под неё можно было убрать волосы, и на платье, тоже годное для осени; желательное, не обтягивающее, как эта коричневая гимназическая форма, а максимально скрывающее фигуру. И шагом марш на барахолку! А новый адрес Ахматовой разыщет Валерий Осипович: может быть, спросит у общего с нею приятеля Кузмина.

– И пусть себе ботинки купит и – уж простите великодушно – чулки! – вклинился Гривнич. – Я понимаю, что перед самой войной, летом четырнадцатого, это было безумно смелым и шокировало буржуа – ходить на босу ногу в сандалиях, но ведь не в таком же рванье! Осень на носу!

Лиза испарилась, напоследок одарив Гривнича весьма неласковым взглядом. Поблагодарила, таким вот образом, за заботу. Он пожал плечами: советский миллионер, назвавшийся Иблисовым, очень уж однообразно решает проблемы. И похоже, оказался уязвимым для бессознательного девичьего кокетства... В следующее мгновение игривые предположения вышибло у Гривнича из головы. Заикаясь, чего давненько с ним не случилось, он переспросил:

– Что вы только что сказали, Всеволод Вольфович?

– Да расслышали вы, расслышали, что я сказал... Того агента ЧК, Гомельского, кажется... или Луцкого, да, Луцкого... Парня необходимо устранить. Я вот всё вспоминал тот эпизод, когда наш английский приятель его стукнул. Чем вы тогда Луцкому так не понравились, что он вознамерился вас арестовать? А если он следил за квартирой Блока, то видел у подъезда и меня, и как мы зашли в подъезд вместе. Его надо проследить от места службы и нейтрализовать. Жаль, что наш предприимчивый англичанин испарился... Мы с ним условились о способе связываться, но вызывать его из Москвы опасно.

– Устранить? Нейтрализовать? Вы это серьёзно?

– Да уж куда серьёзнее. Я знаю, к кому обратиться за этой услугой. А от вас потребуется одно. В тот день, который я вам назначу, проторчать в читальном

зале Публичной библиотеки от открытия и до закрытия, заказывая книги, а также иными способами мозоля глаза библиотекарям.

– Я отказываюсь, – заявил Валерий, слепо пошарил на полу рядом со стулом и выложил на стол портфель. – Вот, возьмите.

– Вы действительно всё хорошо обдумали, Валерий Осипович? О вашем обыкновении устраивать самые невероятные скандалы я слышал. Так Вы и в самом деле намерены учинить сейчас свой очередной скандал? – медленно спросил Чёрный. И вовсе не зло спросил, а с некоторым даже состраданием вглядываясь во взбунтовавшегося сотрудника. – Вы обдумали последствия этого своего поступка для русской культуры, для народа России? О том, что собственная судьба для вас – копейка, можете не распространяться. Вот когда неизбежный русский романтизм в вас прорезался, Кюхельбекер вы наш...

– Зачем это – копейка, индейка? – забормотал Гривич, не отводя глаз от портфеля. – Какая индейка? При чём тут мученик Кюхельбекер? И нечего мне было обдумывать... Вы Достоевским клянетесь – неужто не помните, что он о «слезе ребенка» сказал? Что всё счастье человечества её, единственной, не стоит...

– Хорош ребенок – этот ваш чекист! А что же вы о ликвидации другого чекиста, о которой Лиза мне рассказала, а я вам, что ж вы о том чекисте ни словом не пожалели? Только потому, что он хотел Лизаньку обмануть, а вы на неё глаз положили? Дешёвеньким же оказался ваш гуманизм, господин Гривич...

– Не нужно меня поддевать, Всеволод Вольфович, или как вас там на самом деле зовут... Ведь видите же, я душою врос в ваше дело; капризного Белого ведь именно я, самостоятельно уговорил. Давайте уступим друг другу: я снова возьму портфель, а вы не трогайте того чекиста, Бердичевского, что ли... А? По рукам?

– По рукам, Валерий Осипович.

Поспешно покинул номер Гривич, и даже в коридоре, дверью уже защищенный, продолжал чувствовать, как буравят его спину пронзительные глаза председателя Юбилейного комитета. С трепетом взглянул он в сторону номера, где беседовал с Мандельштамом. Хотя Осип Эмильевич успел уже съехать, найдя, как съезвил урод Абрамка, комнату погаже и ещё дешевле, Гривичу было

приятно, что сам он станет теперь хранителем крошечной биографической детали, которая, глядишь, останется неизвестной мандельштамоведам. Ибо кто в благополучном будущем сможет досконально проследить метания по разрушенной стране гениального бродяги и навесить мемориальные доски на все прокуренные им пристанища?

Теперь в пятом номере обитала Лиза, и когда Гривничу довелось заглянуть к ней (по делу, разумеется), мебель там обнаружилась, при этом самая обыкновенная, мещанская. Не могла же Лиза пуфиков туда натаскать, а личное её девичье присутствие знаменуется разве что букетиком анютиных глазок в консервной жестянке. В данный момент номер, стало быть, вдвойне пуст.

Гривнич вылетел на улицу. Серые пыльные вихри, вздымаясь над прогнившими торцами мостовой, неслись по ней, точно желали смести высохшую городскую грязь в Финский залив. Гривнич надвинул шляпу на лоб, поднял воротник пиджака и нашарил во внутреннем кармане не очень-то нужное в нормальных обстоятельствах пенсне. Ему было о чём поразмыслить, однако ноги его помнили дорогу и сами привели к небоскребу в семь этажей, где в первой, мирной ещё половине четырнадцатого года, устрашая друзей несоразмерной дороговизной квартирной платы, поселился в маленькой «гарсоньерке» непостижимый Михаил Кузмин.

Он поднял голову, вычислил окна изысканной берлоги Антиноя, каковым льстивым и двусмысленным прозвищем иные продолжали называть Кузмина и в последние годы, когда стало оно звучать злой насмешкою. Оба окна на третьем этаже затянуты тёмными шторами – означает ли это, что Антиной уже приготовился его принять? Гривнич вынул часы, отщелкнул крышку, недоуменно поглядел на циферблат. Часы остановились, и хорошо ещё, если подвел короткий завод. Он завёл пружину – и по-детски обрадовался, услышав тиканье. Оглянувшись, но не обнаружил на улице прохожих, похожих на обладателей карманных, а того пуще, ручных часов, и лавки часовщика не увидел поблизости. Впрочем, полдневная пушка в Петропавловской крепости ещё не бухала, а это означало, что он пришел несколькими часами раньше, чем условлено.

Остроумный австрийский врач доктор Фрейд утверждает, что, опаздывая на свидание, мы обнаруживаем тайное нежелание встречаться с данным

человеком – а если мы, напротив, являемся загодя? Гривнич спрятал часы, покачал головой: никакого пылкого желания увидеть сейчас Кузмина он не испытывал – скорее наоборот; ну, быть может, и то на самый крайний случай, холодное любопытство. И побрёл Гривнич в Летний сад: уж если Пушкин называл его своим огородом ещё тогда, когда деревья и кустарники были пострижены, словно кубисты над ними поработали, то в наши демократические времена лучшее это прибежище для нищего российского интеллигента. На половине пути настиг его орудийный выстрел. Гривнич вздрогнул – а почему, спрашивается? Ведь для города, задуманного как крепость, естествен столь милитаристский способ обозначения времени. Укрылся в тени, с тщательностью человека, не имеющего куда спешить, снова щёлкнул крышкой, свёл обе фигурные стрелки на двенадцати. Полдень, пятница, 13 августа 1921 года. Пятница и тринадцатое, значит... В Европе считается несчастливым днем, потому что в пятницу тринадцатого неважно какого месяца 1307 года во всех католических странах были схвачены и после пыток сожжены рыцари-тамплиеры. Слава богу, хоть к русским это суеверие не проникло. Определившись во времени, принялся перемещаться в пространстве.

В Летнем саду, благополучно обойдя ужасный памятник Крылову, Гривнич уселся так, чтобы не взглянуть случайно и на скульптуры XVIII столетия. Судя по расположению скамей, за спиной у него тот самый Аполлон Псевдобельведерский, которого белыми ночами срисовывал, если не привирает, крепостной маляр Тарас Шевченко. Римский скульптор воспроизвел гениальный греческий оригинал, французский ремесленник исправно потрудился над подражанием римской копии, бешеный московский царь не пожалел на его неуклюжее творение кровавого своего золота и привёз на финское болото; молодой маляр, ещё не знавший о том, что станет знаменитым украинским поэтом, рисовал его белыми ночами, о чём с малороссийской самоиронией припомнил в русской повести, снисходительно прочтенной начинающим поэтом-декадентом на любимом диване – и рядом со строками, ожившими на пике упоительной ясности и пронизательности, даруемой первыми утренними глотками волшебного напитка, сваренного из перемолотых зёрен настоящего бразильского кофе, в памяти запечатлелось восхитительное прикосновение



шелкового белья к бархатистой после ванны коже, своеобразный, прохладой отдающий запах купленных вчера духов, уже не раздражающий новизной, однако пока не надоевший... Какая замечательная цепь культурной преемственности!

Садовые скульптуры не оскорбляют вкус Гривнича в такой степени, как чугунный идол Крылова, просто не желает он лицезреть наивные рисунки и надписи, коими украсила их революция.

Бережно расстегнул он портфель и нашёл внутри конверт, предназначенный Кузмину. Всё на месте: и деньги, и приглашение к сотрудничеству, и мандат члена Юбилейного комитета, с неразборчивой подписью и смазанной печатью. Беспокоило одно – сама кандидатура Кузмина. Кто станет спорить, ангелов среди поэтов не найдёшь, но не опасно ли впускать в магический круг столь закоренелого грешника?

– Барин, барин! Кошку жарил, кошку драну, мышь погану! Барин, барин...

Перед Гривничем вертелся и прыгал беспризорник, чёрный от грязи и полуголый. Едва ли старше десяти, но в случае, если высвистит друзей, способны всею оравой избить до полусмерти, ограбить, раздеть... Такие случаи бывали. Валерий убрал конверт, зажал портфель под мышкой. Нашупал в кармане две хрусткие бумажки, протянул мальцу:

– Купи себе махорки...

Оторопело глазел на грязную, в цыпках лапку, сближающуюся с его белой, холёной кистью. Слезу вот этого существа так дорого оценил Достоевский? И это ради него, ради его будущего вечного счастья и процветания презрели большевики слезы десятков тысяч других детей?

Вырвав деньги из протянутой руки, беспризорник пустился, подпрыгивая, по аллее. Валерий вздрогнул: едва ли доживёт паренёк до весны – зимой и домашние, с хлебными карточками, люди умирали в своих квартирах, равнодушными вещами окруженные, от голода и холодов. Да где же твоя воспетая справедливость, Господи? В чём твоя кондовая правда, Ты, дарующий и отнимающий жизни бездомной кошки и мальчика, наследника царского престола, Ты, властелин литературных судеб? Мало я видел? Мало знаю? Бесчувствен? Не имею вкуса? Не знаю, как надо писать? Тогда почему мне не удастся прорваться в

литературу? Не к великим же богам на облако прошусь – сравняться хотя бы с Кузминым.

В дверь к Кузмину он постучался секунда в секунду. Увидев лицо старого поэта, предательски высвеченное солнцем, заливающим лестничную площадку, испытал, хоть и был внутренне готов к подобному зрелищу, мгновенный шок. Бледное, густо напудренное обличье ожившей египетской мумии, один глаз исчезает за блеснувшим навстречу моноклем, будто только что вытек. Подозрительно чёрные, на голый череп с виска начесанные волосы. Метко сказал о нём язвительный Шполянский, что похож на внезапно постаревшую старуху.

– Не узнали, Валерий?

– Bonjour, Михаил Алексеевич.

Защелкали замки, цепочки. Глядя в прямую, блестящим шёлком халата обтянутую спину, думал гость, что молодой Шполянский обыгрывает старость Кузмина (впрочем, какая же это старость – успеть четверть века прожить в прошлом столетии?), в то время как фокус в другом. Старение может быть и красивым, и даже благостным. То же, что происходит с Кузминым, есть прискорбные превращения русского Дориана Грея.

– Вот вы и заглянули в мою бонбоньерку, – добродушно молвил Кузмин, усадив гостя в покойное кресло. – Мне все говорят, что здесь мало что изменилось. Вы, помнится, жили в большой отцовской квартире на Литейном. Реквизирована, небось? А моя малютка уложилась в прокрустово ложе квадратных сажень, достаточных, по разумению пролетарской власти, для проживания одного гражданина РСФСР.

– Стало быть, и портреты вождей не вывесили?

– Как же, как же – вон на той стене. Плотин, он при случае может сойти за Бакунина в предбаннике (сам, признаться, намалевал), и Анатоль Франс, кстати, большой друг и покровитель французских коммунистов... Вы, верно, догадываетесь, Валерий, какую светлую радость доставил бы мне ваш приход лет этак семь тому назад?

Гривнич пригляделся. В затенённой шторами комнате, при свете гостеприимной свечи старый сатир выглядел куда более благообразно, нежели давеча. Ну и что? Мало ли какие чувства кружили голову семь лет тому назад...

– Я по делу, Михаил Алексеевич. Вы позволите изложить?

– Прошу вас. Возможно, у меня тоже будет к вам предложение.

Кузмин не перебил монолог гостя хотя бы и словом, а когда замолчал Гривнич, жестом попросил передать конверт. Включил настольную лампу, внимательно перечёл бумаги, пролистнул купюры. Снова щёлкнул выключателем, чтобы вернуться в благодетельную для своей внешности полутьму.

– Конечно же, я согласен, Валерий. Для меня такое предложение, не стану скрывать, весьма лестно, весьма... Кстати, кто, если не секрет, приглашён председателем?

– Я полагаю, что в отношении вас – не секрет. Андрей Белый, и уже согласился.

– Передайте вашим доверителям, что я непременно прибуду к Святой Софии в Новгороде Великом в назначенный день и час. А теперь... Вы, небось, удивлены – за что мне, писателю второразрядному, такая честь? Я тоже поначалу поразился, а сейчас уже, кажется, понял... Вы, Валерий, наверное, не знакомы с моим сборником «Осенние озера»?

Гривнич помедлил, потом решил сказать правду:

– Почему же, открывал, но до конца, признаться, не одолел. Я, знаете, по своим душевным устремлениям скорее западник.

– Тогда, потерпите немного, послушайте вот этот опус. Он также в древнерусском стиле, только недавний. И вряд ли при жизни моей будет напечатан. Называется по первой строке: «Не губернаторша сидела с офицером...» Ох, видели бы вы, какую постную рожу сейчас скорчили! Ладно, не буду вас, западника, мучить полным текстом. «Не губернаторша сидела», в общем, а Пресвятая Богородица, и не «с офицером», а с Михаилом-Архангелом. Ведомо ли вам, чем занимается архангел Михаил?

– Что-то вроде ангела смерти, отнимает души у людей. Не такой уж я невежда, Михаил Алексеевич, – обиделся Гривнич.

– Тогда послушайте. Это монолог Богородицы:

– Уж, право, я, Михайлушка, не знаю,

Что и подумать. Ненареченной

Быть страна не может,  
 Одними литерами не спастись.  
 Прожить нельзя без веры и надежды  
 И без царя, ниспосланного Богом.  
 Я женщина. Жалею и злодея,  
 Но этих за людей я не считаю,  
 Ведь сами от себя они отверглись  
 И от души бессмертной отказались.  
 Тебе предам их. Действуй справедливо.

Гривнич поневоле заслушался. Ему пришло в голову, что особая, запинаяся манера чтения Кузмина объясняется тем, что в стихах находит свободное выражение его природное заикание, воплощающее, в свою очередь, человеческую робость поэта, в обыденной речи сурово подавляемую. Тут же припомнил – и ошетинился:

– У вас там вылезло про «царя, ниспосланного Богом». Какой ещё, в наше-то время, царь?

– Так ведь это простая русская баба говорит. И мне как автору простительно такое от неё услышать, именно мне. Рассказывал ли я вам, что в девятьсот пятом году вступил в «Союз русского народа», организацию, как теперь принято говорить, черносотенную, и это не помешало мне в октябре семнадцатого восторженно воспеть большевистский переворот? Вот потому и догадываюсь, что магический круг поэтов неполон без такого путаника, как я, без грешника, который (увы мне!), не переставая грешить, не перестает и умолять о прощении своих грехов. Именно эту внутреннюю мою отчаянную борьбу с дьяволом собственной души безошибочно почувствовал покойный (язык еле повернулся произнести) Блок. Вы вот не пришли год назад на мой юбилей в «Доме искусств»...

– Увы, мне потом только сказали, – соврал, легко покраснев, Гривнич. – Тогда, помню, удивился – какой может быть юбилей в сорок пять лет?

– Мне нравится, Валерий, что я вас сегодня удивляю... Однако вспомните то время: разве можно было тогда рассчитывать, что доживешь до потребных для

юбилея пятидесяти? Так вот, Александр Александрович поцеловал меня и произнес, тихо так: «А ты всё прежний:

Два ангела напрасных за спиной».

Не кажется ли вам, что личность, вызвавшая к жизни этот гениальный стих, была бы достойна пера Достоевского?

Гривнич промычал нечто неопределенно-одобрительное, поблагодарил за любезный приём и попросил позволения откланяться. Испытывал он при этом облегчение – и одновременно легкое сожаление, что те времена, когда вначале он преследовал Кузмина своей влюбленностью, а потом и поэт принялся оказывать ему знаки внимания, канули в безвозвратную Лету и отозвались сегодня только шутивным намёком. Однако Кузмин не собирался ещё его отпускать.

– Да присядьте на минуту, Валерий! Я ведь помог исполнить данное вам поручение без сучка и задоринки – разве не так? И хотя бы поэтому заслуживаю, чтобы меня выслушали.

– Да, разумеется. Извините, Михаил Алексеевич, – пробормотал Гривнич.

– Извиняться не за что. Да и мне, собственно, тоже. Что было, былём поросло. Моё поведение могло быть оправдано только горением страсти, да ещё, может быть, желанием оказать любимому покровительство в начале литературной стези – но в роли мэтра я просто нелеп был бы тогда. Ваша же симпатия ко мне не выглядела серьёзной: тут и прятая атмосфера «Бродячей собаки», где я тогда был всеобщим любимцем, сказала, и начитались о Верлене и Рембо... Распинаясь о любви ко мне на всех богемных перекрестках, вы старались держаться от меня подальше; это меня огорчало, конечно, однако ж и забавляло чрезвычайно. Особую же пикантность ситуации (а заодно и гротеска) придавало то обстоятельство, что вы, ветреник этакий, одновременно вздыхали и по красавице Глебовой, тогда ещё не Судейкиной. Мы же с нею из Ярославской губернии, в Питере чувствуем себя почти родственниками. От меня прелестница не скрывала, что вы ночами торчали у дома Адмони, где сейчас «Привал», слонялись у неё под окнами и что даже самоубийство корнета Князева, имевшего глупость застрелиться на пороге у роскошной Ольги, вас не охладило... Кстати, давненько не видел я Ольгу Афанасьевну на сцене.

– Почему же? В драматических постановках появляется... – прохрипел Гривнич. – Вот только танцует редко. Исключительно в полупрофессиональных спектаклях, иногда, говорят, в «Привале».

– Я прямо вживе увидел её сейчас, как склонила головку набок в роли козлодевы (а почему не девы-козы?) на премьере «Пляса козлоногих» в «Бродячей собаке». Головку увенчанную склонила, божественные руки свела на затылке – и тра-ра, та-та, тра-ра, та-та... Между нами говоря (сам композитор, я сие утверждаю с полной уверенностью), балет Илюши Саца слова доброго не стоит, зато Ольга Афанасьевна была неповторима... А потом вы скоропалительно женились. На этой, как её? – щёлкнул сухими пальцами блудливо ухмыляющийся Кузмин.

– Не вижу смысла вспоминать имя моей бывшей жены, – отчеканил Гривнич. Он уже овладел собою. На влюбленности в Ольгу Глебову его ещё можно подколоть, да только не на обстоятельствах развода. Там так жестоко отболело, что теперь хоть булавки втыкай, не почувствуешь.

– Н-да, очень похоже на классический случай замещения. Увидели, точнее, заставили себя увидеть в бойкой провинциалочке черты блистательной дивы. Кстати, теперь Ольга Афанасьевна живёт на Фонтанке, в доме 18, в четвертом дворе с выходом на Пестеля, и приютила у себя задушевную подругу – Анну Андреевну Ахматову. Разведена, а господин Судейкин улепетнул прошлым летом за кордон, чтобы Париж, а не нас, бедных, осчастливить будущими своими шедеврами.

– Какой, говорите, адрес?

– Решили возобновить знакомство? Впрочем, это не моё дело.

– Уж позвольте мне в этом с вами согласиться, – со всем возможным ядом заявил Гривнич. – Мне необходима Анна Андреевна, для известного вам начинания, а я никак не мог её разыскать.

– Ответ, достойный сына адвоката! – всплеснул руками хозяин. – Однако Анны Андреевны вам сейчас не найти: она уехала в туберкулезный санаторий, и никто не знает, куда именно. Адрес же питерский, извольте, повторю.

Гривнич записал подробно адрес. Помолчали.

В тот самый момент, когда гость сделал движение, чтобы снова подняться с кресла, хозяин улыбнулся, взял со стола и протянул ему небольшую фотографию на плотном картоне. Гривнич поднес карточку к глазам, а сам пододвинулся ближе к лампе, услужливо вновь включенной. На снимке увидел он двух дам в костюмах и париках середины XVIII века, одну постарше, с порочной родинкой (или мушкой?) у рта, и вторую совсем молоденькую. Дамы слились в страстном поцелуе.

– Гм. Они лесбиянки, Михаил Алексеевич?

– Представьте себе – супружеская пара. Бельгийские артисты, застрявшие в Питере. Маются без ангажемента. А вы посмотрите на обороте, Валерий.

Гривнич оторвал глаза от изящной, похожей на белый баклажан грудки, стиснутой тонкими, с крашеными миндалевидными ногтями, пальцами подруги, и перевернул карточку. С трудом разобрал беспечный почерк: «Nashemu chere Antinoie – s ljuboviu. Marie, Paul. 13.VII. 1921». Протянул:

– Значит, эта слева – мужчина, Paul...

– Верно. То есть в основном мужчина, однако не только, если вы меня понимаете. Marie такого же типа, но в своём роде. Её вы правильно определили. Тоже абсолютно свободна от предрассудков.

– Ну, Михаил Алексеевич, – перевёл дыхание Гривнич, – вы даром времени не теряете. Они что же, из балетных?

– Да, учились когда-то в Париже, но так высоко не летают. В кафешантанах подвизались больше. Сцену апаша и гризетки на музыку из «Мадемуазель Нитуш» разыгрывали; может быть, вы и видели в летнем «Буффе», да на лица внимания не обращали... Сценический грим ещё, знаете... Marie, кстати, вашего возраста – не обольщайтесь.

– К чему мне обольщаться? – вздохнул Гривнич. – Фраку столько лет, на сколько он выглядит. Английская пословица.

Кузмин рассмеялся, словно нехотя. И сразу же проникновенно:

– Знаете, я не хочу больше испытывать ощущение провинности перед вами, будто нечто обещал и обманул вас... Marie и Paul приглашены ко мне на восемь вечера. Хотите, представлю вас? Если понравится Полю (он почему-то

привередливее супруги и капризничает иногда), я ими с вами поделюсь – и совесть моя успокоится. Что скажете, Валерий?

Склонившись к гостю, радушный хозяин неосторожно подставился под беспощадный свет лампы, вылепивший гипсовую маску Дориана Грея из последних глав романа: пропасти глаз, провалы щек, ущелье искривленного в вечной усмешке рта. «Кому Питер бока вытер, а Кузмину щёки!», – ахнул про себя Гривнич и тут же устыдился. А сохранять до шестидесяти гладкий лобик, круглые щёчки и идиотическую ясность взгляда – это ли не пошлость? Опасаясь, что ласковый хитрец прочитает его мысли, перевернул фотографию, будто ещё раз хотел взглянуть на сладкую парочку. Рука у него дрогнула; не глядя на Кузмина, он неловко кивнул и протянул, возвращая, карточку.

Кузмин, повертев картонку в руке, левой поднёс к глазу монокль, разглядывая. И заговорил раздумчиво, в малой лишь степени обращаясь к собеседнику:

– Только в древней Греции любовь действительно не знала плотских табу. И ещё в традиционной Японии, о чём у нас осведомлены меньше. Но взять хотя бы эту Marie... задуматься, что она такое. Ласковый ли и мягонький зверок, в животном бесстыдстве не ведающий запретов – или свободная женщина нашего будущего?

– Упаси боже, – перекрестился Гривнич. И вдруг встрепенулся. – Пойдите, пойдите... А как же ваш... приятель, этот Юрий Юркун?

– Он в отъезде, – усмехнулся Кузмин. – Недалеко тут, в Петрограде. Я отпустил Юру на время к милой Олечке Гильдебрант. Она же Арбенина, если знаете.

Валерий крякнул. Потом простецки хлопнул себя по лбу.

– Как же это я не сообразил сразу? Вы ведь сказали, Михаил Алексеевич, что они... Marie с мужем... без ангажемента.

– Что значит – светский человек! – фальшиво восхитился Кузмин. И столь же радостно продолжил. – Я же не утверждал, Валерий, что наши очаровашки бескорыстны. Я сказал только, что они выбирают себе друзей, а Paul ещё и привередлив. И у них, вынужден обратить на это ваше внимание, вкусы, довольно



разорительные для нашего спартанского времени. Marie – кокаинетка, а Paul обожает усугублять порошок алкоголем.

– Ладно, спиртное достану в «Привале». А вот порошка... – развел руками, – я сам, извините, два года, как в глаза не видел.

– Подойдите-ка сюда, Валерий, – торжественно выговорил хозяин.

Завел гостя за свой письменный стол и, приняв таинственный вид, нажал невидимую сверху кнопку под столешницей. Скрипнуло-звякнуло, и выдвинулся потайной ящичек, а в нем никелированный револьверчик и две старинные с виду табакерки, круглая и сундучком.

Кузмин осторожно открыл круглую табакерку и поднес к носу гостя.

– Что скажете, Валерий?

У Гривнича ноздри затрепетали:

– Чистейший! И где вы умудрились достать?

– Из личных запасов. Как раз два года назад, когда благословенное зелье начало исчезать, я сказочно (по революционным меркам, разумеется) разбогател. Тогда вышла моя «Жизнь Калиостро», – с плохо скрытой гордостью подчеркнул Кузмин. – Эх, какой грандиозный был проект, эта серия «Новый Плутарх»! Пятьдесят маленьких книжек занимательных биографий, понятных и дураку – да я бы озолотился!

– Почему же не получилось? Вашего «Калиостро» и я тогда купил, соблазнился. Весьма изящная книжечка, и Добужинский славно над нею потрудились: десятки, помнится, заставок и виньеток в стиле XVIII столетия.

– Десятки? Ровным счетом семьдесят! А издательство... Большевики, подивившись названию («Странствующий энтузиаст» – и это в кровавом девятнадцатом!) и выругав за старую орфографию, благополучно прикрыли лавочку. А теперь – вам ли не знать, Валерий? – в издательском деле с одной стороны кормушки блуждают авторы-неудачники и издатели-нищие, а с другой – верноподданных «150 000 000» Маяковского издают тиражом сто пятьдесят тысяч!

Гривнич подумал, что кропание занимательного чтения на потребу мещанину со временем снова может стать способом пробиться. Однако, и

легковесная «Жизнь Калиостро» вряд ли бы вышла, если бы её рукопись предложил издателю не Михаил Кузмин, а никому не известный начинающий.

– Итак, да здравствует настоящая александрийская оргия! – воскликнул Кузмин. – Податливых рабов, факелами освещающих наш ужин, не обещаю, но что помешает нам украсить венками, прежде чем мы украсим собою наши ложа? Ах, Валерий, до чего же мне приятно, что вы приняли моё предложение. А то мне уж начинало казаться, что вы появляетесь на моем пути, как тот прекрасный кавалер из моего романа, помните? Тот, запроторивший в конце концов Калиостро под суд инквизиции...

И Кузмин мягко приобнял гостя, а тот не сразу сбросил его сухую руку со своего плеча.

### ***Глава 11. Чекист Луцкий***

Агент Луцкий решил, что его подвела память. Хмыкнув, достал он из кармана галифе бумажный квадратик, отогнул завернувшиеся края, прочитал в который уже раз: «Вас. остров, Тучков пер., 8. Ателье “Фотостат”. 14 августа, 2 часа дня». Таки напрасно бил он ноги: на Васильевском острове, в Тучковом переулке дома № 6 и № 10 имеются, а вот между ними пустырь. Тут стоял, по загаженным квадратам видно, деревянный домишко, в одну из революционных зим разобранный на дрова. Что за шутки! Пётр порвал бумажку и бросил обрывки на ближайшую из куч мусора, выброшенного на пустырь жителями окрестных домов.

Злополучную бумажку ему всучил уличный фотограф с ручным «Кодаком», вертевшийся позавчера около ближайшей к месту службы остановки трамвая. Луцкий мальцом ещё заинтересовался волшебным искусством светописы, мечтал даже проситься учеником к важному бердичевскому фотографу – да где уж нам со свиным-то рылом в калашный ряд! А в прошлом году в Харькове присматривался между делом к хлопотливому ремеслу уличного фотографа, гордо носившего на шее портативную пленочную камеру – и убедился, что такой умелец только делает вид, будто снимает каждого встречного (иначе враз разорился бы на пленке), однако по-настоящему нажимает на

спусковую кнопку, лишь уверившись, что прохожий действительно не прочь сняться на карточку и готов прийти за нею в ателье. Этот же молодой, бойкий, как полагается, парень щелкнул Луцкого по-настоящему и пленку перемотал, а тогда и завел свою бодягу: «Вы сфотографированы! Два ваших роскошных визит-портрета шесть на шесть будут напечатаны уже завтра!» Сунул бумажку с адресом ателье и тут же отвернулся. Неопытный, наверное.

А сегодня оказалось, что и шутник. Разумеется, тогда, на Гороховой, Луцкий мигом взял бы субчика за шиворот, только осмелся снять его на фоне здания ПетроЧК. А если спиной к проспекту – почему бы и нет? Уличные карточки помутнее выходят, зато и дешевле, чем в ателье. И не фоткался Пётр ещё ни разу в Питере... Что ж, теперь гада не достанешь.

Для этого похода в фотоателье он порешил не отпрашиваться, предпочёл пожертвовать обедом; теперь едва ли удастся выцыганить порцию в служебной столовке. Луцкий махнул рукою, помянул матушку шутника-фотографа и развернулся на каблуках, чтобы поспешить на остановку трамвая. А разворачиваясь, уловил краем глаза движение на противоположной стороне переулка. Покосившись, увидел, что это отъехали в сторону две доски, открывая дыру в заколоченной подворотне, а из неё вылезает парень в начищенных сапогах с голенищами в гармошку. Оглянулся уже на ходу: стоит парень на тротуаре, пиджачок отряхивает, а в полностью вылезшем из дыры своём виде глядится модником из предместья. Потопал Луцкий к трамвайной остановке и выбросил того парня из головы.

Трамвай заскрежетал за углом, и Луцкий, чертыхаясь, побежал. Задрезжал-зазвенел трамвай, останавливаясь, но Луцкий, хоть и нажимал из всех сил, видел уже, что сесть на остановке не успеваает. Однако сумел в последнем усилии запрыгнуть на подножку, когда железная машина, снова заведя ржавую свою музыку, набирала скорость. Втискиваясь в спины попутчиков, одной рукой за поручень держась, одну ногу на подножку втиснув, услышал Луцкий посторонний тонкий звон и оглянулся. Давешний парень, согнувшись, руку к груди прижав, кашлял и отплевывался на пустой остановке. Наклонился, что-то поднимая с земли – и исчез за поворотом.

Выслушав агента Луцкого, начальник осведомительского отдела Карев прошёлся по кабинету.

– Ты изложил факты, Пётр. Теперь объясни, зачем с такой чепухой пришел ко мне, занятому в эти дни по горло?

– Позвольте мне только спросить вас, товарищ Карев. Вы не устанавливали за мною слежки? Да только что толку спрашивать... Когда за товарищем Кащенко вы велели проследить Петрову и Фридману, то товарищу Кащенко, понятно, о том не сказали.

– Ну и каша у тебя в башке, Луцкий! А может, ещё башка не отошла после контузии. А кстати! Встань, сними-ка фуражку, повернись... Покажи рукой, в какое место тебя бандит звезданул.

Луцкий почувствовал себя, мягко сказать, неудобно. После того случая, как схлопотал он по кумполу, ни к кому не желал больше поворачиваться спиной – даже и к начальству. Осмотр затянулся. Он не выдержал:

– Дозвольте сесть, товарищ Карев.

– Да, разумеется, садись, можешь и фуражку надеть, хоть и невежливо... Ладно, об этом после. Давай, колись насчет своих выводов.

Луцкий, глядя в пол, предположил, что его хитро выманили в Тучков переулок, чтобы оттуда проследить.

– А ты кто такой, председатель ПетроЧК или начальник секретной части, чтобы за тобой контрикам следить? – поинтересовался Карев. – К тому же в настоящий исторический момент вся питерская контрреволюция в норы забилась и дрожит. Следствие по делу организации Таганцева заканчивается, вот-вот ребята засядут постановление писать.

– Я ещё не всё сказал, товарищ Карев. Как начал я позже, в трамвае, вспоминать, представилось мне, что и фотограф, и тот парень, который меня пытался догнать..., один то человек. Одетый только по-разному, фотограф – по-городскому, в галстучке и в штиблетах, а в Тучковом переулке – пригородным франтом в сапогах гармошкой. И кажется мне, что он выронил финку, когда меня догонял.

– «Представилось», «кажется мне»... Мало ли людей похожих в Питере? И где ты теперь найдешь богача, что сегодня в городских штиблетах щеголяет, а

завтра в пригородных сапогах? А парень тот залез в подворотню по нужде, а потом, как и ты, поспешил на трамвай.

Луцкий предпочел промолчать, нежели в сердцах наговорить начальнику лишнего – знает за собою такой грех. Этому Кареву надо финку в спине принести, чтобы человеку поверил.

– Однако согласен, что история с уличным фотографом подозрительна. И что-то я после восемнадцатого года не видел в Питере таких умельцев...

– В Харькове иное дело, товарищ Карев, там пленку для «Кодаков» из Одессы везут, контрабанду, – повеселел Луцкий. – А тут на пластинки снимают, уж и не знаю, где фотопластинки достают.

– Ишь ты, начинаешь в северной Пальмире осваиваться. А что, если барышня в тебя влюбилась и таким способом добыла себе твою карточку? – усмехнулся Карев. – Хорошо, давай посмотрим, не таскаешь ли чего лишнего в карманах. Удостоверение, профбилет, партийный билет отдай мне, я спрячу в сейф. Хватит с нас и Буревого... Шпалер у тебя какой? Помнится, солдатский наган?

– Так точно. Патроны в шести гнездах, боек в пустом.

– Вот возьми браунинг. Он трофейный, неучтенный. Патрон уже в стволе. Вытаскиваешь из кармана, снимаешь предохранитель – и пали. Только ремень бриджей покрепче затягивай, а то перекашивать будет.

– Спасибо за заботу, товарищ Карев, – брякнул Луцкий. Вдруг ему шибко стало себя жаль, а призрачный образ барышни-блондинки, полюбившей его за высокий рост и чёрные усы, сделал грустно ручкой и растворился в пыльном воздухе кабинета.

– Кушай на здоровье! Пойдешь со службы в обычное время, как вчера уходил, и завтра на службу тоже. Тебе на эти прогулочки придаётся Фридман, подстрахует. Двое суток походит за тобой, ноги у него не отвалятся. Да и живёте в одном общежитии. Теперь послушай, Луцкий, со всем вниманием – это приказ. Если на тебя нападут, попытайся провести задержание, не стреляй сразу.

Таким манером агент Луцкий и превратился в подсадную утку, разве что крикать ему не приказано. В тот вечер на пути в общежитие набрался он страху, хоть шли они с Фридманом (тот в десяти шагах сзади) выученной на память

дорогой, и вечер выдался светлый. Ничего не случилось и утром в понедельник, на совместном в таком же порядке пути на службу. Другой на месте Фридмана начал бы уже посмеиваться над подопечным, но агент Фридман был парень молчаливый и исполнительный.

Вечером во вторник Луцкий и Фридман в обычное время (на аресты и прочие выезды их не привлекали в эти дни) привели свои столы в порядок, Фридман пошёл доложить Кареву, а тот, похоже, и ночевал на службе. Возвратившись, кивнул Луцкому. Они могли идти.

В тёмных, с дежурным освещением коридорах ПетроЧК Луцкий продолжал думать о служебных делах. Последнюю неделю Карев посадил его проверять картотеку бывших царских офицеров, буржуев, лишенных гражданских прав по Конституции РСФСР, бывших членов вражеских партий и прочей контрреволюционной сволочи, которой осталось в Питере на удивление много. Если столько их на Васильевском острове, в той картотеке единственно и довелось пошуровать Луцкому, – можно себе только представить, как кишит недобитыми буржуями главный здешний гадюшник, улицы вокруг Невского! Иногда же выполнение нудного задания приносило и моменты чистой радости, проистекающие от чувства классовой солидарности. Это если звонил Луцкий по телефону из картотеки в очередную барскую квартиру, и отвечала ему трубка грубым голосом пролетария или визгливым бабьим пролетарки, что прежний хозяин «смылся», «сидит» или даже «поехал в штаб Духонина». Хорош город, красив, нечего сказать, но жить в нем должен правильный народ, рабочий...

Вот и вестибюль. Стоит солдат, Мотя с винтовкой, на штыке пропуска нанизаны. Знает их с Фридманом внешности, удостоверений не спрашивает, хотя у Луцкого как раз и нету, забрал товарищ Карев. Службу несёт, называется! Да нападут на ЧК настоящие боевики, как он их остановит с этой винтовкой?

Фридман вытаскивает револьвер из кобуры, откидывает в сторону барабан, проверяет, на месте ли патроны. Взводит курок.

Звук слышит часовой, отпрыгивает:

– Ты чего, паря?

Фридман сопляку ноль внимания, фунт презрения. Сует спокойно револьвер в карман (не боится папашино наследство отстрелить), кивает

товарищу: пошёл, мол. Луцкий и выходит. Мелькает мысль, что самое бы время перекреститься. Правильно, по-католически. Это если не отринул бы опиум для народа.

От свежего воздуха голова идёт кругом. Днём дождь прошёл, прибил пыль. Улица темна, светятся только окна ЧК, да в стороне, где Финский залив, красные ошметки заката. Луцкий закуривает, прячет зажигалку. Осматривается во второй раз и пускается в путь серединой улицы. Теперь все горожане так ходят ночью, опасаясь прохожих, незаколоченных подъездов и тёмных подворотен. Через короткое время сзади хлопает дверь, и Луцкий чувствует себя поспокойнее.

Встречных немного ему попадается, и они сами, углядевши человека в форме, обходят Луцкого по дуге. В кармане медный корпус зажигалки мерно позванивает о сталь браунинга, мешает Луцкому сосредоточиться. Да и не может он сейчас ни о чём думать! Как только перешел Большую Морскую, так и зачесалось между лопатками, будто после стрижки, если ракло-парикмахер салфеткой шею не замотает по-человечески. Вот и мост. На нём пусто, Фонтанка темно поблескивает, и её знакомый запах, тины и мочи, неожиданно успокаивает Луцкого. Теперь уже недалеко.

До поворота на Казенную остается всего ничего, с десятков шагов, когда Луцкий ощущает на голени легкий холодок и что за ним волочится тряпка. Обмотка размоталась, пся крев! Где-то невдалеке ржёт лошадь, и Луцкий ретируется на тротуар, в полную темень, а то ещё опрокинет извозчик к чёртовой матери. Фридман (он с самого начала на тротуаре), проходит мимо – а что ему остаётся делать? Луцкий заканчивал уже наматывать обмотку, злясь, что мокрая она и в грязи, когда позади него раздаётся топот. Фридман догоняет – но он же впереди? Сильный толчок. Луцкий, не успев выпрямиться, летит на мокрый тротуар. Падает неловко на левую руку, но холодит, потом обжигает правую. Выхватывает из кармана браунинг, вместе с ним выпрыгивает зажигалка, звенит на плитках. Луцкий слышит впереди возню и забывает о зажигалке. Сдвигает непослушной левой рукой тугой флажок предохранителя, протягивает вперед руку с непривычным, чужим пистолетом – но куда стрелять? Возня затихает, снова топот и на углу зависает на секунду чёрный силуэт.

Это не Фридман! Тот выше, ростом с него самого... Луцкий нажимает на спуск, уже понимая, что опоздал. Тявкнуло. Вскакивает, бежит. Вот он, Фридман, лежит. Плохо лежит, и в темноте понятно. За угол! В слабых огоньках Казенной мечется тень, и топот всё глуше, и снова ржет лошадь за почти неразличимой пролеткой у бывшего кафе «Лукулл». Не видно мушки, прорези, ни хрена не видно! Но он стреляет, уставив пистолет, словно палец, пока вместо очередного тявканья не слышит звонкий щелчок. Выстрелы, однако, продолжают звучать, только иные, глуше; рядом свистит, искра вспыхивает на граните стены и медленно, по дуге, плывёт, угасая... Дошло, наконец! Луцкий отскакивает за угол, сует горячий браунинг в карман, достает из кобуры верный наган. Переживает чужие выстрелы: четвертый пошел, пятый, шестой... Седьмая пуля с визгом рикошетит далеко за спиной Луцкого, и он навстречу звуку седьмого выстрела выскакивает из-за угла и палит в смутную тень пролетки, пока она не исчезает за изгибом Казенной.

Треск выстрелов и испуганное ржание кобылы стоят у него в ушах, когда он возвращается к Фридману. В домах перекрестка робко зажигаются огни, погасшие с началом перестрелки, и видно теперь, что Фридман действительно плох. Нос у него совсем заострился. Помер товарищ, сложил голову за дело мировой революции. Луцкий вдруг чувствует, что правая рука сильно саднит. Оказывается, рукав френча разрезан, бок залит чёрной кровью. Он идет искать зажигалку, не находит её, матерится и вынужден присесть на корточки у стены, спиной опершись о холодную гранитную облицовку. В нос, перебивая дух сгоревшего пороха, резко бьет аммиачной вонью застарелой мочи. Он отдергивает руку от мокрого тротуара, снова матерится. Со стороны Невского слышны свистки милиционеров.

## ***Глава 12. Валерий Гривнич***

Вот так, наверное, и возвращается домой муж, вынужденный сдать семью после внезапного загула. В своём коротком браке Гривнич, как ни странно, в такой ситуации не оказывался, и его несколько забавляла новизна ситуации. Хотя военное положение, в последний раз введенное во время Кронштадтского



восстания, давно уже отменено, побоялся он возвращаться в гостиницу ночью и оказался перед дверью номера Чернобородого, когда полностью рассвело, а снизу доносились уже запахи керосинного угара и желудёвого кофе, только что на примусе заваренного Абрамкою.

Деликатно постучав, Гривнич не дождался ответа. Что ж, если бы Всеобщий благодетель выехал, уродливый портье не преминул бы позлорадствовать. Следовательно, это избранное Работодателем взыскание – не пустить блудного сотрудника на ранее дарованный ему диван. Крыть нечем, наказание заслуженное, подождём. Гривнич прислонился к стене, сунул руки в карманы и закрыл глаза. Спать ему не хотелось, хоть он глаз не сомкнул в эту прощальную ночь оргии, и было непонятно, как душевная опустошенность может сочетаться с чувством полнейшего эмоционального удовлетворения, разве что утоление голода и есть последняя пустота – так в Библии патриархи умирают, насыщенные жизнью.

– Валерий Осипович...

Гривнич открыл глаза и прямо перед собой увидел мнимого Всеволода Вольфовича. Небрежно, явно наспех одетый, с не завязанным, свисающим с шеи галстуком, в носках, держал он в руках штиблеты: гамаши и башмаки отдельно. Хоть и умудрился не скрипнуть дверью, ясно было, что появился Благодетель из номера, переданного во владение девушке Лизе.

– Да что мы здесь стоим? Достаньте ключ у меня из пиджака, в правом кармане, – прошипел работодатель, преодолев оцепенение. После чего втолкнул Гривнича в свой номер.

Здесь они предпочли для начала внимательно осмотреть друг друга. Первым, по праву начальствования, высказался старший:

– Вам бы в зеркало взглянуть, Валерий Осипович. Краше в гроб кладут. Фунтов десять, небось, потеряли.

– Зато славно расслабился, обрел спокойствие и твёрдость духа. А вы-то, вы, Всеволод Вольфович! Вы даже помолодели, и в лице что-то человеческое появилось.

– Ехидный вышел у вас комплиментец, – выдавил из себя работодатель. – Даже не знаю, благодарить ли за него.

– А что вы ходок по молоденьким девушкам, мне бы и в голову не пришло.

– Да я и не ходок, если признаться... Просто Лиза из тех, кому нравятся мужчины в возрасте. А я намереваюсь после завершения дела вывести её за границу под видом супруги, вот и счёл возможным... Знаете ли, у этих таможенников глаз наметанный, обмануть их трудно. А теперь интимность союза будет подлинной...

– Я ценю благородство ваших побуждений, Всеволод Вольфович... – начал было Гривнич и, не выдержав тона, расхохотался. – Да только вы передо мной Ваньку валяете. Что вам помешало бы выдать нашу Лизаньку за свою дочь?

Всеобщий благодетель начал было объяснять, что разница в необходимых документах, однако сам прервал себя, засмеявшись, и поднял руки вверх. Тут же посерьёзnel:

– Я как в прошлый четверг увидел ваш портфель на этом столе, даже испугался. Неужто вы снова вздумали выйти из нашей игры? Нет, смотрю – в записке извинения, адрес Ахматовой (благодарю, кстати) и ни слова о желании разорвать контракт. Вот мило, думаю, а то ищи нового секретаря...

– Да, я заходил, чтобы белье переменить и оставить портфель. Знаете, может быть, это и буржуазный поступок, однако рисковать понапрасну чужими деньгами...

– И чтобы избежать соблазна растратить, а? – добродушно осклабился Всеобщий благоподатель.

– Ну, свои-то я все спустил, Всеволод Вольфович, подчистую, – потупился Гривнич. – То есть те дензнаки, что считал своими как выданное вами жалование... Их и не грех сразу же тратить: меня не отпускает опасение, что вот-вот рассыплются прямо в руках или того хуже, как у Гоголя... Стоп! А почему вы предположили, что я захочу разорвать контракт?

Собеседник его прошёлся по комнате, спросил, роясь в бумагах на столе:

– Вы там, в волнениях страсти, выходит, в газеты не заглядывали?

– Равно как и часов не наблюдал, – надменно (нашёл чем гордиться!) подтвердил Гривнич. И вдруг побледнел. – Напечатан приговор? Гумилёву?

– О приговоре пока только слухи. Почитайте-ка вот здесь. Это «Петроградская правда» за прошлую среду.

И сунув газету Гривничу, отправился к трюмо приводить в порядок свою одежду. Гривнич дважды перечитал жирно обведенную карандашом заметку.

### **Убийство хулиганами сотрудника ЧК**

Вчера, около девяти вечера, на перекрестке улиц Гороховой и Казенной погиб от ножа уличного хулигана сотрудник Петроградской ЧК т. Луцкий. Несмотря на принятые милицией меры, преступника задержать не удалось.

*От соб. кор.*

– Луцкий? – выдохнул.

– Да, Луцкого подрезали, – небрежно подтвердил работодатель, запихивая подол рубашки в брюки, – того самого чекиста-недотёпу, пытавшегося вас арестовать. Вам повезло, Валерий Осипович. Бывают же счастливые совпадения!

– Вы говорите неправду, Всеволод Вольфович. Я в такие совпадения не верю. Вы ведь предлагали... А я-то удивляюсь, почему вы так либерально отнеслись к моему загулу? Это ведь ваша работа, это вы наняли хулигана!

– Раскричались, хе-хе... Должно быть, хмель ещё в голове бродит. А мне-то какой смысл вам выговаривать, если вы сами себя за прогул и наказали? Вам же, действительно, было предложено: когда скажу, в назначенный день идти в Публичную библиотеку и слоняться там до закрытия. А есть ли у вас алиби теперь? Я-то в прошлую среду весь вечер провёл в «Доме искусств», у баронессы Варвары Ивановны Иксуль – милейшая старушка, очень интересно рассказывала о Распутине. Намекала, что у неё в шестьдесят лет был роман с лейб-хирургом Вельяминовым, причем она сменила на ложе шустрого старичка великую княгиню Милицу Николаевну, когда ту умыкнул Распутин. Вот как интересно жили пожилые дамы загнивающего режима – а всё полноценное, здоровое питание! В комнату заходила (за заваркой, кажется) особа генеральского вида, сатирическая писательница «А. Терек», а теперь Ольга Форш, затем Зощенко заглядывал, и ещё один молодой человек с замечательно отсутствующим выражением лица; я ещё хотел разузнать о нём и, буде подойдет, взять на ваше место – если до отъезда в Москву не появитесь...

– Вот его бы лучше и взяли, – проворчал Гривнич. Сев на диванчик, снова закрыл он глаза и изо всех сил теперь пытался, не впуская в себя болтовню Чернокостюмного, вернуть то душевное состояние, в коем пребывал несколькими минутами ранее.

– ...вся эта литературная бражка не могла не запомнить такого мужчину, как я: весь в чёрном, ассирийская борода, умные глаза – и редкий лопух, потому как занимает деньги налево и направо. А кое-кто не только запомнил, но и вставит в свой роман, хоть бы и эта неинтересная Форш, например: обсматривала украдкой со всех сторон и губки поджимала, будто уже примеривала, как с меня списать какого-нибудь империалистического злодея-банкира. И, конечно же, мой главный свидетель – Ефим, тамошний лакей, служивший прежде Елисееву, а впоследствии, что твой кот, отдавший предпочтение дому перед хозяином. Теперь он в этой коммуне – прислуга за всё, официант, управдом и привратник. Он же и знаток поэзии, приверженец акмеизма. Такие чаевые огрѐб старикан – и не запомнит меня?

Гривнич молча кивнул. Да, Ефим Егорович – тот запомнит...

– А последняя новость из этого писательского бардака – упадёте на месте! Запечатана уже и комната Шполянского, а сам Виктор в бегах. Оказывается, после того, как в девятнадцатом году большевики разгромили последний Центральный комитет правых эсеров, Шполянский был кооптирован в новый правозэсеровский ЦК. Чекисты об этом узнали во время допросов по Таганцевскому делу, но Шполянского успел предупредить некий доброжелатель. Теперь наш ехидный знакомец на нелегальном положении; более того, будто бы объявлен вне закона. А сие означает, что каждый гражданин республики может застрелить бедного Виктора, как собаку.

– Жалко собачку, – пробормотал Гривнич, не открывая глаз.

– Позвольте?

– Ваша формулировка предполагает, что собаку каждый может убить совершенно безнаказанно.

– Валерий Осипович, мы же не в индуистской стране живём! Да и Санкт-Петербургское общество покровительства животным кануло в лету. Наконец, если бы в республике победило ваше прогрессивно-гуманистическое отношение к

собакам, из чего бы делались те котлетки, которыми нас кормили в столовках в позапрошлом году?

– Всеволод Вольфович, перестаньте, пожалуйста, бесцельно сотрясать воздух, – тихо проговорил Гривнич. – Вы либо убийца, либо нет. Если это вы распорядились насчет того чекиста, вам надо покаяться и очиститься страданием. Если вы не имеете к этому отношения, скажите мне об этом сейчас. Я тотчас же извинюсь перед вами и пожму вашу руку.

Чернокостюмный помолчал. Прошелся по комнате со свисающим с шеи галстуком, уцепился обеими руками за его концы и заявил уже другим, жёстким и пренебрежительным тоном:

– Эх, умеет же российский интеллигент испортить человеку настроение... Дискуссию прикрываю. Сейчас вы, поскольку Лиза ещё спит, распорядитесь внизу насчёт кофе и пирожных. Мы быстро завтракаем, после чего вы отправляетесь в «Дом искусств» – и не возвращаетесь, пока не добудете мне московских адресов и, по возможности, телефонов Маяковского, Есенина и Каменского. Также попытайтесь разузнать, где сейчас может обретаться Хлебников. Остальные адреса у меня уже есть. Нам пора отправляться в Москву, мы и так уже из-за Ахматовой начинаем запаздывать. Если она не появится в Питере в ближайшие дни, придётся посылать ей приглашение почтой из Москвы или попытаться прихватить её с собою уже на обратной дороге в Новгород. Проснитесь, наконец!

Гривнич и в самом деле встрепенулся.

– Позвольте, позвольте, Всеволод Вольфович! Значит ли сие, что всех нужных для юбилея петроградских поэтов, кроме Ахматовой, мы уже пригласили?

– А вы кого-то недосчитались, Валерий Осипович?

– Есть ещё Клюев, Николай Клюев, называющий себя крестьянином. Признаться, я не большой поклонник его таланта, однако мистическая составляющая вашего замысла была бы ему близка...

– А мне Николай Алексеевич просто несимпатичен. Притворяется старообрядцем зачем-то, хитрит по пустякам, да так, чтобы все заметили. И ещё эта его дурацкая привычка носить на груди серебряный крест...

– Вот как? – неизвестно чему обрадовался Гривнич. – Наперсный крест вам не по душе?

– Да ладно, можете приглашать своего Клюева, – подозрительно легко согласился благодетель с криминальными наклонностями. – Но разве он не хвалился в «Бродячей собаке», что его драгоценная Вытегра в четырехстах верстах от железной дороги?

– Туда парходик, помнится, ходил прямо от Литейного проспекта.

– Когда это было...

– Ладно уж, о Клюеве пока забудем. И почему это вам всегда удается настоять на своём?

Когда плелся Гривнич коридором, открылась дверь бывшего пристанища Мандельштама, и горячая твердая ручка втощила блудника внутрь. Сразу же, жарко дыша ему в ухо, а чтобы было ему слышнее, обхватив вдобавок шею руками, Лиза зашептала:

– Мне пришлось подслушать ваш разговор с этим чудовищем, не всё, правда, расслышала – или не поняла, неважно уже... Дорогой мой, милый Валерий Вольфович, не думайте...

– Осипович, я Валерий Осипович, Лиза, – механически поправил он. Успел заметить, что мамзель одета, и кровать застелена, а вот проветрить оскверненный приют Поэта не помешало бы.

– Милый мой, милый Валерий Осипович, не презирайте меня! Он подлый лгун, этот Всеволод Вольфович. Я вовсе не предпочитаю пожилых, совсем напротив! А это он не давал мне покоя, старый сатир: подарил доверху, закупил меня в конец... Две пары шёлковых чулок, духи «Коти», ботиночки прюнелевые – и почти новые! Нет, вы мужчина, вам этого никогда не понять. И не такая уж ужасная была это для меня жертва, у меня раньше были романы. И я для брата Володи совсем уже была готова собой пожертвовать... Ой! Это вы до такой степени презираете меня, Валерий Осипович?

Позабыв попросить разрешения, он в панике присел на кровать: до стула показалось далеко. Его подвела чувственная готовность, разбуженная и обостренная только что закончившейся оргией, но не станешь же в этом

признаваться девице... Заикаясь, пояснил, что не ожидал от неё такой наивности: вешаясь на шею мужчине, какой ещё ожидала от него физиологической реакции?

Лиза хихикнула, покраснела пунцово и, застегивая пуговицы на кофточке, села на противоположном конце кровати.

– Физиологической, да? Серьёзно? Извините, бога ради, Валерий Осипович. Мне этот старый лгун заливал, что вы женщинами совсем не интересуетесь, вот я и не побереглась... Послушайте, времени у нас очень мало, мне же надо ещё идти кофе готовить. О завтраке я не беспокоюсь. Вон, – кивнула она на мешочек из знакомой коричневой ткани с пришитой запиской, – вчера передачу для Володьки не приняли. Собрались родственницы в положенное время, вышел какой-то хмырь и говорит, что вашим-де теперь не нужно, старых передач им хватит. Это ведь добрый знак, Валерий Осипович, это ведь означает, что их всех скоро выпустят?

– Боюсь, что не обязательно, – нахмурился он.

– Ой... Нет, знаете, оно даже лучше, что вы меня пугаете: всегда приятнее, если ожидаешь плохого, а случается хорошее, подарок для души. Я вас к себе пригласила, чтобы предупредить... Вы абсолютно правильно догадались, что это он, Всеволод Вольфович, заказал того чекиста – убитым в газете напечатанного. Я совершенно случайно... ну, услышала, как он с двумя молодчиками, типичными бандитами с Лиговки, договаривался. И деньги им, задаток, заплатил. Я тогда, знаете, как перепугалась? Вы, я так думала, убежали от чудовища чернобородого, оставили меня одну с ним наедине, овцу божью... Ну, и...

– Успокойтесь, ради бога, я же вас вовсе не обвиняю.

– Милый мой, золотой мой Валерий Осипович, нам надо держаться друг дружки, иначе нам от Всеволода Вольфовича не уберечься. А как выпустят Володю с Гороховой, он чего-нибудь придумает: у него на Лиговке, в притонах, тоже знакомые ребята имеются. И, пожалуйста, пусть ваша любимая девушка (ведь у неё вы прятались от Всеволода Вольфовича, я сразу догадалась!) не опасается меня: я в вас только друга и благодетеля моего вижу, товарища по несчастью...

– О чём разговор? – вздохнул Гривнич. – Разумеется, будем держаться вместе. На здоровой основе товарищества и взаимовыручки.

– Ага... Только, если уж таким образом дела повернулись, миленький Валерий Осипович, должна я вам кое-что рассказать... Нет, не в том смысле, чтобы оправдаться. Он, этот наш Всеволод Вольфович, видно, на войне пострадал... Инвалид в некотором смысле – вы понимаете, в каком? У него (понимаете, где?), наверное, протез... Где у мужчины всегда очень-очень горячо, у него прямо-таки ледяной холод...

– Господи помилуй, – неумело перекрестился Гривнич. – Избавь нас от лукавого... Если сумеешь, Господи.

– Значит, мало того, что тёмный делец, убийца, так ещё и нечистый. Ты смотри, они всё-таки бывают. И всё на мою голову.

Он помолчал. Потом, полагая, что начало разговора дает ему право на откровенность, спросил осторожно:

– Неужели, Лиза, вы раньше так таки и не догадывались, с кем имеете дело? Неужели не ощутили, какая предвечная пропасть открылась перед Вами? Чёрт возьми, да почувствовали ли вы себя хотя бы ведьмой на шабаше?

– Валерий Осипович, о чём вы? Я ж обычная питерская барышня. Я только пытаюсь помочь своему брату и самой спастись от ЧК. И мне совсем не хотелось бы, милый Валерий Осипович, чтобы я ещё раз когда-нибудь показалась вам ведьмой.

Лиза взглянула на него искоса, как воробышек, и впервые за всё время их знакомства показалась Гривничу жалкой и некрасивой.

### ***Глава 13. Чекист Карев***

Круминыш подошел к высокому окну и повернул фигурную ручку, открывая форточку, до которой не дотянулся бы, пожалуй, и длинный, с версту коломенскую, агент Луцкий. Тотчас же Кареву показалось, что в комнате повеяло ночной свежестью, хотя так быстро проветриться просторный кабинет не смог бы. Он посмотрел на часы: 2.10. Круминыш остался у окна, спиной к Кареву, и что он мог увидеть там, в тёмном городе, смертельно уставшему начальнику осведомительской части было совсем не интересно.



– Я вижу, товарищ Карев, что у тебя остаются сомнения насчет этого твоего агента, злосчастливого Луцкого. Ну ладно, строптивый, с польской вечной их фанаберией, так ведь надо в корень смотреть. На чём конкретно основаны твои подозрения?

– Сказать «сомнения» точнее будет, товарищ Круминьш. Сначала я только о фактах. На Луцкого, на мелочь, извиняюсь, пузатую в нашем чекистском раскладе, враги устраивают два покушения, а он отделяется лёгкими ранениями. В то время как товарищи Урицкий, Володарский и масса ответственных партийных товарищей в таких покушениях погибли. Это первый факт.

– Факт? – Круминьш взялся было за трубку и кiset, посмотрел на них, как бы не узнавая, отложил. – Едва ли. Вот ты пылился и на империалистической, и на гражданской. Скажи, на какой из войн случалось больше всяких чудес? Говоря не в поповском смысле, конечно.

– Разумеется, на гражданской. Редкий бардак царил, особенно у нас и у «зелёных». И чудес всяких – выше крыши.

– Вот! Потому что гражданская война была с точки зрения военной науки неправильной. Отсюда и гениальные открытия, которым суждено переписать историю будущих революционных войн. И ведь изобретали-то во всех лагерях: Махно – пулеметную тачанку, а наступать малыми силами, перебрасывая войска по железной дороге – генерал Май-Маевский, конные армии – уж не помню, кто у нас... Так, может быть, и Луцкому повезло, потому что покушения на него были неправильными? Кстати, с каких это пор белые террористы или эсеры орудуют финкой и кастетом? Приходило это тебе в голову, товарищ Карев?

Карев промолчал. Хорошо старику посиживать в кабинете у телефона и размышлять не спеша, а навесили бы на тебя всех питерских осведомителей, да ещё информационное обеспечение Таганцевского дела, и это следствие по двум убийствам чекистов...

– Ещё факты есть?

Карев откашлялся.

– Второй факт. Осужденный сегодня Кащенко признался, что совместно с погибшим Буревым использовал конспиративную квартиру для пьянок и

морального разложения с двумя вычисленными мною бабенками. Те ещё курвы, печати негде поставить, но к убийству оказались непричастными. Между тем выяснилось, что Буревому на тот вечер достались два билета в театр, точнее во Второй артколлектив какого-то ТЕО. Его там видели с молодой работницей, о которой, как оказалось, вовсе не знали Кащенко и жена Буревых, равно как и вышеуказанные курвы. Её мы не нашли. Я думаю, это была случайная знакомая бабника Буревых и что убита девчонка вместе с ним.

– Почему ж убита? А где тогда тело?

– Тело давно в Финском заливе, товарищ Круминьш, рыбы его едят. А убита вот почему. Я вам докладывал, что не только ключ потерян, но и что по выявившимся обстоятельствам дела наша конспиративная квартира на Лермонтовском проспекте раскрыта и не может быть далее использована. Тогда и вам, и мне не до подробностей было, вы мне поверили на слово и квартиру закрыли.

– Да, жаль явки. Пришлось отдать в горкомхоз, а хорошую замену у них вырвать ох как трудно... Эти толстые жилищные коты, эти взяточники, не боятся уже и нас, карающего меча революции!

– Докладываю теперь, товарищ Круминьш. На площадке, где эта квартира, в ночь, когда исчез Буревых, торчал какой-то субъект, поджидавший будто бы проживающего в соседней квартире совслужа. Тот же свидетель, любопытный старичок-боровичок, проживающий этажом ниже, ближе к полночи слышал на лестнице голоса, мужской и женский. Убийца знал, где эта наша явка, он подстерег Буревых, захватил форму, оружие, документы, выпытал устную информацию. Девчонка ему только мешала и, видимо, он ликвидировал её даже раньше, чем нашего сотрудника.

– Логично. Но при чём тут Луцкий?

– Узнать адрес квартиры убийца мог только от Луцкого. Получается, что именно он оглушил двумя днями раньше Луцкого, а когда убежал тот малохольный переводчик из Горьковской бражки, то и обыскал тщательно, изучил документы, но ничего не взял и не добил Луцкого. Почему? Скорее всего, нужны были документы чекиста поважнее. У Луцкого он взял только воблу, чтобы симитировать случайное нападение бродяги. Что и Луцкий, и Буревых

стали жертвой одного классового врага, на то есть два доказательства. Первое: обоим присветили в ту же область затылка, и следы остались похожие, к тому ж оба следа от кастета. Второе: единственное, что запомнилось Луцкому непосредственно перед тем, как получил по голове, была острая вонь ножного пота, а на одной ноге Буревого был найден гнилой опорок.

– Подожди, не части... Но как тогда убийца узнал адрес нашей явки?

– А вот из этой бумажки, которую я нашел в партбилете Луцкого, когда забирал у него документы перед выходом на задание, ну, с Фридманом. Посмотрите сами, товарищ Круминьш. Второй адрес – явка на Лермонтовском проспекте.

Круминьш, опять с трубкой в зубах, поднял со стола лупу и склонился над обрывком. Картинка была знакомой Кареву, вот только форма мешала. Тот в штатском был, когда, тоже с лупой, вот так же всматривался в бумажку на обложке очередной книжонки про Ната Пинкертона, купленной в ином, довоенном мире у газетчика на Сенатской площади Гельсинфорса. И так был глуп тогда Карев (тогда – не Карев), так любопытен и нетерпелив, что не дотерпел до дома, присел в первом встреченном летнем кафе и, заказав кофе по-венски и ванильное пирожное...

– Почерк хороший, выработанный. А Луцкий – малограмотен, и вот на обороте его каракули. Кто же тогда записал адреса?

– А я записал, товарищ Круминьш. И не отрицаю, что виноват. Луцкий недавно переведен с Украины, Питер ещё плохо знает. Надо было, наверное, заставить парня вызубрить наизусть.

– Тогда ты виноват побольше, чем Луцкий. Тот без сознания был, когда у него бумажку вынимали, а ты поступил необдуманно, товарищ Карев.

– Я же признал только что свою вину, – пробурчал Карев, честно встречая пронзительный взгляд Круминьша. Он мечтал теперь о дальней, более спокойной «95» камере, о том, как стонит с койки какого-нибудь интеллигентного рохлю и проснется уже в удобной просторности, заставит конвойного проветрить камеры и снова уснёт.

– Ладно, хорошо, что хоть сам понимаешь.... У тебя на Луцкого всё?

Карев вздохнул. Соблазнительное видение арестантской койки растаяло, и он с трудом припомнил, о чём ещё хотел доложить. Ах, да...

– Как-то не по-нашему вышло, знаете. Вы тогда приказали дать в газету сообщение, что убит был не Фридман, а Луцкий. Чтобы охотившиеся на Луцкого успокоились – глядишь, и подставятся. Так Луцкой, это же надо, обиделся: зачем под фамилией моей еврея (тут он черносотенное слово употребил) будете хоронить, мне-де это обидно.

У Круминьша глаза заблестели. Быстро спросил:

– Они ж оба несемейные, ведь так? И Луцкий под конспиративной фамилией? Так какая же, дьявола лысого, ему разница?

– И я ему о том, – снова вздохнул Карев. – А он кричит, что это Фридман был несемейный, а у него жена и сын остались в Бердичеве, а там руководители хреновы ещё не додумались насчет кличек для чекистов, и он два года не знает, живы его домашние или нет. А если живы, то будут его искать у самого товарища Дзержинского, а Дзержинский что теперь им скажет? И опять про Фридмана... Я бы его за черносотенные слова под арест отправил, да только у него рана на руке тогда ещё не зажила...

– А сейчас уже зажила? – явно думая о другом, осведомился зампреда. И в той же будничной тональности продолжил. – Я понимаю, что ты ему посочувствовал. У тебя ведь в Гельсинфорсе белофинны вырезали всю семью...

– Вот вы о чём, товарищ Круминьш... Да, там была такая обстановка, что и конспиративные русские имена не помогли бы. Только при чём здесь это? Я же не стал ненавидеть теперь всех финнов. И антисемитизм несовместим с пролетарским интернационализмом.

– Ну, и пускай парторг ячейки его воспитывает. Я суть дела вижу таким образом. Документы и форму чекиста добывал одиночка-налетчик, потом у него появились и подручные. Как только ВЧК в Питере образовалась, чуть ли не на второй день бандиты принялись выдавать себя за чекистов, и даже нещадные расстрелы – а с врагами революции в те времена панькались – их не останавливали. Помню первый расстрел, тогда ещё ВЧК, до переезда в Москву,

произведенный в Петрограде – самозваного князя Эболи и его подружки, запомнил уже, как её звали: грабили под видом наших сотрудников.

– А наш Луцкий с какой стороны с этим налетчиком связан, товарищ Круминьш?

– Тому, что этот бандит охотился на Луцкого, я нахожу только одно объяснение: Луцкий его знает в лицо, и бандит не хочет быть разоблаченным, напорвшись в нашей форме на Луцкого в городе. Я думаю, что в первую очередь следует прошерстить всех уволенных из ПетроЧК, а также демобилизованных солдат нашего охранного подразделения и расстрельной команды. А сам Луцкий... Признаков морального разложения не замечалось? Зубочисткой не обзавелся, чтобы после ужинов в притонах мясо рябчиков из зубов выковыривать?

– Все нормально, товарищ Круминьш. Я пошуровал в общежитии и в сундучке посмотрел. Вы же сами видели – в обмотках ходит.

– В обмотках... Наши товарищи на юге Украины в шалашах до сих пор перебиваются и голодают, в то время как мы тут живем как у Христа за пазухой. Вон, в театры ребята повадились, с девочками... А Луцкого мы сейчас проверим. Ты уж прости, что не даю тебе отдохнуть.

– О чём речь, отдохну в могиле, товарищ Круминьш, – и Карев тоскливо поглядел на часы. Скоро шоферы подадут грузовики под приговоренных, а он надеялся, что уйдет домой раньше, чем начнется погрузка. Свою работу он сделал и не обязан выполнять за других самую грязную... Эй, что там наш старик вещает?

– ...наш партиец в выглаженном френче не из тех, кто подмахивает такое постановление, не посоветовавшись в коллегии ВЧК. А Феликс Эдмундович должен был согласовать с Лениным. Этот приговор я понимаю как вещь принципиальную. Это – четкое предупреждение контрреволюционным шептунам и кухонным заговорщикам, что нянчиться с ними больше никто не будет. Попробуйте только заикнуться против народной власти – будет вам то же, что и сегодняшним! Если живете в РСФСР, жрете народный хлеб, так и думайте коммунистически, а не желаете – пожалуйте осваивать северные губернии! Может быть, кого и за границу выпустим, чтобы объедали не нас, а буржуазную

Европу. Готовится уже статья в «Правде», там основные направления борьбы с буржуазной интеллигенции изложены примерно, как я сейчас передал, но Каменев и Луначарский пока выступают против публикации. И мне точно передавали, что Ленин вот-вот устроит кровавую баню попам.

– Церковь давно напрашивается. Я всё же сомневаюсь, Леопольд Карлович, – осторожно начал Карев, понимая, что если уж Круминьш позволил себе в таком тоне упомянуть о наглаженном председателе ПетроЧК, то и ему разрешено пооткровенничать, – относительно данного конкретного дела. Стоило ли отклонять просьбы о помиловании? Я слышал, что Горький ходатайствовал за Гумилёва, и сам видел в нашем коридоре человек пять яйцеголовых просителей во главе со старичком-академиком, и мне говорили, что тот же Луначарский хлопотал ещё и за профессоров. И ведь они не могли знать деталей Постановления ПетроЧК. Как никак больше шестидесяти приговоренных к высшей мере социальной защиты, из них два десятка женщин, и обвинения встречаются пустяковые, и смертная казнь отменена год назад...

– Что решено, то решено. Кроме того, можно подумать, будто после того решения ВЦИК и расстрелов не было! А что сейчас Тухачевский проделывает с тамбовскими повстанцами – по головке гладит? Извини, товарищ Карев, но тебе придётся поехать с расстрельной командой. Заодно будет приведен в исполнение приговор Кащенко, а в таком случае, когда о бывшем видном чекисте речь, положено присутствовать члену коллегии. У нас все в отъезде, кроме меня и председателя. Я делегирую эту обязанность тебе: сердце что-то пошаливает. Вот и возьми с собою Луцкого: мне ли тебе объяснять, что если бестрепетно, как положено честному революционеру и партийцу, станет в шеренгу расстрельной команды – какие в нём могут быть сомнения? Жму руку.

Отправив за Луцким в общежитие заспанного подчаска, Карев вышел вслед за ним на улицу, под безмолвные, яркие звезды. Предосенняя свежесть заставила его зевнуть. Он прислушался. Слева стих запинаящийся топот солдатских ботинок, и ночную тишину прорезывали теперь только взвизгивания далекой разухабистой гармошки. Если бы грузовики успели выехать из гаража, в такой ночи их натужное гудение было бы уже слышно. Карев пожал плечами и вернулся в вестибюль.

Толкнул дверь каморки командира расстрельной команды, огляделся, потому что давно в ней не бывал. Товарищ Троцкий сурово глянул на Карева с пустой стены, будто осуждая антисемитскую дурость его подчиненного.

Петров спал за столом, уложив голову на скрещенные руки. Вскинулся было, сонно склонился на Карева, вернул голову на место.

– Едешь, значит? Контролировать?

– Только из-за Кащенко. Вместо Круминьша.

– Тот редкий случай, когда чем больше начальства, тем лучше.

– У тебя лишняя винтовка найдётся?

– Целых две. Двое моих в санчасти отлеживаются, – Петров выпрямился на стуле, провёл ладонями по лицу, всмотрелся в Карева. – Вот уж не ожидал я от тебя, товарищ Карев, что тебе нынче самому захочется пострелять.

– Мне не для себя винтовка, – усмехнулся Карев. – Для Луцкого, знаешь его? Круминьш приказал на деле проверить, не контрик ли замаскированный.

– Так не проверишь. Люди от страха голову теряют, способны родного брата застрелить.

– Плохо ты, товарищ Петров, о людях думаешь, – серьёзно заметил Карев.

– Ты угадал, товарищ, – и Петров снова припал к столу. – Я о людях плохо думаю. Винтовку пусть Луцкий сам возьмет в пирамиде.

– Куда поедем?

– Большой секрет. Ты у дружка своего Пожарского спроси. Он сегодня главный.

Карев от злости даже приободрился. Ведь начальник особого отдела Пожарский, в отличие от него – член коллегии. Следовательно, хитрый старик и не должен был передавать полномочия.

– Я не прощаюсь.

– А зачем? До встречи у могилы.

Хлопнув дверью, Карев порылся в пустой от недосыпа голове, прикидывая, до какого умывальника ему ближе. Оказалось, что на верхнем этаже. Там стоял неясный гул – не удивительно: приговор зачитан был днём, и в камерах «94» и «95» многие бодрствовали. Аккуратно, чтобы не забрызгать френч, он умылся

холодной водой. Вовремя. В коридоре затопали сапоги конвойных, прозвенела визгливая команда Пожарского. Началось.

Стараясь не попасться на глаза Пожарскому (как член коллегии и ответственный за ночную акцию тот имеет право командовать им, а оно надо?), Карев пробрался в вестибюль. С улицы туда доносился рокот работающих вхолостую автомобильных моторов. В шинельной толпе красноармейцев, с винтовками за плечами перетаскивающих лопаты, мелькнуло встревоженное лицо Луцкого. Карев сказал ему про винтовку и, поёживаясь, снова вышел в холодную ночь. Стояли там четыре грузовика, в кузове последнего неясно шевелились тёмные силуэты (буржуйки из предварилочки на Шпалерной, догадался Карев). Он решительно подошёл к третьей машине, распахнул дверцу и ловко забрался на переднее сиденье.

– Товарищ чекист, покажите своё удостоверение, – занял в темноте водитель.

Однако Карев не услышал его. Едва вдохнув мирный запах бензина и кожи, провалился он в крепкий сон.

Проснулся от телесной тесноты. «Если я в трамвае, что за железная палка врезается в ногу?» – удивился, и почти сразу же всё вспомнил. Справа, держа винтовку между коленями, выставил свой польский шнобель Луцкий, слева его прижало к шоферу. Вокруг уже серело. Впереди, в клочьях тумана, темнеет препятствие, вроде как высокая стена. Шофер снова занял:

– Как мне теперь прикажешь передачи переключать? Может, ты теперь, товарищ чекист, за меня станешь передачи переключать? А ты, солдатик, освободи кабину, Христом-Богом молю...

– Агент Луцкий! К машине! И живо мне в кузов! – гаркнул Карев.

– Вот ещё – в кузов... Не фигу себе хренотень! Я раненый, а мне винтовку некоторые беспартийные суют, – агрессивно пожаловался Луцкий, и не пошевелившись.

– Приказа не слышал? – тихо поинтересовался Карев и завозился, пытаясь дотянуться до кобуры.

Луцкий, ворча, выбрался наружу, с треском захлопнул дверцу и, прежде чем исчезнуть, взгляделся укоризненно в Карева и покачал головой.



– Почему стоим?

– Да мост разведён, товарищ чекист, – угодливо пояснил водитель. – Мы у Литейного моста, чуток не доехали до Финляндского вокзала.

Снова прикрыл Карев глаза, но уснуть не смог. То ли успел выспаться, то ли злоба мешала. Неужели те, кто планировали акцию, забыли, что в Питере на ночь мосты через Неву разводятся? Отправление с Финляндского вокзала... Значит, специальным поездом. Нет в Советской России более медленного транспорта, чем экстраординарный поезд.

Однако, к немалому удивлению Карева, как только добрались до Финляндского вокзала, дело пошло в убыстряющемся темпе, почти организованно, для чего и ему самому пришлось-таки побегать. Оцепление места выгрузки из грузовиков и погрузки на игрушечный поезд Ириновской узкоколейной железной дороги, расстановка караулов на площадках вагонов и в проходах, немедленное отправление – и едва успели Пожарский и Петров, закрывшись с Каревым в командирском купе, перемыть ему косточки как манкировавшему, по мнению нервного Пожарского, своими обязанностями, а в частности, не по-товарищески проспавшего отправку с Гороховой (тут и Петров добавил свои рубль-двадцать), как паровозик засвистел, вагон остановился, будто с разбегу, дёрнулся и замер уже накрепко.

Карев не поверил, что приехали – или не захотелось ему. Снаружи почти совсем рассвело. Пожарский по пояс высунулся в окно. Из-за его плеча увидел Карев, что к вагону самолично подбегает седенький машинист. Отдышался, поднес два пальца к железнодорожной фуражке:

– Так что доставил согласно приказу. Станция «Бернгардовка». Платформа тут не предусмотрена, придётся спрыгивать...

– Спасибо, отец, – и повернулся начальник к Петрову. – Давай действуй.

Карев задержался на площадке. И кому понадобилось устраивать здесь станцию? Типичная финская глушь. Два дерева торчат, да торфяные болота до самого горизонта. «Если вы дорожите рассудком и жизнью, держитесь подальше от торфяных болот!» И рыскающая болотами в ночи огромная собака с намазанной фосфором мордой... Такая уж дешёвка эти страшные сказочки, а прочитал, уже подростком, и не мог заснуть... Тут его толкнули между лопаток,

Карев обернулся, увидел тупое лицо солдата, спрыгнул и присоединился к Пожарскому. Тот заговорил быстро:

– Тебе было бы сподручнее сейчас командовать, Тойво. Твоя возня с осведомителями всё же ближе к сегодняшнему дерьму. А я только и думаю о партизанском отряде, что исчез под Гродно. И польские газеты перелопачиваю – молчат паны... Шифровки-то к моим через секретный отдел проходили. Я и боюсь, что из-за этих... звездострадателей погибли ребята.

– Ага, ты у нас, значит, благородным делом занят, а меня как сунули носом в грязь, там и сиди... Моисей, ты говорил, что Кащенко просил тебя ночью прийти переговорить?

– Да, он предпочёл бы с тобой, Тойво, но тебя всё удерживал старик Круминьш. Семён настаивает: он заслужил, чтобы его расстреляли не вместе со всякой контрреволюционной мразью. Я – за.

– А я и сам об этом думал. И о том, что наша служба после войны становится ещё опаснее... Вон там, у большой сосны. И с Семёна начать. Пока контрики выгружаются. Им же ещё яму копать... Нет, ты только посмотри, какой развели цирлих-манирлих!

И они засмотрелись, как двое заключенных помогали женщинам спрыгивать с подножки зелёного, для дачников предназначенного вагона. Потом лицо Пожарского исказилось, и он напомнил грубовато:

– Так я прикажу Петрову. Петров, подойди!

Петров распорядился. Они закурили втроём папиросы Пожарского, поглядывая, как осужденные-мужчины, побуждаемые солдатскими прикладами, принимаются копать общую могилу.

Отделённый привёл Кащенко и десяток красноармейцев.

– Здорово, Семён! – сказал Пожарский. – Тебе туда, под большую сосну. Не желаешь ли закурить?

– Да накурился я, во рту уже дерёт, – ответил Кащенко на ходу.

Отделённый выстроил солдат. Посмотрел на Петрова, тот на Пожарского. Пожарский спросил:

– Желаешь чего сказать, Семён?

– А чего мне сказать? Хотя погулял в молодые свои года. Без баб и водки скучная выходит у вас мировая революция!

На слове «революция» пустил Кащенко петуха, рот у него жалко задергался, и Петров поспешно подал знак отделенному.

– Отделение... Товсь! Отделение... Пли!

Нестройный треск выстрелов поднял в воздух пару уток с недалекого, скрытого в торфяниках озера. Заойкали женщины, стайкой сидящие у поезда. Три начальника враз обнажили и наклонили головы, и нестройно, порознь, снова надели фуражки.

– К ноге! На ремень! Разойдись.

Петров подошел к Кащенко, отбросил с его лица кусок сосновой коры. Вернулся к начальникам. Пожал плечами:

– А не миновал Семёну своей доли с контриками вместе гнить. Слишком жирно – закапывать персонально. Не забыть бы теперь, чтобы оттащили в общую яму.

– Ты и не забудь, – окрысился Пожарский.

Подошел Луцкий, сгорбленный, бледный, волоча винтовку, как дубину.

– Где разгуливаешь? – накинулся на него Карев, сам удивляясь своей злости. – Если забыл, зачем ты здесь, я тебе враз напомню.

– Не по чину мне начальника Секретки в расход пускать, товарищ Карев! И лучше бы ты мне наган вернул, я к этой дуре со штыком непривычный. И ещё вопрос в желудке возникает – как насчет завтрака?

Начальники переглянулись. Петров усмехнулся углом рта.

– Завтрак? Ты и об обеде забудешь, обещаю. Пойди лучше баб постереги пока. От моих ухажеров, есть там такие.

Солнце поднялось уже довольно высоко, а яма, несмотря на мат и затрещины солдат, углублялась медленно. Начальники уселись на траву в тени последнего вагона и всесторонне обсудили положение. Петров ещё раз сходил к яме и, вернувшись, заверил, что по минимуму хватит. Карев советовал не торопиться, потому что буржуи, приват-доценты всякие – народ трусливый, а местность ровная, спрятаться негде, и в болота особенно не убежишь. Однако Пожарский всерьёз предупредил, что в толпе есть и офицеры, они могут

сговориться, а бросаться с лопатами или чтобы горло зубами порвать, станут именно на них троих. Петров подтвердил, что такие случаи бывали.

Наконец, Пожарский решился, поднялся с зелёной, несмотря на конец августа, травы, отряхнул бриджи и отдал распоряжения Петрову. Закончил он так:

– И предупреди вот о чём. Если кто из твоих халдеев хоть пальцем тронет арестованную, живую или мертвую, застрелю на месте своей рукою.

Карев тоже встал. Молча они наблюдали, как вылезают буржуи из ямы, как складывают в кучу лопаты, как возмущаются, услышав приказ Петрова раздеться до белья. Снова пошли в ход приклады, постепенно толпа превратилась в грязно-белую, а возле груды лопат выросли бугры тёмных тряпок. Сквозь крик и визг пробился густой бас, требующий священника. Теперь солдаты отделили половину толпы и погнали к яме, рассредоточивая по её краю.

Начальники переглянулись и подошли поближе. Карев на ходу расстегнул кобуру. Тем временем Петров выстроил напротив ямы два отделения, и в правофланговом Карев с облегчением узнал Луцкого. Третье отделение сдерживало возле сосен остаток толпы. Петров оглянулся, поймал взгляд Пожарского, отдал неслышную в вое толпы команду, и солдаты принялись сталкивать осужденных в яму. Потом подошли сами ко краю, наклонили винтовки и сделали два залпа. Над ямой поднялись серые дымки. Крик усилился.

Теперь солдаты на три шага отступили от ямы, и Карев встал рядом с белым, как бумага, Луцким. Пригнали вторую партию, и её уже труднее было загнать в яму, откуда раздавались вопли и стоны раненых. Пожилые, лысые мужчины становились на колени, цеплялись за траву, выкрикивали бессмысленные мольбы и обещания. Среди них Карев с изумлением увидел полностью одетого, в тройке, некрасивого молодого человека с короткой стрижкой. Он спокойно стоял на краю ямы, докуривая папиросу. Провел взглядом по шеренге солдат, и оказалось, что у него правая половина лица разбита прикладом – за то, догадался Карев, что не захотел раздеваться или, ещё раньше, копать. Офицер выбросил кровавый окурок, сощурился на солнце, улыбнулся, легко уклонился от штыка, которым попытался пырнуть его озверевший Луцкий, и спрыгнул в яму. Луцкий вместе с шеренгой двинулся вперед и с краю ямы принялся палить в неё, пока не кончилась обойма. Карев предпочел остаться на

месте. Не на что ему там было смотреть. Достаточно и того, что крик разрывал уши.

#### **Глава 14. Анна Ахматова**

На Невском, как только сошли они с трамвая, Гривнич взял Лизу под руку. Чернобородый благодетель приказал им ехать к Ахматовой вдвоём: ему вдруг пришло в голову, что парочка меньше привлечёт внимания. Гривнич допускал, что председатель Юбилейного комитета просто не знает, о чём ему говорить с девушкой, оставаясь с нею наедине. Можно подумать, что он, Валерий, знает...

Он не отошел ещё от чуткой остроты чувственных восприятий, вызванной общением с Marie и, в меньшей степени, с Paul'ем, доверчивые прикосновения Лизиной груди его отвлекали. Поэтому не сразу заметил толпу, собравшуюся у приклеенной на афишную тумбу газеты, и не понял, отчего Лиза охнула, вырвала свою руку и побежала к тумбе.

Подошел поспешно, из-за её плеча прочёл: «Петроградская правда»... «Сообщение ВЧК “О раскрытом в Петрограде заговоре против Советской власти”»... «Постановление Петроградской Губчека о расстреле участников Таганцевского заговора... Применить высшую меру социальной защиты к следующим... 43. Силантьев Владимир Аркадьевич, 19 лет, б. дворянин, б. гимназист, безработный, беспартийный. Участник петроградской Б.О., распространял прокламации к. револ. содержания, обещал принять участие в восстании и привлечь б. одноклассников по частной гимназии Шаповаленки»... Господи, сколько же их? Перечислены по алфавиту... Есть ли в списке Гумилёв?

– Что такое «Б.О.»? – закричала Лиза гневно. – Что такое «к. револ. содержания»?

Краем глаза увидел Гривнич, что народ метнулся от них в стороны. Прошептал Лизе на ухо, едва не вышибив себе глаз полем её шляпки:

– Тише, милая, тише: вокруг могут быть сексоты... «К. револ. содержания» – это наверняка «контрреволюционного содержания», а «Б.О.» – что же такое «Б.О.»?

– Боевая организация – вот что такое! Газеты читать научитесь, барышня!

Гривнич оглянулся: котелок над толстой мордой, треснувший целлулоидный воротничок, ухмыляется выжидающе... Знакомая горячая волна вдруг вскипела в Гривниче, и, уже на гребне её, вдруг ощутил он, что в следующее мгновение заедет в эту рожу кулаком. И будет прав – это ведь не из-за очереди в кассу скандалить или из-за кресла, занятого в партере для дамы! Тут же вспомнил о портфеле, с которым никак нельзя попадать в милицию. Красная пелена рассеялась перед его глазами, он с облегчением убедился, что Лиза никуда не исчезла, глазами вернулся к газете, поискал среди слепо напечатанных – уже на пределе распознавания – строчек... И наткнулся: «13. Гумилёв, Николай Степанович, 33 л., б. дворянин, филолог, поэт, член коллегии «Изд-ва Всемирной литературы», беспартийный, б. офицер. Участник Петроградской Б.О., активно содействовал составлению прокламаций к. револ. содержания, обещал связать с организацией в момент восстания группу интеллигентов, которая активно примет участие в восстании, получал от организации деньги на технические надобности». Вот и всё.

– Как они посмели убить Володю?!

Он снова оглянулся. Люди, оставившие вокруг них с Лизой свободный полукруг, не уходили. Они не шли по своим делам, ошеломлённые тем, что прочитали. Отходили в сторону, стояли молча и неподвижно.

– Лиза, пойдём. Надо идти.

Она позволила снова взять себя под руку, увести от тумбы. Молодчик в котелке не увязался за ними. Гривнич лихорадочно обдумывал, стоит ли отвезить её назад в гостиницу. Темнота вестибюля, гнусная морда Абрамки, неизбежные попытки утешения со стороны мнимого Всеволода Вольфовича – о! легко догадаться, какого именно утешения... Нет, идти к Ахматовой, идти вдвоём. Но удобно ли сейчас к Анне Андреевне? Боже, о чём он это? Ведь сам Гумилёв просил...

– Нужно Володю похоронить. Надо ехать на Гороховую, пусть отдадут Володю.

– Хорошо, мы поедем, только потом. Надобно ведь похороны подготовить. Поэтому мы пойдём сперва к Ахматовой, на набережную Фонтанки. Тут совсем близко уже.

Только везде по Садовой уже поработали расклейщики газеты, и всюду возле желтоватых, столярным клеем воняющих листов стояли люди. Питерцы подходили, читали, отходили недалеко и оставались стоять. Как соляные столбы, как Лотовы жены. Будто была объявлена война – вот так же народ и встретил бы объявление войны сейчас, когда уже знает её настоящую цену, когда семь мучительных лет отмерено от такого же лета 1914 года, от незабываемых толп, бесновавшихся здесь в восторге патриотизма и рвущихся прямо на Берлин...

– Какая гнусность! Как они посмели!

Проходили уже по мосту, над Фонтанкой, и Гривнич покрепче прижал Лизу к себе. Уж лучше бы заплакала наконец, завизжала! Колотила бы его, невинного, кулачками! Лабиринт мрачных питерских дворов, едва ли изменившихся со времен Достоевского, и вот он, нужный им четвертый, начиная с улицы Пестеля, двор и старорежимный, под треугольным навесиком номер «Фонтанка 18», и Ольгина 28-я квартира в перечне, написанном мелом у чёрного хода на грязной, будто закопченной стене. Стояла здесь чугунная садовая скамейка, и Гривнич соблазнился было трусливой мыслью оставить ожидать на ней Лизу, чтобы Ольга не увидела эту обычную девушку рядом с ним, не истолковала превратно их отношения – однако преодолел свой эгоизм. Поднялись по чёрной лестнице, и когда дергал Гривнич за рукоятку звонка, его поразило раздражающе неуместное сейчас открытие: восхитительная, неземная Ольга все революционные годы взлетала по такой же заросшей грязью лестнице, среди таких же миазмов, что и он, что и остальные её поклонники-петербуржцы.

Цепочку накинув, дверь приоткрыла толстая, монументальная старуха в переднике, спросила, к кому им надо.

– К Анне Андреевне Ахматовой, секретарь Достоевской юбилейной комиссии Валерий Бренич и курьер комиссии Силантьева. По делу.

– Вроде как не первоученые... Али прикидываетесь?

– Что такое? – удивился Гривнич.

– Как они могли, бабушка? – спросила Лиза.

Дверь захлопнулась. Открылась снова на щель поуже.

– Анна Андреевна сейгодь никого не принимает и вас также.

– Доложи, бабка, Анне Андреевне, – свистящим шепотом, с поразившей его самого злобой, – что Бренич также от Николая Степановича, из тюрьмы.

Дверь старуха оставила на цепочке. Поэтому Гривнич услышал после тяжких её шагов и довольно продолжительного молчания легкую поступь и шелест шелкового платья. В щели возникло лицо Ахматовой, а полузабытый голос произнес:

– Господи, да ведь это вы, Валерий! Наша своенравная Пантелеевна неузнаваемо переврала вашу фамилию... Вас я впущу, потому что не могу представить в роли провокатора из ЧК. Вот только не знаю, комплимент ли это в наши дни. Входите же, входите – и вы, милая...

Лязгнула цепочка, потом дверь отсекала запахи чёрной лестницы, и прежде чем они сменились кухонными, пахнуло от платья Ахматовой тонкими духами. Они проследовали через кухню, где Пантелеевна, возвышающаяся у плиты, подозрительным взглядом окинула Лизу.

В комнате, куда провела их Ахматова, они, как о том догадался Гривнич, заняли места в традиционной мизансцене: Анна Андреевна уселась в высоком кресле, посетители рядышком на кушетке напротив.

– Вот не хотелось бы мне сейчас услышать, Валерий Иосифович (я ведь не ошиблась?), что эта милая девушка, ваше протеже, написала гениальные стихи и станет их мне сейчас читать...

Лиза подняла голову и начала всматриваться в Ахматову.

– Это же вы... Мы ведь ехали к вам...

– Анна Андреевна, позвольте представить вам Лизу Силантьеву, студентку ВХУТЕМАСа, подрабатывает курьером в юбилейной комиссии, а я секретарем, – поспешно заговорил Гривнич. – Лиза только что узнала о том, что её брат расстрелян по Таганцевскому делу. Я искренне огорчен, если и вам принёс горестную весть...

– Вы о казни Коли? Я уже извещена... Девочка в шоке. Я не утешительница, а отведу-ка её к Пантелеевне: и утешит, и чаем с травами напоит.

Оставшись один, Гривнич осмотрелся. Вещный мирок комнаты, в отсутствие её повелительницы, начал выныривать из небытия, будто проявляясь на фотопластинке – предметы совсем обычные, индивидуальность поэтессы никак



не отражающие: случайная чужая мебель, зеркала, занавески... Книги, а как же иначе, книги: частью так и не распакованные, в связках, частью в стопках на столе. Любопытно стало, выбросила ли эта вечная кочевница, праправнучка хана Ахмата, подаренный им рукописный сборничек или всё-таки возит с квартиры на квартиру...

Ахматова возвратилась на свой трон, и комната вокруг неё снова растаяла, расплылась, как фон на женских портретах Ренуара.

– Пристроила... Итак, вы должны были выполнить поручение Коли. Лучше бы нам обойтись без посторонних ушей.

Гривнич рассказал, с особенной остротой чувствуя неточность подобранных им слов, неуклюжесть фраз. В конце вспомнился ему последний, мужественно косящий взгляд Гумилёва, ободряющий случайного знакомого, его ободряющего, которому как раз и предстояло вернуться в мир живых – и он задохнулся, замолчал.

И Ахматова застыла на своём троне. Потом заломила брови-крылья под чёрной чёлкой и заговорила равнодушно:

– Так похоже на Колю... Жену-клушу бережет от тюремных подробностей, а меня? Меня незачем беречь, я стальная, я из камня... Я о Колиной казни знаю уже несколько дней, а рассказал мне Колин и мой приятель, Михаил Леонидович Лозинский. Мише тоже и в голову не пришло уберечь меня от подробностей. Ему же рассказал человек, имени которого Миша не назвал, но я догадалась сама. Не так много в нашем поэтическом таборе молодчиков, вступивших в большевики и якшающихся с чекистами.

– Брик?

– Он сам служит в ВЧК и в Питер не приезжал. Оставим это...

– Сергей Бобров!

– И я пришла к такому же мнению. Впрочем, вульгарность выражений (а Михаил Леонидович как переводчик отменно точен в стилистических деталях), чрезмерна даже для Боброва. Она воспроизводит, по-видимому, слог чекиста из Особого отдела, принимавшего участие в расстреле. Вот так, примерно: «Да... Этот ваш Гумилёв... Нам, большевикам, это смешно. Но, знаете, шикарно умер. Я слышал из первых рук (то есть от чекистов, членов расстрельной команды).

Улыбался, докурил папиросу... Фанфаронство, конечно. Но даже на ребят из особого отдела произвел впечатление. Пустое молодечество, но все-таки крепкий тип. Мало кто так умирает...».

– Кое-что не сходится, Анна Андреевна. Нет никаких «членов» расстрельной команды, расстреливают солдаты, тупые скоты (один такой меня конвоировал); ручаюсь, они и не слышали имени Гумилёва.

– Да? Я могла в деталях и ошибиться... Да нет, лгу я сама себе – не могла. «Шикарно умер...», – и она запустила руку в отточенный жест, презрительно отбрасывающий это «шикарно». – А как ещё мог он умереть, этот вечный мальчишка? Он ведь всю жизнь напролёт доказывал себе, что не слаб, не уродлив, не трус! Меня другое убивает: говорят, что яма оказалась мелкой для шестидесяти человек, и когда её забросали землей, многие ещё были живы. Земля шевелилась.

– Возвращается дикость гражданской войны, – неуверенно, после мучительной паузы (хорошо, что Лизу увели!) отозвался Гривнич.

– Об этом нельзя вспоминать, нельзя себе представлять, этого не запихнешь в стихи, – монотонно, будто именно и прикидывала, как сказанное зарифмовать, выговорила Ахматова. – Большевики начинают играть не по правилам. После их победы должно было начаться примирение, а не возвращение террора. Мы, оказавшиеся в западне, должны всё хорошо обдумать. А Коля... Мне казалось, что он уже не раз умирал: то в Африканских пустынях, а то под этими их шрапнелями на фронте. Он ведь и казнь свою поэтически предугадал – в «Заблудившемся трамвае», года два назад...

– Я знаю, читал...

– Вещь для вас длинновата – утомит.

– Анна Андреевна, я недостоин вашей иронии.

– Это что-то новое, это вы мне потом когда-нибудь поясните, – сверкнула она глазами из-под крылатых бровей. – А я две строфы для себя сейчас прочту, не для вас.

Вывеска... кровью налитые буквы

Гласят: «Зеленная», – знаю, тут

Вместо капусты и вместо брюквы

Мёртвые головы продают.

В красной рубашке, с лицом, как вымя,  
 Голову срезал палач и мне,  
 Она лежала вместе с другими  
 Здесь, в ящике скользком, на самом дне.

– Я теперь припоминаю, именно такое, «как вымя», лицо у того солдата из расстрельной команды, – согласился Гривнич и упрямо продолжил. – Однако предвидение, совершенное в горячке поэтического бреда, и хладнокровное политическое убийство – для меня явления слишком уж разные, различных уровней.

– Похоже, вы сами не дописались до той стадии поэтического помешательства, когда реальная жизнь становится бледной тенью прожитой в стихах, – констатировала Ахматова и всмотрелась, не видя, в лицо гостя с таким царственным выражением, что следовало вскочить, пробормотать извинения и ретироваться. – И разве это не единственное теперь утешение, что стихи Коли будут жить, долго ещё проживут после того, когда и наши с вами существования прервутся? Я благодарна вам, Валерий Иосифович, за то, что вы так добросовестно выполнили поручение... Что это вы достаете из кармана? Неужели рукопись?

– Не посмел бы я огорчить вас рукописью, Анна Андреевна, – сыронизировал Гривнич, наконец-то почувствовав под ногами твердую почву. – Вас просят взять на себя членство в Юбилейном комитете...

Ахматова убрала конверт с бумагами под письменный прибор на столе, стопку дензнаков оставила рядом, сверху. Бросила быстрый взгляд на дверь. Потом сказала:

– Я уже об этом начинала говорить. А писала ещё в прошлом году, пока не напечатано. Называется «Согражданам» – каково размахалась наша комнатная плакса? Там такие строчки:

Никто нам не хотел помочь  
 За то, что мы остались дома.  
 За то, что город свой любя,  
 А не крылатую свободу,  
 Мы сохранили для себя

Его дворцы, огонь и воду.

– «Лишаем тебя огня и воды» – это ведь римская формула изгнания, Анна Андреевна? – почтительно осведомился Гривнич. Он хотел ещё добавить, что сказано замечательно точно, сказано за многих, чувствовавших то же, но не умеющих выразить. Хотел, но пока собрался с духом, Ахматова его опередила.

– Да, наверное, я не помню. Выплывает само, – дёрнула она подбородком, отбрасывая лишнее. – Тогда никто не хотел помочь, а теперь уже начали нас уничтожать, Валерий Иосифович. Вырезáть, как иудеи народ Амалика. И эту беду я, несчастная Кассандра с Фонтанки, столпница на паркете, как называет меня Мандельштам, тоже успела напрогнозировать. То прошлогоднее стихотворение кончается предвидением, что Петербург для нас «невольным памятником будет».

Гривнич вздрогнул, а Ахматова взмахнула чёлкой, продолжая:

– Я не вполне понимаю большевиков и Ленина. Ведь они действительно дали землю крестьянам, на что не решились ни в одной демократической европейской стране. Они же сумели очаровать Блока, человека абсолютного вкуса, благородства и честности. А теперь... Боюсь, нам дадут понять, что для коммунистических хозяев страны звук пустой и «скифство», за которое держатся философы «Вольфилы», и наша бескорыстная и жертвенная любовь к народу, и наш русский и петербургский патриотизм – им подай мировую революцию. А мы вместе со всем русским народом должны в ней сгореть. Я поддерживаю проект так называемого Юбилейного комитета, кто бы за ним не стоял. Я голосую, как теперь говорят, за него двумя руками, – и она, не отрывая локтей от подлокотников кресла, воздела руки в жесте, коим египетские жрицы призывали бога Амона. – Но почти убеждена, что вам не удастся уговорить практичных и угревшихся у кормушки москвичей. Однако в любом случае большевикам надо подать знак! Пока мы ещё не отупели от страха, пока ещё чувствуем себя людьми.

Тут дверь распахнулась, и явилось перед ними видение, ибо трудно было обозначить Ольгу Глебову, впорхнувшую в комнату, менее воздушным словом.

– Какая неожиданность! Это же Валерий! И ты мне, Аня, ничего не говоришь!

– Здравствуйте, Ольга Афанасьевна...

Светло-сиреневая блузка без талии, светло-зелёная юбка, бордовые чулки на ногах, не нуждающихся ни в каких украшениях, жёлто-золотистый тюрбан и из-под него – всё те же девичьи лучистые глаза и задорный смеющийся рот... Начала пируэт и оборвала, замерев у стола. Взметнулся и опал вихрь духов, резких и пряных.

– Гонорар! Как здорово! Заткнёшь Пантелеевне рот хоть на пару дней, а то у неё одна песня: Ольга-то наша нисколько не зарабатывает, а Анна Андреевна первоученых ругает совершенно бесплатно.

– А это кто – первоученые? – осмелился спросить Гривнич.

– Да начинающие гении – вон к Ане табунами ходят. Одна сейчас на кухне у Пантелеевны белугой ревет... Ну, пойду я, не стану вам мешать.

Стукнула дверь. Валерий закрыл рот и перевёл дыхание.

Ахматова присмотрелась к нему, усмехнулась неохотно.

– Я и забыла, что вы за Ольгой в своё время... Она-то всех своих поклонников помнит, до единого. Для вас надушилась и накрасилась – а вы небось и не заметили? В прошлом году от неё муж убежал в Париж, чего Ольга от него почему-то не ожидала. Сбежал с Бякой из Камерного театра (знаете её?), с вострушкой, сперва в Крым...

– С Бякой?

– Ну, если угодно, с очаровательной Верочкой де Боссе, той, которая на Мандельштама «через плечо поглядела». Ольга почему-то была убеждена, что её миниатюрный Судейкин не сможет окончательно презреть узы церковного брака – увы! С тех пор она и выбирает себе следующую жертву, для чего большей частью валяется на диване. Я ей советую женить на себе банкира, достаточно ещё крепкого, чтобы её на руках носил – да только где его сейчас возьмёшь, банкира? Вы такого, случайно, не знаете?

– Может быть, и знаю, – пробурчал Гривнич, – да только знакомить не стану.

– У вас у самого шансов нет, Валерий, в противном случае Ольга не улетучилась бы. Не оставила бы вас наедине со мной.

Гривнич присмотрелся. Ведь Анна Андреевна только что рассталась со вторым мужем и, как бы ни подсмеивалась над Ольгой, сама находится в

подобном положении. Уже выбран, наверное, выбран уже ею, грустною красавицей, из грубого мужского стада новый счастливец – или страдалец, это уж с какой стороны посмотреть. Конечно, Анна Андреевна не красилась сегодня, она в трауре и не накинула знаменитую «ложноклассическую шаль», однако вон они, чёрные четки на гребне, однако ни следа чахотки, и что это было за кокетство – «Седая прядь над розовым виском»? Розовый висок на месте, а где седая прядь?

– А седая прядь спрятана, Валерий Иосифович, – услышал вдруг он. – Как автор я поэтизирую седину, как женщина... О, вы удивлены другим – что я догадалась. Признаться, я с детства читаю чужие мысли и вижу чужие сны, и поверьте, радости мне эти ведьмовские дары приносят мало.

– Простите, Анна Андреевна.

– Не извиняйтесь, произнесенный комплимент порой сильнее льстит тщеславию. Знаете, я ведь не только такую чепуху в людях вижу. Я поняла, что вы разуверились в своей поэтической карьере.

Гривнич поднялся, бормоча слова благодарности.

– Садитесь, – тихо распорядилась Ахматова. – Спасибо, что согласились меня выслушать. Меня давно занимает один парадокс. Читатели стихами увлекаются в молодости, однако поэты продолжают их создавать и в зрелые годы – вспомните «Последнюю любовь» Тютчева, «Мариенбадскую элегию» великого старца Гете. Не исключения ли это? Если попробовать подчитать по отдельности тех, кто в юности, пылая, хоть единожды зарифмовал «любовь» и «вновь», затем напечатавших хотя бы один свой стихотворный опус, затем авторов единственного сборника и, наконец, продолжающих работать в поэзии и в сорок, а? Получится весьма пологий спуск. Я-то, допустим, продолжаю писать стихи просто потому, что ничего другого не умею. Вам же пора искать свой особый путь. Вы ведь переводите?

– Скорее как ремесленник, Анна Андреевна.

– Ремесленниками я бы назвала переводчиков, основное достоинство которых состоит в знании языка оригинала. Переводчиков-художников (я не говорю о больших поэтах) совсем не много, и Миша Лозинский один из них. Знаете, на что он сейчас замахивается – на полный перевод терцинами «Божественной комедии»! Меня многие уверяли, что переводы вытягивают из

человека соки, необходимые для собственного творчества, но у Миши тот случай, когда чужое великое творение, напротив, вдохновляет на подвиг. Вы ведь с английского переводите?

– С английского больше, – проглотив комок в горле, пробормотал Гривнич.  
– А знаю ещё три языка.

– Дело в том, что в переводах с английского образовалась лакуна, мне Миша говорил, Лозинский. Там из литераторов подвизается один Чуковский, прихотливый и случайный. Это же надо: «Я Уволт Увитман, сын Мангаттана»! Или его переводы из Джека Лондона, словно бы нашлепанные одним пальцем на «Ундервуде»... Вот поле для вас! Вы сегодня очень хорошо рассказывали о чекистской тюрьме, Валерий Иосифович. Вот если бы вам непосредственные впечатления заменить столь же эмоциональным восприятием чужого, на чужом языке текста, вы смогли бы очень много сделать для русской культуры. Обещайте мне подумать над моими словами. Мы ведь с вами увидимся в Новгороде на заседании Юбилейного комитета?

На кухне к Гривничу кинулась заплаканная простушка, и он не сразу распознал в ней Лизу:

– Валерий Осипович! Нельзя похоронить Володю! Авдотья Пантелеевна говорит, что его уже закопали чекисты. Чтобы душенька его вечного покоя не знала, говорит. Что же теперь делать, Валерий Осипович?

Ахматова выскользнула из-за спины Гривнича, обняла Лизу за плечи:

– Бедная вы моя! У меня в той же могиле муж лежит, а видите, я не плачу. Ничего, что сейчас мы не знаем, где их братская могила. Я в мужчинах немного разбираюсь: они ещё болтливее, чём мы. Пройдёт время, кто-нибудь из этих убийц обязательно проболтается и назовёт место. Тогда мы приедем туда, положим цветы и поплачем над могилой. А панихиду можно и сегодня заказать.

– Вот и я ж про то же самое талдычу – про панихиду, про сорокоуст, – влезла в разговор Пантелеевна, откидывая на двери цепочку. – Для душеньки убиенного самые полезные мероприятия.

Гривнич попросил передать привет Ольге Афанасьевне и попрощался.

На лестнице услышал он отрывистые звуки шарманки, мелодия будто знакомая, но до того упрощенная, что не смог узнать. Во дворе действительно

маячил тощий шарманщик, вокруг него прыгали дети, а мнимый Всеволод Вольфович сидел на скамейке и созерцал эту жанровую сцену, сомкнутые руки утвердив на набалдашнике трости, а подбородок на них. У ног его Гривнич с изумлением увидел свой саквояж. Рядом второй.

– Дорогой, милый Всеволод Вольфович, моего Володю расстреляли, и даже могилка его неизвестно где, – бросилась к скамейке Лиза.

– Бедная, бедная, – погладил её по голове Чернобородый. – Я же вас предупреждал, готовил к скорбной вести. И ещё одна беда: остались вы, Лизанька, в чём стоите, я не смог взять ваш ключ.

Гривнич встrepенулся:

– Был пожар, Всеволод Вольфович? Цел ли портфель?

– Портфель цел, а вот гостиница наша приказала долго жить, – усмехнулся Гривничу Чёрный человек из-за повисшей на нём горько рыдающей Лизы. – Пожар не пожар, а ревизия. Некий рабочий контроль с милиционером. Пришлось ретироваться. Ну же, успокойтесь, Лизанька, мы купим вам новое замечательное платье...

– И панихиду нужно заказать, миленький Всеволод Вольфович.

– И панихиду закажем. А как вы, Валерий Осипович, управились сегодня? Вид у вас какой-то ошалелый...

– Договорился, всё хорошо. Анна Андреевна приедет. Так теперь на Николаевский вокзал будет нам поход?

– Нет, нанимаем извозчика до Колпина, и только там сядем на поезд, – и одной рукой обнимая бедную Лизу, другой поднял он тросточку, как свой меч – Роланд. – В Москву! В Москву! В Москву!

**Полусвиток московский, короткий**

**Глава 15. Сидней Рейли**



В то самое время, когда фондообразователь, секретарь и курьер Юбилейной комиссии совершали последний свой бросок до Москвы, когда тряслись они на извозчике, нанятом на станции Химки Николаевской железной дороги, английский шпион Сидней Рейли валялся на полотах и лениво сравнивал Москву с Петроградом.

В наименьшей степени турист, он оценивал преимущества и недостатки новой столицы РСФСР с точки зрения своей хлопотной профессии. Получалось, что в Петрограде наблюдается больше порядка, а в Москве – обычной российской безалаберности. Сразу за цивилизованными островками центра с широкими улицами и несколькими небоскребами в семь, даже в девять этажей, с красавцем «Метрополем» на Моховой и с универсальным магазином «Мюр и Мерилиз» (английское название фирмы в центре Москвы, что ни говори, греет), начинается азиатчина: от мощного краснокирпичного замка-паука во всех направлениях разбегаются нити-улицы, а переулки, соединяя их по окружности, завершают представление иноземца о плане столицы как о паутине, из которой, словно завязшие мухи, торчат церкви. Если раньше обывателя или домовладение ещё можно было отыскать, зная название приходского храма (какого-нибудь Пимена Старого на Козихе, о my God!), то теперь, когда в головах градоначальников во главе с лорд-мэром, известным большевиком Каменевым, господствует коммунистический атеизм, тут сам чёрт ногу сломит, пока кого-нибудь найдёт. Есть, в общем, где человечку ухорониться. А с другой стороны, и босоты, и бандитов не в пример больше угнездиться может в кривых московских закоулочках. Вот и не знаешь, на кого напорешься, за угол завернув – на гопника с финкой, сыщика или чекиста.

Однако же и тот, кто пришел бы к выводу, что большой порядок в Петрограде обеспечивается его правильной европейской планировкой, не принял бы во внимание извечных черт русского национального характера, если этот ученый термин уместно применить к особенностям поведения белого славянского дикаря, выявленным при сравнении, допустим, с чёрным африканским. Посели русского в тот же Малый Трианон, он и там всё загадит, как поступили с Таврическим дворцом в 1918 году депутаты Всероссийского крестьянского съезда. Рейли усмехнулся, вспомнив анекдот какого-то русского беглеца,

лондонским чиновником приведенный как доказательство того, что большевики сумели установить в Петербурге жёсткий порядок. Дескать, ехал Горький на извозчике по пустынному Кронверкскому проспекту, и увидел постовой милиционер, что кто-то едет, не узнал Горького, остановил и спрашивает, кто, мол, такой. Вот, дескать, в какие взяли железные рукавицы! А того не понимают, что милиционер своё самодурство показывал или на ужин себе хотел скачать, всего делов.

И в Москве тот же русский бедлам, да только в квадрате. Когда большевики перенесли в Москву столицу из Петрограда, лопнула бы старушка по швам, если бы не вытянула из неё мужчин мировая война и страшная зима с восемнадцатого на девятнадцатый год. Под учрежденья и наркоматы заняты были «Метрополь» и прочие отели, чиновники безжалостно уплотнили московскую интеллигенцию, превратив её неспешный, почти провинциальный быт в коммунальное преддверие ада. Покомнатное на семью расселение, это гениальное изобретение кого-то из большевистских вождей (однако авторством идеи пока никто не пожелал похвастаться), сделало из уютных московских квартир дешёвые отели без обслуги, точнее с неукоснительным самообслуживанием, для регулирования какового в каждой квартире установлена карликовая советская власть с ответственным чиновником и обычным советским псевдодемократизмом... Рейли хмыкнул и подумал, что придирается к великому российскому жилищному эксперименту: если уж речь идет о коммунистической уравниловке, то новое распределение жилья между москвичами куда более справедливо, нежели прежнее. Он протянул руку за единственным своим чтением последних двух недель, оборванным спереди и сзади томом «Брокгауза и Эфрона»; во флигельке, где прятался Рейли, нашлись, кроме него, только затрепанные учебник и справочник по химии.

«Брокгауз» сам раскрылся на цветной карте Москвы: жилец флигелька, бывший член Боевой организации эсеров, не пойманный чекистами полусумасшедший бомбист, планировал по ней задуманные на свой страх и риск террористические акты. Это надо же – обвёл красным кружком здание Сената в Кремле, когда в Кремль давно пускают только по пропускам!

– Симон!

– Ну и что – Симон? – и прекратился визг напильника в сенях, они же мастерская, где хозяин мастерит корпус для обещанной Рейли бомбы. Пытаясь ускорить дело, англичанин пытался помочь ему, но руки у него не расположены к слесарному делу.

– Симон, ты меня извини, но как ты рассчитывал к Сенату подобраться? Ведь Кремль так охраняется, что муха не пролетит.

– А, может, я хотел бомбу с воздушного шара сбросить.

– Лихо.

Рейли полистал «Брокгауза», нашёл уже читанное место статьи о Москве, повозился на полатах, ловя светлое пятно из грязного окошка, и прочёл, шевеля губами: «Из занятых жилых помещений 7258 помещаются в подвалах (10,4 %), из них более 2 1/2 тыс. квартир с полом ниже улиц на 2 и более аршина. Все население подвальных жилищ, по переписи 1882 г., доходило до 59 тыс. (9,4 %). Средняя степень скученности московского населения выражается 2 жителями на комнату, но более чём в 10 тыс. квартир приходится более чём по 4 жильца на комнату; в такой скученности живет почти 1/4 моск. населения». И вот ещё: «квартир без особого отхожего места 52,1 %, квартир с особым отхожим местом 32,6 %, квартир с ватерклозетом 15,2 %». Сейчас Рейли находится в одной из квартир без особого отхожего места, посещать же оное, одно на весь двор, он рискует только глубокой ночью, принося с собою и поганое ведро индивидуального пользования. Затронула его суровую душу и строчка о двух с половиной тысячах московских квартир с полом ниже уровня улиц на два и более аршина. Именно в таком подвале, откуда можно было увидеть только щиколотки прохожих, да изредка поднявшую ножку собаку, провёл он, сын одесского квартирного маклера Мойше Розенблюма, своё золотое детство.

– Симон, тебе ещё долго возиться?

– Денька три, не меньше.

Сидней Рейли задыхался без денег. Заём, сделанный Британскому казначейству чернобородым французским шпином, истощился на реактивы для взрывчатки, да и иных расходов хватало. Хотя бомбист не взял с Рейли квартирной платы, ошибочно приняв его за товарища по партии, и отличается аскетическими потребностями, есть необходимо и ему, и самому разведчику, уже

готовому к тому же взвыть из-за отсутствия алкоголя или наркоты: без этих сильных средств Рейли худо переносит бездействие.

Собственно, на бездействие он сам себя обрёл. Задание его было: для действующего в Берлине «Высшего монархического совета» во главе с бывшим членом Государственной думы Марковым-вторым и для барона Врангеля, председателя так называемого «Русского совета», проверить правильность сведений о существовании в Питере и Москве тайной монархической организации «За Русь святую». Сведения эти происходили от некоего эмиссара ЗРС, побывавшего в служебной командировке в Эстонии и тайно встретившегося там с одним из местных белоэмигрантов. Понятное дело, что русские патриоты из загадочной подпольной организации никак не могли обойтись без поддержки разведок стран Антанты. Вот Рейли и вызубрил наизусть адреса двух явок в Питере и трёх в Москве, где поручено ему было побывать и со всей осторожностью прощупать, не придумана ли «За Русь святую» той единственной организацией в РСФСР, которая может безопасно для себя устраивать заговоры, а именно ВЧК? После катастрофы в Питере на проверку тамошних явок решился бы разве что сумасшедший, зато в Москве форма и документы чекистского «офицера» открывали для этого замечательные возможности.

Чтобы не трепать форму безвременно погибшего чекиста Буревоего, Рейли смастерил из палочки и обрывка веревки вешалку и повесил её на гвоздь, а форму аккуратно распрямил на вешалке. По ночам, если вдруг просыпался английский шпион, шум во дворе пьяный услышав или дурной собачий лай, мерещилось ему, что стоит там чекист Буревой, наклонив голову и вдвинув её в плечи, звездочкой на фуражке поблескивает. Из недолгого юношеского увлечения марксизмом и вообще философией вынес Рейли утверждение Гегеля, будто форма содержательна, а содержание-де формально. И чего бы ночью, спросонья, ему не виделось, днем и наяву оставался он при убеждении, что в форме, оставшейся от чекиста, никакого человеческого содержания как раз и не осталось. А остались весьма полезные документы. Только вот фамилия в них едва ли из тех, что проскочит теперь при проверке патрулем. Хотя... Он прекрасно знал по английской разведке и контрразведке, как часто тут меняется обстановка, как легко забывается ещё вчера казавшееся первостепенным и как наплевательски

нижние чины относятся к ориентировкам и всяческим «словесным портретам», навязываемым начальством. Однако достаточно ли месяца для того, чтобы московские чекисты забыли о таинственном исчезновении питерского секретчика Буревого? Едва ли. Следовательно, необходимо изменить фамилию.

Рейли сполз с полатей, как был, в белье, прошлепал босыми ногами к столу, подвинул его ближе к окошку, достал удостоверение. «Буревой» может быть исправлен на «Буревойко», место на бланке есть, вот только чернило подобрать нет возможности. Из него можно бы сделать «Гулевого», в чём при желании обнаружился бы и некий нравоучительный смысл, однако в таком случае необходимо серьёзное, с подчисткой и с наведением по подчищенному, исправление «р» на «л». Итак, лучший вариант – «Гуревой», для чего надо всего лишь убрать часть буквы «Б». Конечно, странная получится фамилия, однако мало ли теперь на Руси странных фамилий?

– Симон!

– Да?

– Симон, у тебя есть бритва?

– А зачем мне?

И действительно, зачем ему бритва, если позволяет, как медведь, расти на себе волосам невозбранно.

– А у соседей сможешь занять?

– Это смотря у кого.

– Это уже ты посмотри. Сбегай, а?

Звякнул засов. Хлопнула дверь. Рейли продумал наперед порядок операций: сперва направить бритву на чекистском ремне, затем подчистить букву в удостоверении, потом побриться. Последнее необходимо, потому что он решил выбраться на Мясницкую, на Почтамт, спросить письмо от чернобородого до востребования. Они договорились, что тот напишет на имя Петра Толстикова: подлинный паспорт этого гражданина, с советской пропиской в Архангельске, выданный Рейли ещё в Лондоне, он носил зашитым в жилетке и чуть не забыл выпороть из подкладки пред тем, как отправить товарища Буревого в последнее плавание по Неве.

Осторожно, стараясь не поранить босые подошвы о металлический стружки и опилки, рассыпанные вокруг верстака, Рейли осмотрел зажатый в ржавые тиски корпус бомбы. Покачал головой. Были бы деньги и если бы удалось найти продавца, предпочел бы он пару обычных «лимонок» самой шикарной самодельной бомбе. Теперь же отступить некуда. Придётся воспользоваться тем, что под рукой.

Разумеется, для того, чтобы выполнить задание, поставленное перед ним лондонским начальством, Рейли не нужны были никакие бомбы, спокойно обошелся бы и без гранат. Однако у него остались свои счета с ВЧК: ведь, хотя он старался пореже вспоминать об этом, два года тому назад ему пришлось бежать из России, просто позорно убежать, и очень теперь хотелось поскорее поставить точку на этих неприятных воспоминаниях.

### ***Глава 16. Василий Каменский***

Извозчик привез питерских вояжеров на Мясницкую к Почтамту, высадил, отвязал саквояжи, и они, пыльные, голодные, раздраженно уставились друг на друга. Здесь, в конце оказавшегося утомительным пути, их не встречал тихий уют отчего дома, не ожидали, оказывается, и обещанные койки в гостинице. Подъехали они сначала, как и условился Чернобородый с извозчиком, к гостинице на Зацепе, да только под не снятой ещё вывеской «Ампир» увидели на дверях приклеенную бумажную – «Московское Представительство Госхозных сооружений Голодной степи», а ниже ржавый амбарный замок. Тогда махнул мнимый Всеволод Вольфович рукой и велел ехать на Почтамт. Приехали.

– Пойдите здесь, – распорядился Всеобщий благодетель, опасаясь, по видимому, что Лиза и Гривнич, взявшись за руки, помчатся вприпрыжку по Чистопрудному бульвару. – И смотрите за вещами. Это вам Москва, тут на ходу подметки рвут!

Гривнич проследил, как скрывается спина Чернокостюмного за высокими стеклянными дверями, и задумчиво произнес:

– Кажется, я знаю, что нам делать.

– Ах, милый Валерий Осипович, на вас только одна надежда, – с чувством заявила Лиза и оперлась на его руку.

– Уже через неделю ходить без пальто будет неприлично, а ещё через две недели просто холодно, – промолвил он невпопад. – Мы обратимся прямо к Луначарскому, вот что мы сделаем.

От этого замысла Гривнич отвлёкся, когда саквояжи чуть было не уволок беспризорник, решивший поиграть в носильщика. Наконец, Лиза отлепилась от него:

– Милый Всеволод Вольфович! Без вас нам просто страшно!

Чёрный человек выглядел непривычно озабоченным:

– В руках багаж-то держите? Разумно, – и развел руками. – Москва набита приезжими. Придётся снимать квартиру. Я позвонил в несколько мест: результаты удивительны. Телефонистка сказала, что частные телефоны в большинстве отключены. В зале толкуются квартирные маклеры, однако личности, доложу я вам, подозрительные. Раньше можно было, в крайнем случае, положиться на извозчика...

– ...чтобы завёз к бандитам в лапы, – чувствуя себя человеком деловым и удачливым, закончил Гривнич. – Если уж Москва решила изобразить из себя чиновницу с запачканным чернилами носом и в сатиновых нарукавниках, попробуем поиграть по её новым правилам. Всеволод Вольфович, осталась ли ещё в вашем чудесном саквояже писчая бумага, не потеряли ли вы вашу замечательную печать?

– Я понял, – усмехнулся Чернобородый. – Теперь нам всем лучше перейти в зал Почтамта. И поторопиться, пока в наркоматах и во всех иных учреждениях не закончилось присутственное время. Так к кому тут имеются у вас подходы?

Гривнич пояснил, что вспомнил о Рюрике Ивнине: тот служит секретарем у Луначарского в Наркомпросе и несколько месяцев назад, будучи командирован в Питер, заглядывал к нему и оставил в записной книжке служебный телефон.

– Я думаю, что следует сначала позвонить, – убежденно заявил Фондообразователь и занёс ногу на ступеньку Почтамта. – Все за мной!

В зале, пока торчал Человек в чёрном у окошечка телефонного узла, задумался Гривнич о том, что скажет шапочному, собственно, знакомцу. Тут Лиза вдруг хлопнула в ладоши:

– Ну да, конечно же! Рюрик Ивнев! Это ведь он написал:

На станции выхожу из вагона  
И лорнирую неизвестную местность.  
И со мною всегдашняя бонна –  
Моя будущая известность!

Гривнич усмехнулся. Есть авторы одного романа, а Миша Ковалёв, несмотря на два-три поэтических сборника, до сих пор остается автором одного четверостишия. Действительно, замечательного, недаром же Маяковский, услышав в «Бродячей собаке», удостоил его пародии, мгновенно сымпровизировав:

Кружева и остатки грима  
Будут смыты потоком ливней,  
А известность проходит мимо,  
Потому что я только Ивнев.

Однако не стоит говорить об этом Лизе, для дела может оказаться полезным восторженный взгляд, которым она обласкает Мишу («Милый, милый Михаил Александрович...»). Хотя едва ли в предбаннике у наркома просвещения увидит она на его секретаре грим и кружева.

Ещё на ходу Всеобщий благодетель показал Гривничу на четвертую кабину, и он, уже с записной книжкой в руке, укрылся за её стеклом.

Вышел, не истратив до конца купленных десяти минут московского телефонного времени. Заглянув в его кислую физиономию, спросил Благодетель:

– Не признал вас, что ли, товарищ-имажинист?

Гривнич покачал головой. Хотя Миша его и признал, но большой радости не выказал. Объяснил, что на приём к наркому такая очередь, что он может записать разве что на следующую неделю, и то на четверг. Своя жилплощадь у Наркомпроса заполнена до отказа, общежития трещат от наплыва приезжих. А когда узнал, что обращаются от комитета по организации юбилея Достоевского,



так прямо посмеялся: Достоевского товарищ Ленин не любит, и сам Анатолий Васильевич не жалуется – какой ещё там юбилей?

– И в самом-то деле! – засмеялся Чернобородый. И посерьёзnel. – А насчет проекта хоть промолчали?

– Я же не идиот, – не обиделся Гривнич. – Заикнулся я, грешным делом, о поддержке Горького, ещё хуже: Зиновьев своими доносами окончательно испортил Горькому репутацию в Кремле, посему моя хитрость не помогла бы... Лиза, а у вас нет ли родственников в Москве?

– У нас с Володей вся родня в Пензе, – и глаза Лизы наполнились слезами.

– Выходит, пшик, Валерий Осипович? – сочувственно улыбнулся Черный.

– Ладно. Вон стоит маклер, уже на нас поглядывает...

– Не совсем пшик, Всеволод Вольфович. Он посоветовал обратиться в ТЕО, к Мейерхольду. Разрешил сослаться на него. Давайте сделаем отношение в Театральный отдел Наркомпроса – ведь хоть какая-то надежда на легализацию! Не знаю, как вы, а я здесь в чужом городе, и чекисты здесь ещё зубастее питерских.

Они состряпали отношение тут же, на столе, где в старые времена люди заполняли бланки почтовых переводов. Чистовик пришлось писать Гривничу, потом Лиза, от усердия высунув розовый язычок, провела перед словом «Председатель» тоненькую черту и расписалась за Андрея Белого, Гривнич – за самого себя, а Чернобородый, оглянувшись и украдкой, приложил всё ту же смазанную печать.

– У вас есть телефон ТЕО, Валерий Осипович?

– А зачем? Тут недалеко, напротив Александровского сада.

Едва рассчитался Фондообразователь с извозчиком, как из двери под вывеской, огромной и до того высокохудожественной, что её и прочитать было трудно, вышел Мейерхольд собственной персоной. Гривнич вначале глазам своим не поверил, потом завопил восторженно до неприличия:

– Всеволод Эмильевич!

– Кому это я до такой степени оказался нужен? – заклокотал в своей обычной манере Мейерхольд, улыбаясь очевидно дежурной, театральной улыбкой. Однако остановился в готовности.

Захлебываясь, принялся Гривнич напоминать о премьере «Маскарада» в Александринке, о её праздновании в «Бродячей собаке», о том, как к концу ночи они с Доктором Дапертутто оказались за одним столиком и сошлись во взглядах на поэму Маяковского «Флейта-позвоночник» и на ретроградность современной драматургии...

Неизвестно, узнал ли знаменитый театральный искусник петроградского почитателя, однако участие в его судьбе принял:

– Так вы всё-таки написали современную пьесу? Давайте сюда!

– Да нет, не написал я... Мы к вам по другому делу, Всеволод Эмильевич.

– В актёры решили податься? – опытный взгляд режиссера скользнул по Лизе, задержался на Фондообразователе (тот приподнял шляпу: «Иблисов Всеволод Вольфович»), снова скакнул к Гривничу. – Вашему приятелю стоит зайти на киностудию: с такой внешностью сразу же роль получит, и псевдоним не нужно придумывать – превосходно звучит фамилия! А пока суд да дело, беру вас всех в статисты: мне для «Мистерии-Буфф» постоянно нужны замены – статисты вздумали разбежаться!

Не стал спрашивать Гривнич, отчего разбегаются статисты с «Мистерии-Буфф», а осмелился, наконец, изложить свою просьбу. Мейерхольд поскущел – и только сейчас оказалось возможным рассмотреть, что поседел весёлый Доктор Дапертутто, черты лица заострились, а нос вытянулся ещё сильнее.

– Так ведь я с весны уже не заведу ТЕО: Луначарский прогнал за то, что чуть не расформировал реакционные театры по всей республике. Всё к лучшему! Создал, как Саваоф, на пустом месте свой собственный театр, 1-й Театр РСФСР. Устройтесь, приходите. По контрамаркам.

– Куда устроимся?

И так печально это у Гривнича прозвучало, что Мейерхольд задумался, помычал, потом встрепенулся и попросил разрешения взглянуть на заявление. Хмыкнул, поднял кустистые полуседые брови, достал «стило», снял с пера колпачок и попросил Гривнича нагнуться, чтобы воспользоваться его спиной. Завинчивая колпачок, пояснил:

– Я написал резолюцию. Вот: «Коменданту Третьего общежития Наркоминдела. Поддерживаю просьбу т. Андрея Белого. Прошу поселить в

комнату, занимавшуюся зав. детскими театрами РСФСР ТЕО т. Эренбургом. Мейерхольд». Ну, и дату... Ведь я же Мейерхольд? Или есть сомнения? И разве не имею я права, пусть и не советский бюрократ теперь, поддержать просьбу? Кстати, юбилейные торжества можно было бы славно поставить... С речёвками «Бесы – не мы!», «Пуанкаре – ты идиот!» Позвоните мне, и я пришлю вам способных молодых ребят. До свидания!

– Спасибо, Всеволод Эмильевич! – закричал ему вдогонку Гривнич. – А где это Третье общежитие?

– Да на Волхонке. Прежняя гостиница «Княжий двор». Сюда по Манежной, а за ней сразу вправо и Волхонка, – не оборачиваясь, показал Мейерхольд.

Глядя, как переходит он улицу в сторону Александровского сада, со спины совсем молодой, Лиза вдруг запрочитала:

– И что я за дура такая! Ну почему не сказала ему, что я тоже пензенская? Мы же земляки, я же хорошо дом помню, где его отец живет, немец, хозяин водочного завода!

– Душевный человек, – констатировал Всеобщий благодетель. – Предложил работу, наложил фальшивую резолюцию на нашу филькину грамоту. А что? Дал ведь зацепку.

Бывший «Княжий двор» оказался сложным сооружением, составленным из двухэтажных и трёхэтажных корпусов. На входе у них спросили пропуск, а когда зазвонил телефон, щуплый дежурный прервал рассмотрение поданной ему бумажки и спросил в трубку:

– Откудова звук?

– Мне здесь нравится, – заявил Гривнич.

К телефону вызывали коменданта, товарища Адама, и он, закончив разговор, лично изучил заявление.

– И почему это ваш Мейерхольд думает, что если здесь жил его сотрудник, этот лохматый наглый Эренбург, то его комната останется за Наркомпросом?

Мнимый Всеволод Вольфович выступил вперед и произнес значительно:

– Не всё можно доверить бумаге. Некоторые основания я могу изложить только устно. Только ответственному товарищу и только с глаза на глаз.

Скуластый товарищ Адам поднял от бумаги глаза-щёлочку, рассмотрел Чернобородого внимательно. Заявил:

– Пройдемте ко мне в кабинет, товарищ профессор.

Когда сепаратные переговоры закончились, приезжие получили комнату, три матраца, три подушки, шесть простыней, большую занавеску, чтобы выделить спальное место для девушки, им был также с завтрашнего дня обещан паек: по двести граммов хлеба с двумя кусочками сахара, кроме того, по миске пшенной или ячневой каши в обед.

Мужчины растянулись, чтобы не пачкать и без того грязноватые матрацы, прямо на голых досках кроватей. Кое-что припомнилось тут Гривничу, но он не захотел испортить блаженное ощущение, испытываемое в горизонтальной позиции. Лиза была отправлена на разведку насчет возможностей бани и получения, на худой конец, горячей воды для бритья.

– Помоемся, почистимся – и в «Кафе поэтов», – распорядился мнимый Всеволод Вольфович. – Это в Настасьинском переулке, говорят.

– На Тверской, чуть пониже Камергерского переулка? Там клуб футуристов, принадлежит Каменскому и какому-то... да, Гольцшмидту, сейчас захирел, я слышал... Гремит сейчас притон имажинистов – «Стойло Пегаса», Всеволод Вольфович.

– Мне нужен Каменский, – твердо произнес Фондообразователь. И когда удивленный Гривнич приподнялся с жесткого ложа, пояснил. – Да, я не заготовил конверта с приглашением для Каменского. Но он ведь нынешний председатель Московского отделения Всероссийского Союза поэтов, я хочу уточнить у него нужные нам адреса.

– Если они у него есть, у хама-футуриста... – пробормотал Гривнич, снова укладываясь.

– Что? – вскинулся Благодетель. – Попрошу не впутывать меня в ваши внутрилитературные свары.

Оказалось, однако, что прав оказался литератор.

Впрочем, ничего не предвещало неудачи, когда, после усердных трудов, Фондообразователь из серо-буро-малинового снова превратился в Чёрного человека, а Валерий, с вымытой головой, с восстановленным на ней

безукоризненным пробором и в чистом воротничке, почувствовал себя человеком отчасти приличным. Они простились с Лизой (чтобы постирать единственный свой наряд, девушка вынуждена была обмотаться занавеской) и взяли на Волхонке извозчика. Сентябрьский день мирно догорал, закатное солнце ненужно золотило и без того вульгарную позолоту купола Храма Христа Спасителя.

Уже и снаружи «Кафе поэтов» являло внимательному глазу следы упадка. Залихватскую вывеску давно не подновляли, на плитах тротуара у входа в подвал стелился подорожник, отнюдь не вытоптаный нетерпеливыми посетителями. Однако замка на двери не было, они решились спуститься по ступеням и постучать.

Отворил чернобровый здоровяк без шеи и с глазами, сведёнными к переносице.

– Гольцшмидт. Вы по поводу аренды?

– Нет, – отозвался Гривнич. – Мы из Петербурга, к поэту Василию Каменскому. Я – Валерий Бренич, может быть, и слышали, а это господин Иблисов.

– Ладно, заходите. Кафе вообще-то уже года два, как закрыто. Мы с Васей пришли на встречу с буржуем, желающим арендовать помещение.

– Неужели и у вас, как в «Бродячей собаке», тут раньше прачечная была? – не удержался Гривнич, увидев переплетение водопроводных труб на стенах.

– Вот именно. А то как бы мы нашли помещение прямо на Тверской? В военный коммунизм сперва закрылись бани, а потом и прачечные. Не потребляя жиров, обыватели перестали их выделять и грязнить своими шеями воротнички.

И полутёмный, подвал резал глаз пестротой. Прямо по разномастным фрескам и плафонам (Гривнич узнал, в частности, руку Лентулова) были начернены поэтические цитаты позабористее: «Я ЛЮБЛЮ СМОТРЕТЬ, КАК УМИРАЮТ ДЕТИ. МАЯКОВСКИЙ»; «ВИДИШЬ, В НЕБЕ БЕЗ ПОРТОК СКАЧЕТ, ПЛЯШЕТ МИЛ ДРУЖОК. КРУЧЕНЫХ»; «ПРАЗ ОБОРВАЛСЯ В ВОЛГУ ЧУРБАН ТВОЯ МАТЬ! КАМЕНСКИЙ». А вход в женский, надо полагать, туалет украшало изображение голубей, начертанное, конечно же, Давидом Бурлюком и обрамленное приглашением: «ГОЛУБИЦЫ, ОПРАВЛЯЙТЕ

ПЕРЫШКИ». Длинные столы из простых досок делали бы подвал похожим на университетскую аудиторию – если бы существовали университеты для безумцев.

– А это зачем? – спросил Человек в чёрном, указывая на подвешенный под потолком рыжий и рваный сапог внушительного размера.

– Сапог великого футуриста Василия Каменского, – солидно пояснил здоровяк. – Образец конкретного искусства жизни. А те вон щепки, прибитые у зелёного орущего петуха – от вершковых досок, разбитых на собственной голове мною – футуристом жизни Владимиром Гольцшмидтом.

– Володя, кого ты к нам привёл? – это, открыв расписную дверь, ведущую, судя по виднеющемуся дивану, не в мужской туалет, а в контору заведения, явил себя посетителям сам великий футурист. Погрузнел, рыжие кудри спереди пооблетели, голубые глазки налиты кровью.

– Я Валерий Бренич, если помните, из Петрограда. А это господин Иблисов...

– Господа давно в штабе Духонина, а вы там в Питере, вольфилы высоколобые, занимаетесь всякой буржуазной фигней... Вот послушайте лучше:

И я не жалею на Пермь свою –  
 На Каме трудно жить культуре,  
 Ведь всё равно я первенствую  
 В российской литературе.  
 Поэт, мудрец и авиатор,  
 Помещик, лектор и мужик,  
 Я весь – изысканный оратор,  
 Я весь – последний модный шик.

Гости ошарашено переглянулись. Гривнич позволил себе спросить:

– Помещик?

– Ну да... Написано до Октябрьской революции. У меня ведь имение Каменка в Сибири, и там мой личный музей. А у гения каждое слово священо – рука не поднялась исправить на «философ»! Так чего вам всё-таки нужно?

Гривнич коротко пояснил.

– Юбилей Достоевского – и с этим вы пришли ко мне, давно сбросившему всяких Пушкиных с парохода современности? Да это редкая наглость – даже для петербургских хлыщей!

– Нам всё-таки казалось, что вы как председатель Московского отделения Всероссийского Союза поэтов...

– Володя! Володя! – воззвал Каменский, трясущимися руками засучивая рукава. – Я же могу их искалечить, ты же знаешь, я ведь Ивана Заикина с Иваном Поддубным в цирке на арене разнимал! Володя, ты же был вышибала у нас, действуй!

– Да мы уже и сами уходим, – поджал губы Чёрный человек.

На улице футурист жизни обнял гостей за плечи и загудел:

– Да не обижайтесь вы на него! Вы ведь Васю председателем Союза поэтов назвали, это когда его давненько уже Брюсов с председательства форменным образом выпихнул! Ну и заклинило мужика – а парень он добрый, простой...

– Очень может быть, – пожал плечами Гривнич. – Но поймите, Владимир, у нас в Питере вашего друга никогда не обижали.

– Это вам так кажется! – вступился за приятеля Гольцшмидт. – У вашего спутника – у него вид, как у нормального человека, а вот у вас, коллега (Бренич, вы сказали?), проблескивают этикие язычки поэтического пламени в глазах. Ну, а Вася – свихнутый на все сто процентов! Если он поэт, так, значит, он же и гений. А у вас в Питере таких своих выше крыши. Ох, безумие это, поэтическое которое – вещь, доложу я вам, заразительная! Вот на что уж я человек здравомыслящий и спокойный, однако тоже... Насмотрелся, как имажинисты переименовывают улицы на Есенинскую и Мариенгофскую, заказал и я скульптору Васе Ватагину собственный памятник в гипсе, краской под золото покрыл и на Тверском бульваре ночью поставил. В голом виде, правда, как люди будут летом при коммунизме ходить. И что ж вы думали? Две недели мой памятник простоял, всё боялись обыватели тронуть, пока не догадались, что не начальство воздвигло и не по плану монументальной пропаганды – и расколотили, дурачьё тупое. Ладно, не поминайте лихом.

Последним, наверное, посетителям «Кафе поэтов» совсем уж ничего осталось, чтобы выйти на шумную Тверскую, когда их окликнул Гольцшмидт:

– Эй! Вам надо на Первую Мещанскую, 32. К Брюсову.

### **Глава 17. Валерий Брюсов**

Валерий Брюсов, основоположник русского символизма, заведующий Отделом научных библиотек и ЛИТО Наркомпроса, председатель Московского отделения Всероссийского Союза поэтов, заведующий Книжной палатой, ректор Высшего литературно-художественного института и член коллегии Главного управления по коннозаводству при Наркомземе (Гукон), этот чрезвычайно деятельный человек и в 1921 году был похож на свои портреты начала века.

Когда Иоанна Матвеевна, супруга знаменитого поэта, впустила в его кабинет Гривнича, мэтр поднялся с кресла и, не выходя навстречу посетителю, перегнулся к нему над столом для рукопожатия. Гривничу доводилось слышать о замечательной манере Брюсова подавать руку, вот почему он не удивился, когда мэтр вдруг отдернул от его ладони уже протянутую свою, сжал кисть в кулак и прижал к правому плечу. Впился глазами в ладонь Гривнича (вошь там увидел, что ли?), стремительно вернул руку в прежнюю позицию и энергично завершил шейкхэнд. Получилось, словно Брюсов внезапно припомнил содержание плакатов, утверждающих негигиеничность рукопожатий, а потом предпочёл поступить всё-таки вежливо. Интересно, он и с Луначарским так же ручкается?

– Валерий Бренич, – счёл нужным представиться посетитель. – Стихотворствовал понемногу, теперь перевожу для «Всемирной литературы».

– Помню, – тихим, глухим голосом ответил Брюсов. – Мне передали ваше телефонное сообщение. Как вас по имени-отчеству кличут?

– Валерием Осиповичем, – и Гривнич, увидев, что хозяин уселся снова в кресло, присел и сам на один из стульев у стены. С противоположной стены глянули на него листы Фелисьена Ропса, едва ли приличные для рассматривания барышнями.

– Я, Валерий Осипович, совершенно убеждён, что неудача вашего дебюта в поэзии объясняется отсутствием надлежащего руководства, с одной стороны, и вашим собственным неумением ежедневно и ежечасно работать над стихом. Я вот, например, каждым утром сажусь за этот стол и пытаюсь написать



стихотворение. Не пришло пресловутое «вдохновение» – не беда, я разрабатываю руку, создавая образцы новых размеров, придумываю рифмы, шлифую ранее созданные пьесы... Вот так. Вы не присылали мне в своё время, как молодые обычно поступают, своих первых опусов, и я не приму их сейчас, а вас не возьму в свои ученики. Как говорится, этот ваш поезд уже ушёл. Однако вам не поздно и в ваши тридцать лет пройти правильную школу, и я предлагаю вам поступить во вновь открываемый Высший литературно-художественный институт, который мне поручено возглавлять. С дипломом на руках и, конечно же, с правильными знаниями и навыками вы сможете с чистого листа начать литературную карьеру, само течение которой в новой социалистической России будет проходить куда организованнее и с большей рациональностью, чём в старом буржуазном обществе.

Уже присмотрелся Гривнич, уже увидел... Хотя прежний чертёж неповторимой внешности мэтра Валерия Брюсова, увековеченный в портрете Врубеля, не изменился, однако выцвели и смягчились летящие вперёд линии бровей и бороды, побелел и распушился некогда задорный клинышек на подбородке, обрюзгли и поплыли крутые скулы, запали чёрные глаза-буравчики. И возникла в этом лице теперь некая слабина, для человека на тех старых портретах немислимая...

– Что скажете, Валерий Осипович?

– Извините, Валерий Яковлевич... Я ведь не по поводу стихотворений своих вас побеспокоил, а в качестве секретаря Юбилейной писательской комиссии по всенародному празднованию столетия Достоевского. Председатель комиссии – Андрей Белый. Мы рассчитываем на вашу помощь, Валерий Яковлевич, как председателя Московского отделения Всероссийского Союза поэтов и, конечно же, главы всемогущего ЛИТО.

– Вынужден вас поправить. Я тут провел некоторое уточнение организации, так что теперь в Москве не отделение, а вполне легитимный Всероссийский Союз поэтов (здесь принято рациональное сокращение Сопо), утвержденный Народным комиссариатом по просвещению. Это у вас, в Петрограде, естественно, остаётся отделение. Что же касается помощи... Я, честно говоря, совсем не понимаю, почему в той тяжёлой внутренней и

международной обстановке, в которой оказалась в данный исторический момент Республика Советов, я должен протезировать столь сомнительному начинанию. Более того, я как должностное лицо, если бы лично и сочувствовал проведению такого нежелательного мероприятия, не стал бы вам помогать, потому что это противоречит интересам возглавляемых мною учреждений.

– Простите, Валерий Яковлевич?

Мэтр усмехнулся высокомерно, затем решил, очевидно, снизить к собеседнику:

– Да вы сами себя спросите, кому нынче нужен старый эпилептик Достоевский, автор клеветнических «Бесов» и реакционного «Дневника писателя»? И вообще проза, которой и я в своё время отдал немало сил, демонстрирует сегодня, как вы, очевидно, заметили, свою ненужность. Кстати, кто финансирует вашу комиссию, Валерий Осипович?

– Алексей Максимович Горький, – не моргнув глазом, соврал Гривнич.

– Понятно, понятно... Неужели он изменил своё мнение о «Бесах»? Вы ведь сейчас прямо из Петрограда. Там произошли некоторые события, о которых до нас тут доходят только слухи. Это правда, что Блок перед смертью сошёл с ума, что он уничтожил все экземпляры «Двенадцати», бывшие в доме, и что требовал немедленно найти и сжечь поэму даже при Ионове, главном петроградском советском издателе, когда тот его навестил? Это правда?

– Не знаю, Валерий Яковлевич, но думаю, что сплетни. Случилось так, что я посетил Александра Александровича под вечер шестого августа, а седьмого утром он умер. Он был очень слаб, но в полном сознании и о «Двенадцати» вовсе не заговаривал.

– Это хорошо, если сплетни... Покойный ведь, как и я, очень рано, в конце семнадцатого начал сотрудничать с Советским правительством, что навлекло на нас обоих некоторое гонение со стороны наших прежних сотоварищей.

– Гонение? Гонение на вас, Валерий Яковлевич? – удивился Гривнич. – Да скорее следует бояться, как бы вы на кого-нибудь не воздвигли гонения!

– Вы полагаете? Однако я, действительно, был исключен из членов некоторых литературных обществ. А к Блоку наши вожди относились

исключительно тепло, несмотря на его левозсеровские пристрастия. Анатолий Васильевич выхлопотал ему пропуск за границу для лечения.

Брюсов помолчал. Потом произнес индифферентно:

– Тут, в советских кругах, прошел слух, что инцидент с Гумилёвым вызвал в умах петроградской интеллигенции определенное брожение...

– Ничего не знаю об этом, – ответил гость с не меньшей осторожностью. – Я уехал в тот самый день, когда были расклеены извещения о расстреле. Народ на улицах, тот – да, вы правы, выглядел просто ошеломлённым.

– В здешних литературных кругах преобладает мнение, что Гумилёв зарвался. Нельзя жить при советской власти и делать вид, что её не существует, а уж тем более заигрывать с контрреволюционным подпольем. А если уж тебе не по душе наша власть, зачем было так стремиться непременно командовать и всех под себя подминать? Олимпийца Блока, и мизинца которого не стоил, вытеснил из Сопо, окружил себя молодыми подхалимами, технике стихотворства учит, будто сам ею овладел...

«Это кто бы говорил!» – про себя возмутился Гривнич, и тут эмоции подвели его, потому что следующее своё соображение он брякнул вслух:

– Я видел Николая Степановича в тюрьме. Можете мне поверить, что его вина перед советской властью была ничтожна...

Тут Брюсов блеснул на него таким влажным, несчастным, укоризненным взглядом, что Гривнич замолчал: чтобы продолжать, надо было сначала разгадать значение этого упрека. Брюсов между тем встал, скрестил руки на груди и застыл, как памятник. Глядел при этом словно бы вглубь себя, во всяком случае, мимо посетителя, успевшего тем временем жестоко перетрусить: он знал, что члены РКП(б), по решению какой-то их партконференции, обязаны доносить в ЧК обо всём подозрительном. Пауза затягивалась, нельзя же было всё время трястись. Гривнич снова присмотрелся к поэту и убедился, что тот съезжился и уменьшился в росте, как происходит это с глубокими стариками. Да ведь Брюсову нет ещё и пятидесяти! Неужели и в самом деле непрерывный разврат и ночи напролет за вином, картами и рулеткой способны состарить человека? И тут он вспомнил. Люди, достойные доверия, утверждали, что Брюсов – морфинист и сидит на игле уже больше десяти лет, с коротким перерывом на несколько месяцев, когда

лечился у знаменитого московского специалиста доктора Койранского. Гривнич тогда сам начинал тревожиться, не слишком ли привязался к кокаину, и принялся стороною наводить справки о надёжном враче...

Мэтр вдруг шевельнулся, ожил, кивнул, буркнул что-то вместо извинения и вышел, шаркая, из кабинета. Через несколько минут вернулся, помолодевший и выпрямленный. Гривничу едва удалось скрыть ухмылку: видали мы такие дела... Брюсов тем временем посмотрел на него свысока и заговорил менторским тоном, предназначенным, очевидно, для его студийцев, нечаянно нарушивших незыблемые правила стихосложения:

– Передайте, пожалуйста, юноша, тому начальнику из Всероссийской Чрезвычайной Комиссии, который послал вас ко мне (нет, и не думайте отпираться!), что я верно служу Советскому правительству и Российской Коммунистической партии, в которую вступил в прошлом году, под ярый вопль всемирной вражды. На проверку же со стороны ВЧК и на провокационный метод её не обижаюсь, потому что время сегодня такое, как я сам писал: «Выбор строг – рази иль падай!». Теперь о расстреле Гумилёва. Я внимательно прочитал весь список заговорщиков, осужденных по делу Таганцева. Их был шестьдесят один, и кое-кто виноват был ещё меньше, чем ваш Гумилёв. Однако перед законом – и даже перед чрезвычайным законом – все равны, почему же для стихотворца должно было сделать исключение? Того же Франсуа Вийона, которого ваш протеже переводил, от виселицы спасла только общая королевская амнистия. Поэтому приговор Гумилёву считаю в высшей степени справедливым.

Поскольку Брюсов посмотрел на мнимого чекиста вопросительно, изумленный Гривнич был вынужден кивнуть. Мэтр удовлетворенно усмехнулся и продолжил:

– С другой стороны, не имеет решающего значения, виновен был Гумилёв или нет. Самодержавная власть большевиков могла его простить и виновного. Потому что перед самодержавной властью (а именно большевики создают сейчас в России настоящую самодержавную власть, ещё более крепкую, чём созданная в результате революции Петра) провинились в своё время многие из тех, кто сейчас самоотверженно на неё работает. Ярчайший пример – бывший левый эсер Блюмкин, тот самый бородатый юноша, который убил германского посла

Мирбаха (помните?), чтобы сорвать похабный Брестский мир. Так вот, он был прощён Советской властью и сейчас комиссар в Красной армии советской республики Северный Иран, устанавливает советскую власть на Востоке. Если советская власть не простила Гумилёва, значит, он не нужен пролетариату.

Аудиенция завершилась, и Гривнич вылетел из квартиры мэтра. Оглянулся на дверь, где сияла начищенная медная табличка «Поэт Валерий Брюсовъ». Выскочил на улицу, и не успел опомниться, как оказался в объятиях Сухарёвки, знаменитого на всю страну рынка, «чрева Москвы». Его теребили торговцы со страшными, оскаленными, обугленными солнцем лицами, орали на него, предлагая несусветный хлам, его чуть не сбил с ног английский сеттер, волочивший за собою смрадную кишку, а когда он вжался в толпу, пропуская преследующую удачливого охотника гурьбу дворняг, девочка-нищенка лет десяти (или малорослая уголовница?) ласково всунула ручонку ему в карман... Однако ничего, кроме записной книжки и карандаша, не могли у него сегодня украсть, он вырвал руку воровки из нутра пиджака, отпустил её и проложил себе маршрут на Сухарёву башню. Там, у главного входа, его должен поджидать Чернобородый со вновь прибахлившейся Лизой. Поистине толкучка! Не лучше ли было бы обойти базар по периметру?

На островке посередине вонючей лужи сидит слепец, повертывая рукоятку малороссийской лиры. Кудлатая голова запрокинута, гнусавый голос, чудом прорезываясь в гаме толпы, выводит:

Приходили нищие ко Иисусу, голосили:

«Ты дай нам, Сусе-Христе, гору золотую...»

Отвлекшись на слепца, он не увидел Надю, в трёх шагах предлагающую галоши гигантского размера. Она повернулась к Жоржу, державшему на плече кипу разномастных обрывков веревок и бечевков, и прокричала ему в ухо – скульптурно вылепленное, изнутри поросшее чёрным волосом:

– Мой благоверный притопал в Москву, представляешь?

Жорж молча кивнул, не заинтересовавшись. Муж его шмары – фраер жалкий, пустой, для дела негодящий. Ведь они здесь торгуют только для блезиру: высматривают богатенького буржуя, чтобы проследить, обработать с помощью Нади и, в конце концов, обчистить в глухой подворотне.

А Гривнич уже далеко ушёл в человеческое море. Над его смрадными волнами, как Фаросский маяк, высилось творение, в России не менее знаменитое – Сухарёва башня, похожая, если издали смотреть и без пенсне, на боярышню XVIII века в широком белом роброне. Давно уже превращенная в банальную водонапорную для Мытищинского водопровода, помнит башня-красавица чернокнижника Якова Брюса, созерцавшего с её высоты звездное небо, дабы вычитать в нём грядущие людские судьбы. Не потому ли и Валерий Брюсов выбрал себе здесь квартиру, что считает Брюса своим предком? И неужели не мешает ему гул Сухарёвки, рычащей и плачущей чуть ли не под окнами? И есть ли зрелище менее парадоксальное, чём Валерий Брюсов в белой бородке клинышком и в безукоризненном белье, выглядывающем из-под шелкового халата, сочиняющий над этой клоакой изысканные стихи о всемирной и межзвездной Революции?

Впрочем, Валерий Брюсов именно в тот исторический момент стихов не сочинял и даже не размышлял о дальнейшем усовершенствовании рифм в русской поэзии. Сдвинув брови, он крутил ручку телефонного аппарата, давал «отбой». А в голове у него прокручивался только что закончившийся разговор с видным членом коллегии ВЧК. После того, как Брюсов изложил устную справку о состоявшемся разговоре, в трубке крикнуло, и после некоторого молчания он услышал, что ВЧК завалена действительно серьёзными делами. Потом опять молчание и, наконец:

– Хорошо бы ещё раз встретиться, поговорить о поэзии. До свидания.

Брюсов оставил в покое телефон и тяжело уставился на тот закуток книжного шкафа, где за стеклом белеют книжечки его сборника «В такие дни». Одну из них он подарил этому убийце с надписью: «Чекисту от поэта. Товарищу Якову Сауловичу Агранову от Валерия Брюсова». В голове зашумело, виски сдавило, будто в тисках. Брюсов твердо выговорил:

– Жидёнок пархатый.

## **Глава 18. Сидней Рейли**

День выдался пасмурный, и Рейли никак не мог сообразить, хорошо ли это или, напротив, скверно для теракта.

Он прекрасно понимал, что, скорее всего, окажется в исходе дня на мраморном столе в морге, а то и на столе в морге нечему будет оказаться, потому что клятая самодельная бомба разорвёт его на куски. Он, быть может, и боялся где-то во глубине души, но страху не позволяла пошевелиться бешеная злоба, она влекла его вперёд и при всей своей эмоциональной мощи была достаточно разумной, чтобы оберегать от ошибок. Кроме того, операция распланирована по секундам, план предусматривает все возможные варианты, вплоть до того, что на полученные вчера от французского коллеги деньги закуплены самогон и закуска для вечернего расслабления.

Неторопливым, прогулочным шагом (ну, возможно, чуточку прихрамывая в тесных чужих сапогах) он нёс своё британское содержание в заимствованной чекистской форме мимо огромного здания на Лубянке, где в мирные, благополучные времена располагалось страховое общество «Россия». Теперь здесь засели тоже страхователи, да только слишком риски у них велики: ну как застрахуешь нищую страну с криминальным руководством от крестьянских восстаний, от рабочих забастовок, от случаев, когда обиженный одним-единственным комиссаром человек становится террористом, объявляющим войну всем карательным органам республики?

Вот и центральный подъезд. Часовые в будёновках, с винтовками, не остановили мнимого чекиста: один вообще отвлёкся, наблюдая за пересекающей Лубянскую площадь коротконогой барышней, второй только скользнул любопытным взглядом по свертку у Рейли под мышкой. В вестибюле, не обратив внимания на мозаичные панно, антисоветски прославляющие успехи капиталистической экономики царской России, Рейли вынул на ходу удостоверение, развернул и направился к дежурному. Тот взял бумагу и выписал данные в большую книгу, похожую на амбарную. Поднял на питерца глаза, покрасневшие к концу дежурства:

– Ты к кому?

– Ты же видел удостоверение, товарищ, – улыбнулся Рейли, складывая бумагу. – Это секретная информация.

- А что в свёртке?
- Бомба, – заявил Рейли серьёзно. – Давно мечтал взорвать вашего повара.
- Легко тебе шутить, выпавшись на полке в поезде, – огрызнулся дежурный. – Секретный отдел в «419», начальник в «420». Четвертый этаж.

Рейли отложил эту информацию себе в копилку, понимая, что сегодня едва ли она ему пригодится. С четвертого этажа, если бросить бомбу в Секретный отдел, уйти не удастся. Прошлой весной в Варшаве встречался он с Савинковым за столиком летнего ресторана в Саксонском саду и воспользовался случаем спросить, как смотрит знаменитый террорист на проблему ухода с акта. То есть: надо ли пытаться спастись, или предпочтительнее заплатить за убийство врага собственной жизнью. Савинков, тип тот ещё, высокомерный и неискренний, и тогда отделался шуточкой: у эсеров, дескать, этот вопрос решал ЦК. Однако же он, капитан Сидней Рейли, не террорист вовсе и не стал бы в столь жизненно важном вопросе подчиняться не только пархатому эсеровскому ЦК, но и своим начальникам по «Интеллиженс сервис». Уходить, только уходить!

Нужный ему кабинет на втором этаже, а расположение он знает на память. Давно объединенный рыбами владелец удостоверения рассказал всё подробно, хоть и матерился беспомощно, присутствием дамы не озабоченный. А он тогда же, в сыром сумраке над Пряжкой, под тихие всхлипы девицы (Лизы, кажется) начертил в памяти своей план... Вот ведь, не вызвало удостоверение никаких сомнений, хоть и с подчисткой. Потому что для дежурного не в написанном проблема: стоит где-то в печатном тексте лишняя точка или черточка, удостоверяющая подлинность бланка, а точность воспроизведения фамилии едва ли проверяется: ошибся писарь, сам же и исправил, бланки-то ведь на вес золота, наперечёт.

Вот и второй этаж. Он взглянул на окно: стекла двойные, однако решётки нет – как и определено было с улицы. А что Дзержинский в здании, никаких сомнений быть не может: Рейли сам решился войти только через полчаса после того, как подкатил мотор, а из него железный Феликс выбрался и скрылся в дверях. Высокий, с чеховской бородкой, в длинной кавалерийской шинели изящный, как тощая дама, он вовсе не походит на монстра, руки которого замараны кровью десятков тысяч жертв красного террора. Вот и «211» комната.



Рейли страстно возжелал, чтобы Дзержинский покинул сейчас кабинет и появился в коридоре. Тогда можно было бы просто выстрелить в упор, прижав ствол пистолета ему к груди. Звук вышел бы глухой, и появился бы шанс уйти через вестибюль, мимо дежурного и часовых. Однако ни в какие дары судьбы Рейли не верит, а Богу молиться не станет. Воспитанный в небрежном иудаизме, он в четырнадцать лет в составе своей семьи перешел в лютеранство, что не способствовало пылкости религиозных чувств. И в самом деле, уместно ли просить у Бога помощи в таком сомнительном деле, как убийство врага? Скорее уж у дьявола, хотя многое свидетельствует о том, что человек в таких вещах оказался компетентнее и практичнее самого Князя тьмы. А ему, Сиднею Рейли, и не нужны никакие религиозные мотивировки! Он объявил большевикам свою личную войну и воюет за то, чтобы уничтожить остров хаоса в океане мирового порядка, чтобы вырезать хирургическим скальпелем это рожистое воспаление, этот ужасный кусок дикого мяса на чисто выбритой, хорошим одеколоном промытой физиономии уважаемого, во всяком случае, уважаемыми джентльменами управляемого, земного шара. Он, бывший одесский мальчик Шльома, страдавший от русского антисемитизма, унижаемый в России тысячью и одним способом, нынешний гражданин Британской империи капитан Сидней Рейли, сражается сейчас за то, чтобы после этой своей личной войны почитать за бокалом хереса газету в лучшем лондонском клубе, а не пустят туда, так в клубе бывших разведчиков, а нет – так в клубе лондонских евреев, да только в клубе, за бокалом хереса и с лакеем у столика.

Любопытно, как встретит смерть железный Феликс. Известно, что оружия при себе не носит. Будет пытаться достать из ящика стола? Или попробует спрятаться в задней комнатке, где у него стоит солдатская койка, покрытая казенным одеялом? Пожалуй, лучше не смотреть ему в глаза, а сразу стрелять. В прошлом году в Харькове какая-то баба пыталась Дзержинского прикончить, да не смогла выстрелить. Бог его знает, почему не смогла, лучше не рисковать. Помнит Рейли, как в детстве рассматривал гравюру из номера «Нивы», неизвестно как попавшего в их подвал, «Фридрих II и пандур» (или не пандур?). В общем, там мужик с ружьем выцеливал короля в треуголке, а король грозил ему пальцем. Маленький Шльома понял дело так, что в следующее мгновение, не

нарисованное художником, таинственный пандур выстрелит и порешит короля: потому так подумал, что сам, имея ружье, пальнул бы, погрози ему кто пальцем в такой ситуации. Какое же разочарование ожидало его вечером, когда отец, собрав семью возле господского журнала, показывал всем картинки и читал вслух объяснения к ним, найденные в конце номера! Оказывается, стрелок побоялся королевского пальца.

Хватит медлить. Пора! Осторожно положил свёрток с бомбой на подоконник, расстегнул кобуру, достал «люгер», давно уже с патроном в стволе и снятый с предохранителя, устроил поудобнее в кармане галифе. Поднял свёрток. Первым делом – убрать секретаря... Что за черт! Щенок-секретчик об этом не предупреждал. Ни слова не выдавил о том, что рядом с кабинетом Держинского какое-то длинное помещение. Может быть, он забыл о комнате для совещаний коллегии ВЧК? Рейли подкрался к двери и прислушался. Голоса! Если совещание коллегии, тем лучше. Рейли решительно отворил дверь с номером «211» – и оторопел.

– Товарищи! Фридрих Энгельс рассматривал исторический материализм как важнейшую часть философии марксизма. Мировая история... Товарищ, уж если опоздали, так не мешайте вести семинар! Садитесь, а староста группы пусть вас отметит. Итак, мировая история развивается закономерно...

Никакой это не закуток для секретаря перед кабинетом председателя ВЧК. Большой зал для собраний, вот это что. В зале довольно свободно, по одному, по два, сидят с блокнотами чекисты в форме, человек двадцать всего, на трибуне седой докладчик в штатском пиджаке и в пенсне. «Семинар»? Таки перехитрил его щенок!

– ...личность в истории вовсе не играет такой роли, что приписывают ей некоторые буржуазные...

Рейли выхватывает из-под левой руки бомбу и швыряет, метя в центр зала. Выскакивает за двери и быстро смещается в сторону, заслоняясь стеной, тут же отскакивает на середину коридора.

Волосатый Симон клятвенно обещал три секунды задержки, но бомба срабатывает через секунду, не больше. Дверь с грохотом вылетает, стена на мгновение вспучивается, однако кирпичи остаются на месте. Рейли подскакивает

к окну, только что зазвеневшему стеклами – и останавливается: страшно вдруг стало спрыгнуть со второго, довольно высокого этажа. Удушливое облако химической вони накрывает, и он решается... Тут его обхватывают сзади, Рейли в панике вырывается, разворачивается, уже с пистолетом в руке, и видит перед собою давешнего докладчика. С кровавой царапиной на лбу, засыпанный известкой, тот бормочет:

– Нехорошо поступаете, товарищ чекист, нехорошо... Ну, опоздали, ну, сделал я вам замечание – так зачем же камнями швыряться?

Старик снова пытается схватить Рейли, тот стреляет – в упор, как мечтал выстрелить в ненавистного Дзержинского. Топот в коридоре, стоны и крики во взорванной аудитории. Рейли вспрыгивает на подоконник, прикрывает лицо локтями и, пробивая плечом стекла, прыгает на улицу.

Приземляется, как и рассчитывал, на согнутые в коленях ноги, откатывается в сторону. Фуражка и кожанка спасают от осколков стекла, но, возможно, просто сгоряча он не чувствует боли от порезов. Зато ноги и бока, те болят нестерпимо. Встает на ноги, ноги его держат – целы, значит, не поломаны. Приближающееся цоканье копыт, два щелчка-выстрела. Это Симон с облучка пролётки, стоявшей у следующего за зданием ВЧК дома, пытается попасть из револьвера в часовых у входа.

Пролётка уже рядом, Симон, в извозчицком армяке, придерживает лошадёнку, Рейли на ходу вскакивает на сиденье рядом с оглушенным извозчиком. Симон размахивает кнутом над головой, они мчатся через площадь, над головами сверлит воздух пуля, сзади бухает винтовка, в особняке впереди окно рассыпается стеклянными брызгами. Пролётка влетает в Малый Черкасский переулочок, за вторым углом Симон натягивает вожжи, сбрасывает с плеч армяк, накидывает его на извозчика, выпрыгивает из пролётки. Рейли за ним. Симон хлещет кнутом лошадь, и она, коротко заржав, утаскивает пролётку куда глаза глядят. Симон и Рейли забегают в подворотню и проходными дворами устремляются к своей берлоге на заднем дворе Варсонофьевского переулочка. Кружный маршрут проложен заблаговременно.

На полпути, в давно присмотренном тёмном, загаженной донельзя и засыпанным жёлтыми дубовыми листьями промежутке между двумя сараями,

Рейли под охраной Симона стаскивает кожанку, стягивает френч и вытаскивает из галифе подол косоворотки. Снова в кожанке, заматывает во френч фуражку и выходит на свет Божий демобилизованным мещанином.

Симон хохочет, захлебываясь, тычет обожжённым химикатами пальцем ему под ноги:

- Да ты в дерьмо вступил, бомбист хренов!
- Вступил, вступил, – зло соглашается Рейли.

### **Глава 19. Марина Цветаева**

Эта квартира в старомосковском Борисоглебском переулке не знает цепочек, гражданская война ничему не научила хозяйку: дверь распахивается сразу и настежь, как откидная крышка музыкальной шкатулки.

На пороге невысокая молодая женщина (да, скорее молодая) в мятом, несущественном платье. Она растеряна, хотя держится очень прямо, голова откинута назад, а большие зелёные глаза беспомощно недоумевают. Тут же из кармана фартучка извлекается лорнет, он уже у переносицы, но прежде чём хозяйка успевает задать вопрос, Гривнич, снимая канотье, опережает:

– Вы – Марина Цветаева?

– Нет, не он, – отвечает она разочарованно. – То есть да, конечно. Вы так постучали... Как стучал один человек.

– А я – Валерий Бренич, настоящее имя – Валерий Осипович Гривнич. К вам по делу, Марина Ивановна.

– Собственно, так мой муж стучал в дверь, Сергей Эфрон. Он ушёл добровольцем в белую армию, и я даже не знаю, жив ли. Мой друг Илья Эренбург поехал в Париж – большевики его выпустили. Он обещал разузнать о Серёже и мне написать.

– Ну разве можно, Марина Ивановна, такое – и сразу выкладывать первому встречному? – засуетился Гривнич.

– А что – такое? Об этом и без того все знают. А вы – не совсем ведь первый вы встречный, если стучите тем же стуком, что и Серёжа. Проходите, наконец.

Гривнич шагнул – и оказался в тесной, полутёмной комнатке, из-за маленького окна похожей на каюту, однако служившей, судя по секретеру, кабинетом. Не поверив глазам своим, огляделся ещё раз – и возблагодарил Бога за то, что в первый момент знакомства с жильем оказался повернут к хозяйке спиной. Впрочем, из полуприкрытой двери, ведущей в смежную комнату, как раз вытянула тонкую шейку бледная девочка лет восьми, очень похожая на мать.

– Здравствуй, гость нежданный, нежеланный с улицы туманной! – продекламировала девочка. – Меня зовут Алей, я дочь болярыни Марины. А ты, гость – разве мещанин?

– Дядя Валерий я, – пробормотал он, совершенно потерявшись.

Опешил бы Гривнич куда сильнее, кабы не довелось ему побывать в квартире у Виктора Шполянского, в прежней, снятой до водворения в «Дом искусств». Презирая низкий быт, Виктор и его передовая подруга жизни весь мусор бросали, вполне безмятежно, себе под ноги, и Гривничу, когда продвигался к табурету, для гостя очищенному от книг и оттисков, показалось, что идет по ковру сухой осенней листвы. Здесь же изредка брали веник в руку, зато одежда прихотливо разлетелась по комнате, а все открытые поверхности и даже чучело орла под низким потолком, волчья шкура на полу, не говоря уже об извивах резьбы на секретере, запорошены табачным пеплом и пылью.

– Не извиняюсь за беспорядок, – отчеканила Цветаева, закурила папиросу, затаилась и продолжила надменно. – Если бы у меня не отключен был телефон, и вы могли бы предупредить о своём визите – и тогда пальцем не шевельнула бы. У меня четыре года как нет прислуги, а превращаться сама в прислугу я не желаю – даже ради малых своих детей... ради собственного ребенка. И ради собственного ребенка не стану – именно! Конечно, я сумела бы содержать свой дом в бедном блеске, в мишурной чистоте – а кто бы за меня писал, кто бы зарабатывал на хлеб для Али? А у нас хлеба уходит три фунта в день!

Она уже проникла в комнату, Аля, стоит, не глядя на гостя, – руки в боки – перед захлапленным стулом. На этот раз успел он рассмотреть, что подстрижена языкатая девчонка точно так же, как и мать – в скобку.

– Я, Марина Ивановна, к вам с предложением, некоторым образом даже и денежным... – начал свой монолог Гривнич и прервал его вовсе не потому, что исчерпал заготовку, а потому что хозяйка не смогла дольше молчать.

– Конечно же, я принимаю ваше предложение, предложение вашего Юбилейного комитета. Но я просила бы избавить меня от членства, пусть и формального, именно в комитете в честь Достоевского. Я даже не могу сказать, что не люблю Достоевского – я, быть может, его и полюбила бы и, конечно же, признала бы его гениальность (внутренне, для себя бы признала), если бы я научилась его дочитывать. Чуть начну его роман, особенно часто это у меня получалось с «Идиотом», сразу начинаю рыдать, потому что – сразу – до того мне жаль автора, вот именно самого Федора Михайловича, что начинает казаться: дальнейшее чтение приведет к невозвратной беде не только для Федора Михайловича, но и для меня.

– Вот как? – опешил Гривнич. И продолжил, запинаясь. – Однако же вы писали, а я где-то читал у вас о Рогожине... Вот: «Не в таких ли пальцах садовый нож Зажимал Рогожин?» Я ещё, помнится, удивился – почему именно «садовый»? И не поленился заглянуть в роман...

– Да? – сморщила нос зеленоглазая парадоксалистка. И, отнюдь не извиняющимся тоном, скорее себе самой пояснила. – Я ведь рассказывала о первом, самом оглушающем прочтении. А потом, когда подступил спокойный стих – на грани с леностью души спокойный – дочитывала, конечно же, дочитывала... Боюсь, что дело также и в том, что я пришла к литературе совсем с другого конца, не от Достоевского, Льва Толстого, Розанова (это моя сестра Анастасия буквально помешалась на Розанове, даже подражала ему в двух книжках), а от Пушкина, в котором уже есть всё для русской души. И от «Песни про купца Калашникова» – самая московская вещь в русской литературе, и от неизвестно чьих «Царевны в зелени» и «Петра, плотника Саардамского», и от трёх томов сказок Афанасьева – это ведь смешно, правда?

– И вовсе не смешно, Марина Ивановна, – проямлил Гривнич. Он только что наблюдал, как Аля деловито, обхватив ручонками кипу всякого тряпья, освобождала для него стул, поразился худобе ребенка и порешил во что бы то ни стало всучить его матери командировочные. – У каждого свой путь в литературу,

и важно не *как*, а *что*. Вас выбрали за сделанное вами в поэзии, поэтому ваше личное отношение к Достоевскому несущественно... А в комитете вы можете только числиться, и уж во всяком случае вам не придётся заседать.

И Гривнич решительно протянул конверт. Цветаева, не открывая, сунула конверт в карман передника и задумчиво произнесла:

– Я не очень-то разбираюсь в мистике... Можно сказать, совсем не разбираюсь. Не знаю, подействует ли ваш обряд («Обряд дома Месгрейвов» – почему вспомнилось?) на внешние – внешние и чужие (вы понимаете?) относительно нас, поэтов, силы... На эту игру сатанинских сил. Однако вмешаться необходимо. На поэтах лежит обязанность защитить свой народ. Знаете, я долго не могла опомниться после смерти Блока, просто заболела этой вестью.

– Мы все... – заикнулся было Гривнич. И смолк, остановленный огнём, сверкнувшим в глазах женщины в мятом переднике.

– Я, я виновна в его смерти! Я ведь пропустила в своё время свою большую встречу с Блоком (встретились бы – не умереть ему). А почему пропустила? Волею стиха: сама легкомысленно – двадцати лет от роду – наколдовала ветрено: «И по имени не окликну, И руками не потянусь». Зачем? Знаю, зачем – чтобы красиво написать, только и всего... Или ещё:

Но моя река – да с твоей рекой,  
 Но моя рука – да с твоей рукой  
 Не сойдутся, Радость моя, доколь  
 Не догонит заря – зари.

– Здорово! – ахнул Гривнич. Как мог он не оценить такого поэта? Проклятый петербургский гонор!

– Готова согласиться, неплохо, – скромно, как школьница, выслушавшая похвалу учителя, потупилась Цветаева. Тут же снова воодушевилась, мгновенно. – И вот из-за этой-то зряшной (книжной!) красоты звучащих слов – упустила его, не сберегла! (А я бы Орфею сумела внушить: «Не оглядывайся!»). И ведь была же такая секунда, Бренич, когда я, этой весной, стояла с ним рядом, в толпе (семь лет спустя, как впервые увидела!), глядела на впалый висок, на чуть рыжеватые, такие некрасивые (стриженный, больной!) – бедные волосы, на пыльный воротник

заношенного пиджака. Стихи у меня в кармане были – только руку протянуть – но дрогнула. (Передала через Алю, без адреса, накануне его отъезда). Ведь и тогда был ещё шанс спасти его – от пустоты. Я чувствую это сейчас.

– Не казните так, вы не виноваты, – еле выговорил Гривнич. И встрепнулся. – Забыл вас предупредить, что предприятие предлагаю не вполне безопасное. Особенно же в Москве мне ясно стало: даже на упоминание о столетии Достоевского тот же Брюсов бросается, как бык на красную тряпку.

– Вы ведь писали стихи, правда? Я читала кое-что, некоторые пародии – в списках из Питера привозили... Но вы ведь не приходили к Брюсову на поклон со своими юношескими стихами, правда? Вот он на вас и накинулся. Я тоже не догадалась тогда сходить, хоть и недалеко было – тут, на Москве. Вот и не печатали меня, ни в одном издательстве не печатали, где великий Брюсов верховодил – в «Скорпионе», в первую очередь, конечно, – и нигде. Врать не стану, я не то чтобы совсем не догадалась, как это было бы полезно – принести ему заветную тетрабочку и восторженно вытаращиться на его бородку, просто была девочкой своенравной. Вот никак не соглашалась я с тем, что «Быть может, всё в жизни лишь средство...»

– «...Для ярко-певучих стихов» – подхватил Гривнич.

– Ну да. Чушь несусветная. И если у самого Брюсова действительно слова из слов, рифмы из рифм и стихи из стихов рождаются, то грош цена такому поэту.

– Марина Ивановна, я вас не про литературные опасности предупреждаю! Есть большевики куда более опасные, чем певец в стане красных воинов Валерий Брюсов.

Цветаева закинула голову назад и гордо усмехнулась.

– Меня теперь ничего не может здесь испугать. После того, как я написала стихи о «русской Вандее» (мой ненапечатанный сборник «Лебединый стан») и читала их везде, куда меня приглашали, на каждом литературном вечере, и даже во Дворце Искусств, в бывшей усадьбе Соллогуба, где во флигеле живёт Луначарский. Я знала, что протаптываю себе дорогу на эшафот, как Андре Шенье, а ЧК меня не тронула – побоялись... Нет, теперь я ничего не боюсь.

– «Русская Вандея»... Это что ж, об антоновцах?

– Нет, конечно. О белой гвардии, об её рыцарях, Валерий.



– Вас чекисты не тронули, Марина Ивановна, – нахмурился Гривнич, – а вот Гумилёв в Петрограде расстрелян.

С удивлением взирает Цветаева на пустой мундштук, достает из кармана передника спички и папиросницу, закуривает, затягивается. Оглядывает торопливо комнату, обнаруживает дочь, притихшую в уголке. Машет на неё мундштуком, выпроваживая («Нет, на кухню, будь добра» – «Вы неправы, неправы, Марина...»). Гривнич принохивается: на невидимой кухне варится конина. Кухонная дверь захлопывается, Цветаева щурится, черты её смуглого матового лица твердеют.

– Да, Гумилёв, – на выдохе, с дымом. – Гумилёв... Он – офицер, мужчина. Здесь говорят, что список расстрелянных чудовищен, что это грандиозная чекистская провокация. Хорошо. Допустим, провокация. И я знаю, что за Гумилёва просили. Даже нарком Луначарский просил. И вот представим себе, что петербургские сатрапы послушались – и выпустили Гумилёва. Остальных расстреляли, даже женщин, машинисток там, поварих, согласившихся готовить для заговорщиков... Женщин расстреляли – а Гумилёва выпустили! Как бы вы тогда себя на его месте почувствовали, Бренич? Боюсь, что он сам застрелился бы...

– Вот как вы поворачиваете, Марина Ивановна, – насупился Гривнич. Он забыл уже о сумасшедшем, поистине разум отбирающем страхе, испытанном на допросе в ЧК, и ему показалось, что хитрый выверт москвички унижает не только память геройски погибшего Гумилёва, но и его самого как свидетеля ужасов чекистского узилища.

– Да не поворачиваю я никуда! – досадливо бросила Цветаева. – Разве я осмелилась бы обвинять Гумилёва, если бы ему удалось вдруг спастись? Виноваты большевики, затевающие столь жестокие игры. Я к тому веду, что ваши доверители правы – нужно противодействие. Вот я, слабая женщина, с малолетним ребёнком, бросила перчатку ВЧК – но убийцы предпочли не заметить моего вызова. А если лучшие поэты страны возьмутся за руки и совместно помолятся о мире и покое на Руси – может быть, что-то в кровавых душах вождей и отзовется – когда им донесут после первых допросов этих поэтов на Лубянке... Но меня смущают кое-какие детали, и сомнения мои – увы, конкретны.

– Слушаю вас, Марина Ивановна.

– Сначала чисто практический вопрос. Меня беспокоит – а соберёте ли вы людей для ритуала, Бренич? Тут, в Москве, именно тут. Я не стану сейчас говорить о том, как большевики опохабили мою Москву, моих сорока сороков церковью Москву – это особая тема, но они развратили здешнюю интеллигенцию. Как больно мне, что теперь молодые рвутся в Москву не колокола послушать, не восьмисотлетней истории поклониться, а потому что у нас тут ближе к большой печи с пирогами! Вон даже Маяковский взъярился, продавшихся большевикам по адовым кругам рассадил – будто матерьял заготовил для нового Данте:

Пляшущие, в дуду дующие,  
и открыто предающиеся,  
и грешащие тайком,  
рисующие себе грядущее  
огромным академическим пайком.

А сам он – чем «открыто предающихся» лучше? Тем, что предался большевикам искренне – из политических своих убеждений? Тем, что свой паек ест с чистой совестью? Я думаю, что для России только позорнее, когда моральная слепота настигает такую мощнейшую поэтическую индивидуальность, как Владимир Маяковский. Он, сколько бы перед большевиками ни выслуживался и как бы ни дружил с чекистами, конечно же, большой и, наверное, первый в России поэт теперь. И не вздумайте, Валерий, сунуться к нему с вашим безумным – блистательно безумным – проектом! Ибо потом пожалеет и будет совестью мучиться – однако прежде возьмет вас за шиворот и доставит в «приёмный покой» на Лубянке. Впрочем, ему самому и трепыхаться нет нужды: живёт ведь в одной квартире с чекистом, Осипом Бриком, мужем – та ещё семейка! – своей несравненной Лилечки! Он вас этому родственнику (по образцу будущих прекрасных коммунистических семей) сдаст – и готово дело!

– Спасибо за предупреждение, Марина Ивановна.

– Кушайте на здоровье, Валерий Осипович. А имажинисты, те прямо заявляют: они левее (то бишь – революционнее?) большевиков. Этот их Мариенгоф воспевает красный террор – на что и коммунист Брюсов не решился. Они же расписали матерной бранью – и своими стихами (различие

несущественно) Страстной монастырь, и Есенин, этот большой ребенок, с ними! Им кровавая кремлевская власть, что мать родная, а её зверства импонируют их извращенному эстетическому вкусу. Вы знаете, что придумали Мариенгоф с Шершеневичем (такие русские имена и такое русское течение, имажинизм!), когда пришло известие о смерти Блока?

– Нет, – ответил Гривнич и заранее поморщился: столь глубокое отвращение увидел на лице Цветаевой.

– Устроили вечер на тему «Слово дохлого поэта», чтобы отпраздновать радостное для них событие. Шершеневич, Мариенгоф, Бобров и некто Аксёнов.

– Сергей Бобров? Ну, этот мне понятен...

– Есенин, правда, не участвовал, но и не отмежевался от друзей... Говорят, Ахматова заявила о некоем интимном поводе для стихотворения: он-де ещё недостаточно бесстыден, чтобы стать предметом поэзии. Имажинисты же поступили слишком бесстыдно, чтобы оставаться в русской поэзии. И это рабское восхищение ЧК! Есенин, и тот... Понравилась ему на дне рождения Алексея Толстого, ещё в восемнадцатом году, одна моя знакомая, и решил он её заинтересовать, вот и приглашает со всей сельской непосредственностью: «А хотите поглядеть, как расстреливают? Я вам это через Блюмкина в одну минуту устрою». Каково?

– Да уж... То есть вы думаете, что и к Есенину лучше не подходить?

– Думаю, что поговорить с ним можно. Он человек крепко себе на уме, хоть и подвержен – а мы с вами разве не подвержены? – влияниям. Однако я почему-то уверена, что в ЧК он вас не сдаст. Но сами видите – узок круг. Если вам именно поэты нужны, настоящие, а не известные только профсоюзу – худо дело. Вот ещё Пастернак, человек замечательной искренности – хотя лично его не пристально знаю – но он под таким же влиянием Маяковского, как Есенин – под циником Мариенгофом.

– Спасибо за совет, Марина Ивановна... Ох, а как же вы поедете в Новгород? Ребенок ведь...

– Аля? Пусть дитя моё вас не волнует, Валерий. Меня вот в вашем предприятии мистика смущает. Нет, я не могу сказать, что я вся – только в этом мире. О, как я знаю тот! С тех пор, как узнала я, что я поэт, поняла свою вхожесть

в тот мир. Я знаю его по снам, по особому воздуху снов, по разгромождённости снов от всего, чём душит нас этот свет – где я обижена, которого не люблю, которого не знаю! Однако я всегда думала и думаю сейчас – это бесспорно для меня... Общение с потусторонностью – дело всегда личное, даже интимное – ведь так?

– Я бы не сказал, Марина Ивановна. А народные обряды, те же моления о дожде, что сохранились и теперь – языческие в христианской форме? Но я хотел бы вам признаться, что в нашем комитете мистической стороной дела не занимаюсь, только с участниками работаю, и то, сами видите, скорее как курьер. Только я вам скажу, что лично меня эта работа увела от самоубийства, Марина Ивановна. У меня даже планы на будущее начали прорезываться. После того, как Анна Андреевна Ахматова дала мне добрый совет. Поэтому я, хоть и не смогу участвовать в ритуале, буду рядом с вами и разделю вашу судьбу... И зачем только я вам об этом рассказываю?

– Потому, что я Марина, – устало улыбнулась она. – Знаете что – выйдемте-ка вместе? Мне надо теперь пойти еды поискать, молока... Да и дверной замок снаружи лучше запирается.

## **Глава 20. Сергей Есенин**

Если «Привал комедиантов» смотрелся как бледная тень «Бродячей собаки», а «Кафе поэтов» – футуристическим подражанием «Привалу», то «Стойло Пегаса» Гривнич расценил как приспособление для прикрытого поэтическим фиговым листком выкачивания дензнаков из уцелевшей буржуазии. Что же касается местного содержателя буфета Анатолия Дмитрича (так его называли почтительные завсегдатаи), тяжёлым шагом командора расхаживающего между тесно поставленными столиками, то в сравнении с этим монументальным субъектом петербургский делега Виктор Пронин показался бы благостным энтузиастом и бессребреником.

Они, Всеобщий благодетель под ручку с Лизою, Гривнич вроде как другом семьи, с трудом нашли свободный столик. Когда подошла официантка в почти чистом фартучке, Чернобородый принялся делать заказ, а Гривнич спросил:

– По какому случаю аншлаг?

– Не сбивайте меня... Три лимонада, капустные котлеты с гарниром, шесть пирожных... Кавказский чай будете брать?

– Какой чай, милая? – удивился называющий себя Иблисовым.

– Это Сергей Александрович придумали, – прыснула. – Красное вино...

– Да, конечно.

– Советую сегодня не торопится, придержать за собою столик. Вы посетители из серьёзных, а дальше к вечеру несерьёзных набегит, в дверях стоять будут, швейцара нашего в зал втиснут... Сергей Александрович опять будут про Пугачева читать.

Рассеянно следя за тем, как, отходя, засовывает она истрепанный самодельный блокнотик в кармашек передничка, Чёрный человек негромко спросил:

– Вы ведь знакомы с Есениным, Валерий Осипович?

– Трехлетней выдержки наше знакомство: в Петрограде меня представили, едва ли он вспомнит... А вот и Маяковской!

Высокий и громоздкий Маяковский в светлом летнем костюме уверенно продвигался между столиками, придерживая на плече рыжего пушистого зверька. Сначала показалось, что лисёнка, потом рассмотрел Гривнич: белочка. Поэт-великан отодвинул стул, уйдя и сам в сторону – и показалась дама, державшаяся до того за его широкой спиной. Лиля Брик, по-прежнему рыжая и в остальном не очень-то изменившаяся с петроградских времен.

– Как он смеет материться! – воскликнула Лиза.

– Кто? Маяковский?

– Этот – на сцене!

На эстраде рычал и кривлялся набеленный молодой человек с бритым черепом, как после тифа. Пришлось объяснять Лизе, что начинающие вынуждены исхитряться, ведь в поэзии уже всё изобретено и придумано, то есть почти всё – вот некоторые, рискуя, что их просто под руки милиция выведет, и стремятся превзойти имажинистов в расширении границ поэтического языка. Ничевок, должно быть. Когда же молодой человек принялся в столь же решительных

выражениях обосновывать свою поэтическую платформу, выяснилось, что он принадлежит к другой группе:

– Запомните имя моё, его ещё прославит в хвалебной статье страдающий старческим запором Валерий Брюсов – экспрессионист Ипполит Кречетов!

– Невелика разница, – заявил Чернобородый, – что экспрессионист, что ничевок. Вот фуисты меня злят – сам не пойму, почему.

Лиза покраснела. И сразу принялась благодарить Всеобщего благодетеля за купленные ей на Сухарёвке настоящие духи «Coeur de Jeanette», тот отнекивался: он-де уверен только, что флакон от «Coeur de Jeanette», и это, мол, приятно. Очевидно, была восполнена и недостача в шёлковых чулках, а также в прочих предметах первой девичьей необходимости. Валерий пожал плечами, повернулся в сторону Маяковского, встретил его внимательный взгляд и легко поклонился. Поэт улыбнулся, привычно кривя на сторону массивную нижнюю губу, и вернул полупоклон.

– Да вы тут со всеми знаменитостями знакомы, – поддел Гривнича работодатель. – А куда подевался ваш Есенин?

– А они придут, когда захотят, – непринужденно вмешалась официантка, выставляя на стол тарелки с пирожными. – Сергей Александрович ведь совладелец «Пегаса» и никого тут не слушают. Наоборот, скандалить обожают, из-за чего многие сюда и повадились.

– Пахнет вареной картошкой, – строго заявила Лиза, принявшись к пирожному.

– У нас здоровая пища, – не обиделась официантка, – из свежей картошки с сахарином, а крем из черники. Не едали вы, товарищи, пирожных в кафе «Домино», ну, в «Клубе поэтов», там выше по улице. Вряд ли вашей барышне больше понравились бы тамошние пирожные из жмыха с мыльным кремом.

На эстраде возник очередной бурный гений, а Гривнич принялся осматривать стены. Достаточно уже закопченные, они были расписаны в два цвета, яркий ультрамариновый и яркий жёлтый – что, несомненно, понравилось бы сичевикам-петлюровцам. Синим тоном был заполнен фон, а на нем светлели модернистские фигуры имажинистов и, по знакомой уже схеме, цитаты из их шедевров. Прямо перед Гривничем маячило изображение, в котором можно было

узнать высокого красавца Мариенгофа, хотя художник-кубист ему отнюдь не польстил: в грязно-жёлтом цилиндре неистовый стихотворец наносил удар кулаком в жёлтый круг. И не в апельсин, оказывается, а в солнце, потому что надпись гласила:

В солнце кулаком бац!  
 А вы там, – каждый собачьей шерсти блоха,  
 Ползайте, собирайте осколки  
 Разбитой клизмы.

Некогда довелось Гривничу осилить поему Мариенгофа «Магдалина», и на этот раз его снова чуть не вырвало. Чем объяснить, что он предпочел бы сейчас услышать матерную деревенскую частушку? Ведь по языку поганое это четверостишие вполне отвечает пушкинской ещё литературной норме... Тем временем тошнотворный текст сгинул, растаял во тьме, остались гореть только гирлянды разноцветных фонариков, обрамляющие эстраду, и на ней в полутьме пианист во фраке начал наигрывать ариэтку Вертинского «Лиловый негр», а две танцовщицы (одна в мужском костюме и с тёмным гримом) разыгрывать её сюжет.

Лиза придвинула стул ближе к Гривничу, шумно задышала и накрыла его руку горячей ладошкой. А ему припомнилась Marie, её милая манера подстергать его (или Кузмина) за углом и бросаться на грудь, словно гепард из засады. Застенчивость, уединенность мнимо простой, утонченной и, уж во всяком случае, наглухо затворенной для русского дикаря души – вот что пряталось за этой её игрушечной агрессивностью и артистическим бесстыдством. А мы здесь, и в особенности те, кто не покинули свой народ, не убежали туда, где качественна колбаса и замечательно питательны сливки, мы, что бы из себя не корчили, остаемся грубыми и добродушными варварами. Достоевский великолепно показал это в «Игроке», в отношениях своего его-героя с француженкой и англичанином. Или взять того же Вертинского; ведь там, на Западе, ему никогда не достичь такой популярности, как в России – именно потому, что он на своём уровне одаренности варварски простосердечен и взаправду, от всей души, сочувствует своим несчастным и смешным героям. Но почему ариэтки

Вертинского, одно время выступавшего в кафе вместе с Маяковским, звучат здесь, в логове заклятых врагов футуризма?

Последние такты надрывной и примитивной песенки. Вспыхивает свет. Лиза щурится на Чернокостюмного, но руки не убирает. Гривнич присматривается – и ахает:

– Что вы сделали со своими глазами, милая?

– Так вы, Валерий Осипович, впервые за весь вечер на меня посмотрели?

Это же a la turque, самая модная новинка в Париже!

Ничего себе новинка: углы глаз выведены фаберовским карандашом чуть ли не до ушей... Деликатный кашель справа, и – ехидным тоном:

– Ваши юные чувствования весьма трогательны. Однако же, Есенин появился. Это ведь Есенин, я не ошибаюсь?

Действительно, это Есенин пересекает зал, здороваясь со знакомыми, присаживаясь за столики. Принять его за кого-нибудь другого абсолютно невозможно, ибо Есенин есть ярчайшая эмблема самого себя: «Вот он я, надежда русской литературы Есенин Сергей». Выглядит он таким же франтом, как и в начале восемнадцатого года в Петрограде, и ещё четче определился в своей молодой мужской красоте. И едва ли не тот же серый костюм на нем, что и тогда, только перелицован, перешит изнанкой наружу, как у всех модников эпохи военного коммунизма, а посему нагрудный карман, в котором торчит батистовая тряпочка в тон синему галстуку, оказался справа. Он подходил всё ближе, и увидел Гривнич, что поэт продолжает завивать свои золотые волосы, а лицо припудрил – не удивительно, ведь сегодня ему на эстраду.

– Привет, Бренич, рад, что ты приехал, – он уже у столика, протягивает руку, вот рука у него крестьянская – красная, сильная. – Подойди ко мне в хозяйский закуток, хорошо? Сразу после чтения. Сегодня – «Пугачёв»!

– Рад свидеться, – пробормотал Гривнич. – У меня тоже к тебе разговор.

Выглаженная спина Есенина уже возле «хозяйского закутка», на эстраде кричит и шепчет очередной начинающий, когда Чернокостюмный наконец выдает:

– Да я вам жалованье удвою, Валерий Осипович!



Гривнич не слышит. Он вспоминает, как Есенин одним словно бы изумленным взглядом обласкал вспыхнувшую Лизу, однако на Всеобщего благодетеля посмотрел, как на пустое место. И если точнее, так старательно не смотрел на Чёрного. А о чём хотел поговорить с ним, человеком еле знакомым?

– Господи, да какой же он рассеянный! Валерий Осипович, вы что же – не слышите меня? Что такое «Пугачёв»?

– «Пугачёв», Лиза, это ещё не напечатанная трагедия Есенина. Он её прочитает один, как я понимаю, с эстрады. Вы ведь ещё не слышали, как Есенин читает...

Однако прежде им пришлось выслушать чтение другого имажинистского гения, Анатолия Мариенгофа, атлетически сложенного доброго молодца. Подразнив публику по мелочам для затравки, принялся он выкрикивать:

Кровью плюем зазорно  
 богу в юродивый взор.  
 Вон на красном чёрным –  
 «Массовый террор»!  
 Метлами ветра будет  
 говядину чью подместь,  
 В этой черепов груди –  
 наша красная месть!  
 По тысяче голов сразу...

Зал заревел, зашикал, заулюлюкал, на сцену полетели недоеденные яблоки, совсем рядом с головой Мариенгофа пронеслось пирожное и живописно размазалось на кубистическом заднике. Поэт, белозубо улыбаясь (полагал, очевидно, что блестяще выполнил свою задачу), укрылся за кулисами.

– А при чём тут говядина, Валерий Осипович? – прокричала Лиза в ухо Гривничу.

– Я и сам не понял! – смалодушничал.

Для себя, однако, предположил, что образ взят у Хлебникова из «Ладомира»: «Где битвы алое говядо...». Но там же рядом и такое:

И небоскребы тонут в дыме  
 Божественного взрыва.

И обнят кольцами седыми  
Дворец продажи и наживы.

Неужели чудаку не дают покоя лавры Нострадамуса?

Публика ещё бесновалась, когда на эстраду прямо из зала запрыгнул Есенин. Начал с того, что попытался поймать последнее яблоко, запоздало брошенное на эстраду, не поймал – и растерянно развёл руками. В зале зааплодировали. Есенин наградил публику своей мальчишеской улыбкой и заявил доверительно:

– Уж лучше я вам прочитаю из моей трагедии «Пугачёв».

И они слышали знаменитую (а быть может, и не стоящую этой допечатной славы) трагедию в незабываемом чтении Есенина, игравшего всех персонажей и во всех – себя, в чтении, залихватски удалом и визгливо-песенном, до предела наполняющем слушателя эмоциями и утомляющем – тем счастливым и недоуменным изнеможением, что настигает провинциала, вздумавшего за день пересмотреть все картины Эрмитажа. Однако Есенин закончил именно тогда, когда Валерий уже не смог бы дольше вслушиваться. Зал взорвался.

Лиза тоже вскочила на ноги, замахала руками, завизжала из монолога Хлопуши:

Приведите, приведите меня к нему,  
Я хочу видеть этого человека!

Поутихло немного. Есенин, не остыв после чтения, по дороге через зал пристал к Маяковскому:

– Россия моя, ты понимаешь, моя, а ты... ты – американец! Моя Россия!

Маяковский свёл брови домиком, посмотрел, не испугалась ли белочка на плече Лили Брик, а потом взял со стола судок для специй и протянул Есенину:

– Возьми её себе, Россию, пожалуйста! Ешь её с хреном!

Есенин расхохотался. Тогда и Маяковский рассмеялся – беззвучно. Нет, не показалось Гривничу в шумном зале: Маяковский всегда смеется беззвучно. Между тем Есенин, проходя мимо столика Гривнича, поманил его. Тот кивнул своим спутникам и пустился вслед за поэтом.

– Добро пожаловать в «Ложу вольнодумцев»!

Действительно, такая надпись начертана над двумя мягкими диванами, сдвинутыми углом напротив стола, стульями отгороженного от прочего зала. На столе приготовлено угощение.

– Пей кофе, Бренич, – задушевно предложил Есенин. – Он хоть и желудёвый, да с настоящим молоком. Бери пирожные. Вот отдышусь, и поговорим.

Отсюда эстрада видна была бы, как на ладони, если бы не тонула в клубах табачного дыма.

– Едва ли вам... тебе, Сергей Александрович, нужна и моя похвала...

– Если я к тебе – по-дружески, по-простому, то и ты лучше называй меня Сережей. А похвала едва ли кому помешает, особенно в наше время. Вот ты и спой свою хвалебную песню питерского гостя и напечатай у вас там в журнале.

– Какие у нас сейчас журналы? А в «Петроградской правде» совсем другие похвалы поэтам печатают... Гумилёву вот.

– Догадываюсь, какая похвала, – отвердел лицом Есенин. – Расскажи.

Гривнич рассказал – и сам удивился, до чего же отстраненно воспринимает свои петроградские переживания, рассказывая о них благополучному Есенину в московском кафе. Задохнулся, оборвал на полуслове.

Помолчали. Есенин криво улыбнулся:

– Сам уже несколько раз попадал в милицию, но хуже всего пришлось на Лубянке. Если бы не друг давний Яша Блюмкин – теперь член ЦК Компартии Северного Ирана... А когда к своим – я ли не революционер, я ли не за советскую власть? – такая жесточь, то что говорить о тех, кого чекисты считают врагами? Жаль Гумилёва, очень жаль... Я часто вспоминаю и читаю друзьям его гениального «Пьяного дервиша», а в начале «Жирафа» так просто волшебство:

Сегодня, я вижу, особенно грустен твой взгляд,

И руки особенно тонки, колени обняв...

Какой большой мастер, а? И затрудненность такая милая, и будто бы грамматическая ошибка: надо было иначе, ведь противу правил будет сказать, как у него: «руки особенно тонки, колени обняв». Но здесь-то и чудо... Я и в гостях у них был в Царском Селе, у Анны Андреевны и Николая Степановича, и ласково ведь приняли, книжки свои мне дарили... Эх!

Подошел Мариенгоф, покосился скептически на пробор Гривнича, такой же безукоризненный, как и у него, знакомиться не стал. Осведомился у компаньона о каких-то гранках, исчез.

– За рассказ спасибо, – продолжил разговор Есенин. – А я хотел спросить, кого это ты в наше «Стойло» привел? Я не о девушке (о ней особый разговор), а об этом чёрном. Я, конечно, далеко не Моцарт, но... Как взгляну, дрожь пробирает. «Мне день и ночь покоя не дает Мой чёрный человек...» Помнишь?

– Ещё бы, я сам, пока не привык, по семи раз на дню вспоминал... В двух словах, Сергей Александрович, меценат это. Поднабирал деньжонок, хочет отметить столетний юбилей Достоевского, потому что давний его поклонник.

– Всего-то? Ой ли?

– А что суммы у него есть, так это совершенно уж верно. Если и чёрт, – ляпнул Гривнич, – то деньги у него настоящие. Проверено.

– Меня бы и чёрт не обманул. Мы себе цену знаем! Дураков нет!

– Вот в этом-то юбилее и моё к тебе дело, Сергей Александрович.

Когда он изложил казовую сторону предложения о Юбилейном комитете, Есенин, вроде как думавший о своём, заявил вдруг с полной серьёзностью:

– Идея хороша. И провести заседание в провинции, в Новгороде – отличная задумка. Можно и книжонок продать, и на поэтических концертах заработать – золотой ведь народ привезёшь. И вряд ли местное советское начальство так уж хорошо знает, что их московские наркомы от Достоевского носы воротят. Тебе надо будет напирать на то, что по плану монументальной пропаганды Федору Михайловичу полагается от советской власти памятник – где-то это было и напечатано году в восемнадцатом. В «Известиях» уж точно.

– Отличная мысль! Спасибо...

– Ленин, Горький, Луначарский на Достоевского взъелись, все это помнят, за «Бесов». Не нравятся вам, дорогие товарищи, «Бесы», так и не печатайте их, пока бумаги нет! А по мне, так и «Бесы» прекрасный роман. И правдивый для своего времени. Кто такой Ставрогин? Бездарный бездельник, и не больше, а вот Верховенский – замечательный организатор. А вообще я у Достоевского раннюю прозу больше люблю, потому что она почти гоголевская. Гоголь и Андрей Белый

– вот наши лучшие прозаики на все времена. Я сам в молодости пытался писать прозу – знаю, почём в ней фунт лиха.

– Есть ещё кое-что. Я не могу здесь говорить

Есенин выругался. Зажмурился. Открыл глаза и сказал:

– Тогда и не говори. Тем более, мы оба трезвые. Ко мне со всякой политикой пристают друзья, когда уже надерутся. Ну что за беда! Я ведь большевик в душе, о чём и стихи печатал. И в РКП(б) два года назад заявление подавал. А как попросились мы с Рюриком Ивневым съездить в Берлин, заглохло и потерялось в бюрократических дебрях наше заявление, хоть Мишенька, наш коммунистик-футуристик-имажинистик, так и трётся около наркомов. Не всовывай и ты мне никакой политики! Не обиделся?

– Нет. Да и нет там никакой политики... Хотя... Наверное, всё-таки есть. Извините, Сергей Александрович.

Гривнич встал. Есенин невесело рассмеялся и удержал его за рукав.

– Да ладно тебе... Давай выйдем, проведи меня, если не трудно, я тут недалеко живу. По дороге и расскажешь, в чём дело.

Есенин отправился за пальто, а Гривнич подошёл к своему столику. Лиза спала, подперев головку руками. Всеобщий благодетель оторвался от изучения счёта, зевнул:

– Уговорили?

– Пока нет. Попросил проводить его. Вы уж возвращайтесь сами.

– Милый Валерий Осипович, – не открывая глаз, произнесла Лиза, – вот кто прискачет на розовом коне и спасёт нас всех.

Гривнича ни с того ни с сего понесло:

– А вас, Всеволод Вольфович, Сережа испугался, за чёрта принял. Чем, говорит, я тебе не угодил, что ты ко мне нечистую силу водишь?

– Нормальная реакция образованного человека, – безучастно промолвил Черный, снова обратился к счёту и вдруг блеснул на Гривнича совершенно по-кошачьи засветившимися глазами. – Так и было задумано.

– Всеволод Вольфович, дорогой Всеволод Вольфович! – вдруг заняла Лиза, подхватившись, будто и не дремала вовсе. – А можно мне с Валерием Осиповичем, прогуляться, свежим воздухом подышать?

Воззвание осталось без ответа, если не считать изумленных взглядов, которыми обменялись Лизины сотрудники.

За вечер Гривнич успел позабыл, как это дышать свежим воздухом. Москва уgomонилась, заснула. Над головой сияли глубокие сентябрьские звезды. Тверская ночью походит на такие же петербургские каменные ущелья, вот только узка и извилиста чисто по-московски, да и запах ночной свежести тут иной, посуше.

На вывеске, освещенной двумя электрическими лампочками, прямоногий и квадратномордый Пегас нёсся в неведомую поэтическую даль.

Хлопнула дверь, возник под вывеской Есенин. Черное длинное пальто, шляпа с элегантным заломом, белый шарф.

– Что за дьявол, опять швейцар смылся! Никак не подберём толкового мужика. Растащат когда-нибудь гардеробную – совсем тогда прогорим!

Почему-то выговорить «Серёжа» в темноте показалось легче, но Гривнич всё одно не осмелился:

– Дело не моё, конечно, а как тебе удалось в наше нищее время разбогатеть, Сергей Александрович?

– Это не секрет. Всё крестьянская сметка! Прикатил ведь сюда из Питера, а в кармане, как у тебя в данный момент, вошь на аркане. Образовали мы «Ассоциацию вольнодумцев», имажинисты то есть. Вроде вашей питерской «Вольфила», только с уклоном в поэзию в духе мировой революции. Я председателем, со мной, понятно, Толя Мариенгоф, Шершеневич, ещё пара человек. Подмахнул нам Луначарский бумажку, и открыли мы это кафе, а на Никитской – свою книжную лавку. Было время, сжигали на кострах вольнодумцев, а при нашей несуразной советской власти и такое времечко, как видишь, проскочило, когда назваться вольнодумцем оказалось выгодно. Оч-чень выгодно.

– А первоначальный капитал?

– Обошлись без капитала! Здесь уже было кафе – «Бом». Клоуну, одному из «Бим-Бомов», его подарила поклонница-купчиха. А он смылся за границу. Тут под ключом всё чудом каким-то сохранилось: и мебель не сожгли, и самая современная плита с кастрюлями, и даже тарелки в буфете, только запылились. Роспись и вывеску сделал нам Акулов с учениками, а угощали поэтами и стихами

на первых порах. Москвичам к тому времени надоел Вася Каменский со своим дырявым сапогом и вечным «Сарынь на кичку!» – Есенин повторил это «Сарынь на кичку!», крикнул громко, на всю улицу, и ухо подставил, не будет ли эха. – Каково каждый вечер такое слушать этим толстопузым, как ты говоришь, меценатам? Они же потом под своими шёлковыми простынями будут просыпаться в холодном поту!

– Я бы хотел вернуться к прерванному разговору, Сергей Александрович.

– Так вернись.

Выслушав новгородский проект, Есенин остановился, взгляделся в лицо Гривнича, потом крепко обнял и поцеловал в щеку.

– Ты – молодец! Побывал в гадюшнике и не испугался! Я же – не знаю, ей-богу... Я всё ещё верю в советскую власть, я верю в Ленина, потому что он отдал землю крестьянам. А если опять красный террор, если ЧК начисто на этот раз сметет буржуазную нечисть – разве крестьянству от того хуже будет? Может, и укрепится тогда крестьянство. А пронестись кровавой метелью по гнилой этой Европе, чтобы въехал Нестор Иванович Махно на пулеметной тачанке в парижскую Триумфальную арку – как мне от такой мечты отказаться?

Гривнич махнул рукой, резко развернулся и быстрым шагом пошёл куда глаза глядят. Услышал за собою частые шаги: Есенин догонял. Повис на плечах, заставил остановиться.

– Экий ты, право! Ведь это же только слова! Как же ты, друг, можешь тогда «Интернационал» петь? Не поёшь, значит... Тогда – как можешь спокойно слушать? Где поём: «Весь мир насилья мы разрушим До основанья...» или «Владеть одни мы будем миром...». Разве ты не понимаешь, какая резня за этими словами прячется?

– Хороши слова... А какие большевики друзья крестьянству – разве они этого на Тамбовщине сейчас не показывают? И скажу я тебе, Сергей Александрович, что плохо, выходит, ты читал Достоевского. Тебе куда ближе твой Мариенгоф, что «груды черепов» воспевают...

– А что Толя? – расхохотался поэт. – Он сам рассказывал: выглянул в мае восемнадцатого из окна на Моховую, а по ней ровными, стальными рядами идут латыши в серых шинелях, а впереди у них флаг, и на нём: «Мы требуем массового

террора». Говорит, что именно тогда я к нему в издательство пришел, и мы познакомились. Что познакомились в приёмной издательства ВЦИК, помню, а про «массовый террор» – нет. Это у Толи всё из головы. Ну, ещё из газеты. Он, вот ведь смехота, Яшу Блюмкина боится. А «черепов груды» – это образ. Будто сам не понимаешь...

– Я-то понимаю. А шестьдесят человек, на днях расстрелянных вместе с Гумилёвым где-то под Питером – это тебе не груды черепов? В мирное-то время? А если раскрутят большевики свою карательную машину и, как мечтает твой Толя, головы полетят тысячами за раз, едва ли и наши с тобой на плечах останутся, Сергей Александрович.

– Моя? Кто спорит, Валерик? Мне и так недолго осталось землю топтать. Вот послушай, какую с Тамбовщины мне частушку привезли:

Что-то солнышко не светит,  
Над головушкой туман,  
Али пуля в сердце метит,  
Али близок трибунал.

Странно прозвучал простонародный катрен над мостовую бесконечной с непривычки ночной Тверской. Странное чувство незащитности и одновременно беспросветной, бесстрашной решительности (будто неправый суд не близок, а уже позади) испытал и Гривнич, когда это последнее слово, «трибунал», отчаянно выкрикнутое Есениным, перестало в нём отзываться.

Есенин остановился, чтобы прикурить, и его лицо, подсвеченное спичкой, показалось не таким уж молодым и вовсе не красивым. Затянувшись, обнял он Гривнича за плечи и заговорил задушевно:

– Думаешь, стал бы я такие деньжищи на одежду выбрасывать, то есть разве позволил бы себе, как ты смешно сказал, разбогатеть, если бы не знал, что года мои уже на исходе? Как там в Библии? Вот: «И дни их уже изочтены суть». Вон на Поволжье невиданный голод, люди друг друга едят (Толя всё вырезочки газетные собирает и мне подсовывает), да и на московских беспризорных только посмотреть... Всё бы несчастным отдавал, если бы маячила у меня впереди долгая, до старости жизнь. Если бы знал, что отмерено мне впереди время пожить по-человечески.



– Чтобы «славы, денег и чинов спокойно, в очередь добиться»? Да, это не для нашего поколения. Послушай, да ведь ты говорил, что живёшь недалеко...

– А! Ну да, в Богословском переулке... Только мы его давно уже прошли. В Толю сегодня пирожным запустили, опять будет ныть, уж лучше я вернусь домой, когда он в своей комнате заснёт. Я решил угостить тебя настоящим довоенным ужином в одном конспиративном месте, на Кисловке. Блюд таких у себя в Питере ты давно не едал, могу поспорить, а там и графинчик шартреза найдётся. И с таким расчётом: имеешь ты мецената, как я понимаю, до конца октября. Узнаешь адрес, договоришься с милейшей Гертрудой Робертовной – и станешь водить сюда своего Чёрного человека, чтобы кормил тебя и твою девушку вкусной и здоровой пищей.

– Девушка не моя...

– Не твоя – так и жиров с витаминами ей не надо? Я к ней присмотрелся: ваша девушка сейчас в самом опасном для нас, мужиков, состоянии: у неё открылся сезон охоты... Знал бы ты, Валерик, как бабы испохабили мою жизнь! Я ведь, как повзрослел, всю дорогу занят тяжёлой духовной работой, некогда мне влюбляться и волочиться. Не я выбираю, меня выбирают, они все лучше меня знают, кого мне любить и как мне жить! Ты только не сердись: и вашу девушку ко мне потянуло. Уму непостижимо, до чего бессмысленный и нелепый душевный порыв! И вот что я успел приметить: Чёрного она боится, а всерьёз и надолго нацеливается на тебя, Валерик.

– Что? – изумился Гривнич – и приставил ногу.

Тотчас же ему вспомнилось (или под внушением Есенина придумалось?), что уже при первой встрече, у входа в «Привал комедиантов», Лиза смерила его взглядом собственницы. Будто в колоссальном множестве мужчин мира она уже отметила Гривнича как своего... Он невольно пошарил по лбу, ища клеймо.

– Я как-то не задумывался... – промямлил.

– Так задумайся! – распорядился Есенин, отвернулся от спутника и продолжил шагать. – Вот что ещё: не люблю я, грешен в этом, когда со мною не соглашаются. А пока дойдём, остаётся у меня шанс насчет советской власти тебя переубедить...

– Давай попробуй. Но и ты представь, сколько страданий – и не одного ребенка, как у Достоевского, но тысяч и тысяч детей и женщин...

– Тебе бы с этим замыслом – да к бывшему приятелю моему, Клюеву. Сей избяной пророк дальше церковной колокольни ничего не видит. А то, о чём ты говоришь, Валерик, коммунисты называют абстрактным гуманизмом. Ты бы лучше о другом хоть капельку подумал – почему Блок принял нашу революцию? Тот, кого я некогда боготворил и кому доверяю абсолютно? Потому что услышал в ней музыку – он сам мне говорил, а старый мир безусловно должен быть разрушен. Вот увидишь, большевики развяжут руки крестьянину, а крестьянин пустит петуха – и старый мир сгорит... Так, теперь нам за угол – и запоминай: Никитский бульвар, красный каменный дом, четвёртый этаж, квартира... (квартиру покажу), четыре звонка... Ничего себе!

Резво отпрыгнув за угол, манит к себе Гривнича:

– Послушай, а у тебя документы есть?

– В порядке, есть пропуск в общежитие. А что там?

– Тогда пошли, чтобы не обходить... Вот ведь чёрт, какая точка накрылась!

У Гертруды Робертовны не только николаевскую «перцовку», но и настоящее бургундское можно было выпросить. Теперь всё чекисты и кремлевские вылакают. О бефстроганов, о котлетах по-киевски и не вспоминаю – боюсь заплакать... Ну, вперёд, заре навстречу!

Дом днём-то, быть может, и красный, а сейчас чёрный, как и все. У единственного подъезда два грузовых авто, люди в кожанках и солдаты с винтовками заталкивают в кузова прилично одетых сограждан, среди них и дамы. Один из чекистов повернул голову, Гривнич отпрянул. Ахнул:

– Арестовывают заговорщиков!

– Если бы! Там она, Гертруда Робертовна, кормилица и поилица наша! С подушкой и с котомкой не меньше подушки – стреляная птица... Ну, пошли, только в их сторону и не смотри, прошу тебя, Валерик.

Мимо грузовиков, вдруг ослепительно засветивших перед собою фары и взревевших моторами, прошли благополучно. Показался Гривничу тот, в его сторону обернувшийся чекист знакомым по Питеру, однако только показался, наверное: чего бы товарищу Кареву делать в Москве?

## **Глава 21. Чекист Луцкий**

Гривнич не ошибся тогда: среди московских чекистов, суевившихся у грузовиков, был и начальник осведомительного отдела ПетроЧК Карев, а за последним в колонне авто, с улицы в тот момент обозрению недоступный, втихомолку мочился под колесо его подчиненный агент Луцкий.

Оба были срочно командированы в столицу после скандала, разразившегося на Лубянке вслед за визитом неизвестного с документами сотрудника секретного отдела ПетроЧК Буревоего.

Обоих отправил сюда Круминьш. Старик вызвал к себе Карева сразу же после короткого разговора по телефону с Дзержинским. Темнее тучи сидел он за столом, неразборчиво буркнул в ответ на приветствие Карева и только позволил ему, сунувшемуся по старой памяти с рукопожатием, пожать свои худые костлявые пальцы.

– Садись. Я буду говорить с тобой столь же откровенно и принципиально, как только что разговаривал со мной по прямому проводу Феликс Эдмундович. Я, ты не думай, тоже высказал ему всё, что считал нужным о назначении к нам сюда товарища Семёнова. Как старый большевик, я решительно против откомандирования в ЧК на командные должности партийных функционеров – пусть они проверяют, пусть курируют, их можно вводить в коллегии...

– Как комиссаров на фронтах, – осмелился вставить Карев.

Круминьш будто и не слышал. Помолчав, продолжил:

– Во главе подразделений ЧК должны стоять профессионалы, выработавшиеся из партийцев и сочувствующих РКП(б) за эти трудные три года. Феликс Эдмундович ответил, что я не первый ему об этом говорю, что с нашим парторганизатором он решит сам на коллегии ВЧК, а принципиальный вопрос о руководителях поставит перед ЦК на ближайшем пленуме. А про нас с тобой он сказал, что мы хоть и профессионалы, а дело провалили точно так же, как непрофессионал товарищ Семёнов.

– Который по уши нагрузил меня работой по Таганцевскому заговору, – не выдержал Карев. – А вы, товарищ Круминьш, зачем вы отправили меня на станцию Бернгардовку? Ведь там уже был член коллегии, Пожарский.

– В мою версию проверки Луцкого ты не поверил? Молодец, – одними губами улыбнулся Круминьш. – Видишь ли, перед расстрелом у Кащенко возможен был момент истины. Если он работал на врага, мог бы это вам в глаза выкрикнуть. А мог и просто испугаться смерти и признаться: понимал бы ведь, что в таком случае его вернут на допросы, а то и перевербуют для игры с противником. Такие игры нынче вошли в моду. Мне хотелось, чтобы при этом присутствовал мой, надежный человек.

Надо бы сейчас поблагодарить Круминьша, да у Карева язык не повернулся. Он только кивнул. Потом начал оправдываться:

– Я тут сделал всё, что мог. Убийца Буревого уехал московским поездом, то есть в сторону Москвы. Мы же проверяли: до Москвы не доехал, сошёл. Мы вполне могли предположить, что он подался в сторону границы, чтобы уйти в Польшу «зелёной тропой». И главное: вы же предупредили на всякий случай московских товарищей?

– Да, я послал предупреждение с описанием всего дела. Товарищ Дзержинский поблагодарил тебя за твою работу, а меня выругал. Я его критику принимаю. Тебе же велел передать, что в таких случаях надо зубами впиться в дело и не выпускать, пока не получишь результата. А ты расслабился – и косвенно оказался виноват в том, что враг проник в помещения ВЧК на Лубянке.

– Да что же у них случилось? – спросил Карев. Побледнел и расстегнул воротник гимнастерки.

– Я сам только что узнал. Сначала позвонил Дзержинский, и через несколько минут пришла шифровка. Полчаса ушло на расшифровку. Степень секретности высшая, дать тебе прочитать не имею права. Они там, в Москве, очень надеются оставить это позорное для ВЧК происшествие в тайне. Слушай основное.

Карев уяснил важные для себя факты. Взрывом бомбы в одном из помещений ВЧК на Лубянке ранены 24 участника семинара по марксизму-ленинизму, некоторые тяжело, двое в критическом состоянии. Убит (застрелен в

упор) лектор Курсов марксизма-ленинизма для профессоров, приглашенный вести семинар для сотрудников ВЧК. По-видимому, пытался задержать террориста. Террорист ушёл, выпрыгнув в застекленное окно второго этажа. Имел сообщника на извозчике, ранившего во время побега выстрелом из револьвера одного из часовых у входа. Розыск пока ничего не дал. Судя по записи, сделанной дежурным, террорист предъявил удостоверение Буревоего с подчисткой, давшей фамилию «Гуревой». Арестованный дежурный клянётся, что удостоверение было подлинное, а предъявитель в ответ на вопрос о пакете пошутил, что там бомба для повара местной столовки. Обнаружена пролётка, на которой террористы ушли с Лубянской площади, в ней находился извозчик – без сознания, со следом от удара тяжёлым предметом по голове.

– И, небось, след от удара кастетом слева на затылке? – заинтересовался Карев.

– Вот это тебе самому придётся выяснить. Дальше послушай... Ага, это место я прочту: «Совместными показаниями дежурного, часовых, участников семинара составлен словесный портрет террориста, совпавший с внешностью английского шпиона С. Рейли».

– Сидней Рейли... – ахнул Карев.

– Выходит, это он приголубил Луцкого и утопил Буревоего. Значит, вы с Луцким отбываете в Москву сегодня же вечерним ускоренным поездом. Будете помогать выслеживать Рейли. Мы его, подлеца, упустили здесь, в Питере, и вот уже второй раз упустили, оказывается – вам бы его желательно и поймать! Не знаю, что тебе скажут по этому поводу московские товарищи, а у меня будет особое поручение. По закону Рейли, как уже приговоренного к расстрелу, можно не задерживая, шлепнуть на месте. Это будет исполнением приговора, так что с формально-юридической стороны никто к тебе не придерётся. Но я очень прошу, если появится хоть маленькая возможность, взять негодяя живым. Нам есть о чём с ним потолковать, а расстрелять всегда успеем. Вопросы есть?

– Имеются, товарищ Круминыш, – ответил Карев грубовато. – Поскольку вы есть наш красный Шерлок Холмс, другого тут, в Питере, я не вижу, давайте ваши идеи, как мне Рейли искать. Времени до поезда вагон, и лететь на вокзал, высунув язык от усердия, я не стану.

Круминьш выполнил вначале ритуал набивания трубки, затем устроил священнодействие с раскуриванием, выпустил клуб душистого (хороший достал табак!) дыма, и только тогда спросил, посмеиваясь в седые усы:

– Выходит, моя идея насчет уголовного-налетчика тебя не расхолодила, товарищ Карев?

– Идея ваша, товарищ Круминьш, вполне соответствовала имевшимся фактам. А теперь фактов прибавилось, только и всего. Да и та идея нам помогла: я сегодня же, до отъезда, пошевелю своих сексов в околоуголовной бражке: глядишь, и выйдем на помощников Рейли, оставшихся в Питере.

– Есть у меня парочка мыслишек. Больших денег покойный Буревой, как и все мы, не получал. Побочных доходов как будто не имел; что семье не отдаст, тратил на своих баб. И утопил его Рейли как раз перед получкой, которую вы, ребята, я знаю, называете Днём чекиста. Следственно, если и взял он какие деньги у Буревского, так только мелочь. Поскольку до того, как переделся в вещи убитого, носил какие-то опорки и выглядел бродягой...

– Воблу забрал у Луцкого! – встрял Карев. Глаза у него горели.

– Ну, тут бабушка надвое сказала... Работал под нищего бродягу, и нас в том убедил. Однако в целом выходит, что из Питера он уехал без денег. Ему есть-пить надо, а в наши распределители не обращался. На какие же шиши проклятый англичанин отсиживался в Москве чуть ли не целый месяц, пока ему делали бомбу?

– Бомба самодельная?

– Да, о бомбе я забыл сказать. Теперь ищут химика-бомбиста из прежних, эсеровских героев. Я, значит, о деньгах... В общем, в Москве у него должен быть сообщник, снабжающий деньгами. Это раз. За Луцким охотился кто-то, связанный с Рейли. Это след второго, питерского его сообщника. Отсюда проистекают две, оперативно привлекательные, гипотезы. Первая: имея деньги, Рейли захочет отпраздновать удачу. Характер его нам известен. Я посоветовал московским товарищам проверить все значные места: в Москве таких притонов хватает, и чекисты их контролируют, не прикрывая, именно для таких случаев. Вторая догадка – это, как он связывается с питерским сообщником. Я перебрал все возможные способы и выбрал тот, которым и сам воспользовался бы, окажись

я в его ситуации. Это московский Почтамт, его «До востребования». Толпа, где легко затеряться, заранее сообщенная сообщнику фамилия или даже номер газеты, другой какой-нибудь девиз – и попробуй перехвати письмо. Это твой шанс, Карев, москвичам я об этом не говорил. И не скажу.

– Спасибо, товарищ Круминьш. Постараюсь оправдать доверие.

Москва встретила их негостеприимно. Не успел Карев показать дежурному у входа своё питерское удостоверение, как в вестибюле зазвонило, засвистело – и на них набросилось чуть ли не целое отделение солдат, обоих скрутили, обезоружили и уткнули носами в грязные мозаичные плиты вестибюля. У Карева хватило ума не сопротивляться, а вот задорный правдолюбец Луцкий заработал фингал под глазом. Начальство разобралось только через полчаса, потому что Луцкий, войдя в ажитацию, ухитрился забыть, что документы ему выправлены на Фридмана.

Нет худа без добра. Чувствуя вину и посмеиваясь в кулак, московские коллеги устроили пострадавших в общежитии по высшему разряду, а затем Карев был приглашен в кабинет к самому начальнику Секретно-оперативного отдела ВЧК товарищу Менжинскому. Старый революционер, на деле постоянно замещающий Дзержинского, отлеживался после сердечного приступа и встретил Карева, лишь приподнявшись с кушетки. Кушетка была коротковата, и сапоги Менжинского неловко торчали над полом.

Пожав Кареvu руку, деликатный чекист едва не превратил непривычного питерца в соляной столб, заявив озабоченно:

– Покорнейше прошу извинить наших ребят. У нас тут, как всегда и везде у русских: обжегшись на молоке, дуем на воду.

Оказалось, что положение ещё более сложное, чём это представлялось из Питера Круминьшу. Московские чекисты уже несколько месяцев, как начали разработку сложной игры с заграничными монархистами и разведкой Антанты. С помощью мнимого перебежчика противнику была подброшена информация о существовании в Петрограде и Москве монархической организации «За Русь святую», состоящей из военспецов на высоких должностях и готовящей будто бы в РСФСР военный переворот. «Перебежчик» связался с представителями генерал-лейтенанта барона Врангеля, председателя так называемого «Русского совета»,

главнокомандующего сосредоточенной на берегах Босфора белогвардейской Русской армией, и передал белякам три явки в Москве и две в Питере.

– А наши знают, я имею в виду, питерские? – осмелился подать голос Карев.

– Конечно, Тойво Адамович, – улыбнулся Менжинский. – У вас за эту операцию отвечают знатоки своего дела – товарищи Круминьш и Пожарский. На питерские явки пока никто не являлся. Там всё в порядке. А у нас провал: один из военспецов, согласившихся по нашей просьбе сыграть роль заговорщика, был вчера убит у себя в квартире, прямо в своём кресле. Жена товарища рассказала, что к нему приходил человек в форме чекиста, после выстрела беспрепятственно покинувший квартиру. Пуля от «люгера», идентична той, которую вынули из лектора, застреленного после взрыва здесь у нас. Телефонный провод был перерезан. Мы были слишком заняты нашим происшествием, чтобы догадаться, что именно Рейли – эмиссар, посланный от Врангеля. Правда, он не проверял явку у вас...

– Его ограбили, скорее всего, в Питере, а как только раздобыл нашу форму и документы, вынужден был сразу же уехать, Станислав Рудольфович! – заявил Карев.

– Очень похоже на правду, – пожал плечами Менжинский. – Ясно одно. Мы не можем ему позволить передачу полученной информации отсюда, во-первых, не можем позволить уйти самому, чтобы сообщить её лично, во-вторых. Делается очень многое: задерживается и перлюстрируется вся частная почта за границу, пограничные заставы на европейском направлении усилены, во всей приграничной полосе введен повышенный контроль. Пока Рейли не будет пойман, никто из РСФСР, и даже дипломаты и военные, не смогут выехать и легально. Частные телеграммы за рубеж тоже задержаны. Станции беспроволочной связи передают только правительственные сообщения и находятся под усиленной охраной. У меня нижайшая просьба к вам и к товарищу Луцкому. Вам, как и всем нашим сотрудникам, дадут фотографические карточки Рейли. Однако у вас перед нашими людьми есть громадное преимущество. Он ранил агента Луцкого, вы шли по его пятам, у вас должно было выработаться чувство охотника или, если угодно, подсознательное ощущение, которое позволит



вам легче опознать этого человека. Прошу вас, приложите к этому все усилия сами и передайте мою просьбу товарищу Луцкому.

– Станислав Рудольфович, скажите мне, если это возможно, – расхрабрился Карев. – Почему эта игра так важна для вас?

– Наверное, не следовало бы этого говорить, однако я надеюсь на вашу скромность и на сознательность коммуниста. Имеется реальная перспектива заполучить на нашу территорию господина Врангеля, желающего со своим штабом лично возглавить восстание, придуманное в этих стенах. Стоит овчинка выделки, как по-вашему?

– Стоит, Станислав Рудольфович. Мы сделаем всё, чтобы взять англичанина. Луцкому я сообщу только сведения, необходимые в оперативной работе.

Так оказались питерские чекисты в роскошной квартире Гертруды Робертовны Штайн, превращенной этой милой и ухватистой женщиной в лучший московский подпольный ресторан. Они уже убедились, что Рейли не появлялся в ночном сборище вкусно жрущих и сладко пьющих, поэтому скучали и мечтали поскорее попасть на свои койки в общежитии.

Карев скучал, томился и заодно обдумывал, как без помощи коллег с Лубянки заблокировать Почтамт, где успел побывать в обеденный перерыв.

Луцкий скучал, томился и переживал, не выпирает ли за пазухой бутылка спиртного с непонятной надписью, уведенная им в притоне прямо со стола. Рассчитывал, конечно же, что не поймают, однако и в случае разоблачения не ждал большой беды. Ведь, как ни странно, в Москве, рядом с высшим начальством, рядовые чекисты вели себя куда свободнее, чем в Питере: заваливали в общежитие подвыпившими, открыто похвалялись тем, как на допросах врезают арестованным по мордасам, а во время обысков прихватывают спиртное и цапки по мелочи.

А Луцкому спиртное необходимо сейчас, как воздух. В отличие от Карева с его железными нервами, он никак не мог отойти после августовской поездки по Ириновской узкоколейной железной дороге. Его, знакомого с классовой борьбой не понаслышке, горестно поразил, конечно же, не так казнь контриков, знавших, на что идут, затеявая заговор против рабоче-крестьянской власти, как расстрел

своего же товарища и даже начальника Кащенко. И хоть небольшой он любитель заглядывать вперёд, но ничего не усматривал хорошего для себя в том прекрасном будущем, где чекисты будут расстреливать чекистов. А тогда, у колеса грузовика, застёгивая штаны и поправляя ремни, он додумался, что не Кареvu, а ему надо было идти на приём к товарищу Менжинскому, чтобы услышанное от славного чекиста успокоило и вывело из тупика. Кроме того, раздражало Луцкого, совсем не знавшего Москвы, что он вынужден ходить за Каревым, жившим когда-то в первопрестольной, как теленок за маткой.

Эх, встретить бы сейчас задушевного друга, сесть бы с ним в славном уютном местечке (пить придётся в чулане, заваленном поломанной мебелью, если не в кабинке сортира, тьфу!), попеть польских и украинских песен («Ой дивчина, шумить гай...»), поплакаться другу в жилетку! Если для этого надо было оставаться сапожником в Бердичеве, пожертвовать мировой революцией, мандатом и наганом, а также жалкой привилегией быть расстрелянным, подобно земляку Кащенко, отдельно от контриков, то... Он не успел закончить это на редкость контрреволюционное рассуждение, потому что раздался зычный голос:

– Эй, питерские, валите в кузов первого авто!

## **Глава 22. Валерий Гривнич**

Ноги у Гривнича уже приустиали, когда заявил Есенин, что идти осталось совсем недолго. За заборами разрывались, будто на деревне, собаки, потом пошли пустые места, на пожарах, видно, выгоревшие.

– Послушай, Сергей Александрович, а почему ты не позволил мне остановить извозчика? Ведь проезжал же по Никитскому бульвару, и пустой...

– В эти края, Валерик, извозчики не ездят. Местные мазурики выпрягут коня, поджарят и сожрут, а извозчику скажут: благодари бога, суконный зад, что и тебя не съели.

– Да ну!

– А ты и поверил? Хотя зимой здешние жители конскую дохлятину так уж точно жрали... Вот ты вспомнил из Пушкина насчет «славы, денег и чинов». Показалось тебе, что я уже разбогател, правда ведь? А у меня всего богатства-то –

что на себе. Собственного жилья или мебели какой-нибудь, или возможности завести нормальную библиотеку, какая у Блока была в Питере, под рукой (любимую-то, большущую, с томами XVIII века и всякими редкостями, мужики в его имении сожгли) – таких вещей у меня и в заводе не было и нет. А что писатель должен быть элегантен, чисто выбрит, надушен и с дорогой папиросой в зубах – это я с первых шагов в литературе постиг. Учись! Никогда нельзя с издателями давать слабину или, упаси тебя бог, бить на жалость. Для жалких и голодных у них, акул, денег никогда нет. Прекрасно понимают, что деньги к деньгам идут, и вы платят тебе гонорар без скрипа, если покажешь, что в нём не очень-то и нуждаешься...

– А куда мы теперь идём? Ты так и не сказал.

– Да в один воровской притон. Начал я новую книжку уже читать помаленьку с эстрады, глядишь, скоро и тиснуть можно будет. Название «Москва кабацкая». О том, как поэт-хулиган братается с бандитами, проститутками и лошадьми. Честно тебе скажу, почти всё там из головы придумано, такая же литературщина, как и Толин «массовый террор». Ну, и ещё блатные песни люблю. Гречт, что Пушкин обо всём знал, всё слышал – да только не блатные песни, их не сложили ещё: тогда были только разбойничьи, теперь уже старинные. Однако надо же немножко и к живым своим героям присмотреться...

– Это к лошадям, что ли?

– К лошадям? Удачно, молодец... А нам пора и выпить по маленькой, раз уже уплыл от нас шартрез добрейшей Гертруды Робертовны. Нет, ты только представь: начинаешь разрезать антрекот – и прикидываешь, что вот сейчас за раз слопаешь пятьдесят экземпляров своей книжки... А в этой берлоге, у Сандро, наливают только самогон. Послушай, а браунинг у тебя есть?

– Нет, конечно, с собой нет. Наган в Питере спрятан. А зачем тебе сейчас?

– Всё-таки живые бандиты, да ещё и пьяные к исходу ночи... «Славы, денег и чинов», говоришь? Чины оставим старательнейшему Рюрику-Мишеньке, и бог с ними. А слава, она ведь, как лесной пожар, если лес на торфянике горит. Та слава, что сверху, на виду пылает, она делается холодным способом, рекламой. Вот слава Толи или Вадима Шершеневича – она рекламная и этими вот руками, частично, сделанная. Всё годится – жёлтая кофта Маяковского, белый Пьеро

Вертинского (люблю его манерные ариэтки, сам не знаю за что!), мой костюм оперного Леля, клюевская поддевка, наши с Толей цилиндры, физиономии напудренные и размалеванные... И ещё скандалы – без них никуда! Бывает и реклама посOLIDнее – это если Чуковскому или тому же Брюсову жидкость, неназываемая при дамах или питерских гостях, в голову ударит, и тебя в печатной статейке мэтр похвалит. А настоящая слава, она, как торфяной пожар, под землей ширится. Ты для неё одно только сделал – стихи написал, и вот приезжаешь ты в Тифлис или совсем в какую-нибудь Тмуторокань – а там тебя знают и любят. Завидую я Пастернаку! Заработал ведь чудак такую вот подземную славу, славу чистой воды: написал свою книжку «Сестра мою жизнь» (одно название дорогого стоит!) ещё в революционном семнадцатом, до сих пор, человек к новой жизни неприспособленный, напечатать не может, а девушки уже себе из тетрадки в тетрадку переписывают. Я не стану врать, будто мне всё подряд у него нравится, но ведь читатель сам выбирает, что ему по душе... Виденьем своеобразным мне Пастернак напоминает Пикассо в живописи (далеко до него, кстати, нашим доморощенным кубистам!), да только я к Пикассо душой прикипел безусловно, а Пастернак меня порою раздражает.

– У нас в Питере Пастернак не очень котируется, – осторожно заметил удивленный Гривнич. – Конечно, не его стихи теперь печатаются, но был ведь и вечер Пастернака в «Привале». Я сам, правда, не попал. Однако говорили: мямлил что-то баском, а Маяковский громыхал, Пастернака защищая и прославляя гением. Даже и смешно.

– А такой народной славой, хоть и небольшой, и ты можешь, Валерик, похвастать. Мне Эренбург перед тем, как в Берлин укатить, когда с ним тоже вот, как мы с тобою, ночью по Москве шатались, читал твои пародии. У Илюши тоже память хорошая... Вот, к примеру:

Бывают такие миги,  
 Когда не жаль и малых овец.  
 Об этом писала в поваренной книге  
 Елена Молоховец.

– Приятно, что запомнил... Право же, не совсем ожидаемо, – растрогался Гривнич, в душе готовый уже и слезу пустить.

– Сейчас поясню – и не будет тебе так уж приятно, что я припомнил, Валерик. Ведь людоедский виршик получился у тебя, разве нет? Так что ж ты мне задвигаешь о единственной кристальной слезе дитяти у Достоевского? Ведь ясно же, что ты имеешь в виду евангельских «овец» и «малых сих»! Человечков, стало быть. А ещё на Толю бочку катил...

– Так ведь для смеху только!

– И в самом деле, остро и смешно! И молодец, что пародировал именно Анненского. Необычайно был талантлив, в нем корни всей современной поэзии, у него и Маяковский учился... Это откуда ты взял – из «Кипарисового ларца»? Где:

Но... бывают такие минуты,  
 Когда страшно и пусто в груди...  
 Я тяжёл... И немой и согнутый...  
 Я хочу быть один... уходи!

Чтобы прочесть, Есенин остановился. Потоптался и, подавляя волнение, снова заговорил:

– Боже мой, как здорово! Сколько раз это у меня внутри прозвучало, Валерик! И сколько раз я побоялся сказать женщине: «Я хочу быть один... уходи!»

Гривнич ахнул про себя. Он-то всего-навсего хотел посмеяться над бессмыслицей строфы из стихотворения с нелепым названием «То было на Вален-Коски»:

Бывает такое небо,  
 Такая игра лучей,  
 Что сердцу обида куклы  
 Обиды своей жарчей.

Есенин тем временем предложил:

– Слушай, начни таким манером над Маяковским подтрунивать, а? Что ни говори, а Маяка из русской литературы теперь уже никому не выкинуть. Ляжет в истории литературы бревном, и многие об него споткнутся. Я вот цепляю Маяка, а он, видишь, как здорово отбивается! А во мне, жаль, нету сатирической жилки. Зато ирония у меня великолепна, скажу не хвастаясь, только она здорово запрятана. Знаешь, кто мой учитель? Это если, кроме Блока...

– Ты о Клюеве?

– Не Клюев, нет! Когда я эти глупости из ваших голов выбью? Я такие коровьи стихи писал ещё раньше, чем у него прочитал. А вот если по совести... Я, знаешь ли, о Блоке сейчас тоже не слишком высокого мнения. Он, конечно, не гениальная фигура, и только по недоразумению русский. Гейне – мой учитель! Вот кто!

Даже приостановился Гривнич. Потом догнал оратора – и отчужденно:

– Здорово! Однако вот насчет Блока. Ладно, не русский по рождению... А по-твоему, что вся жизнь в стихии русского языка, что вскормлен именно русской культурой – так таки ничего и не значит?

– Слава богу, 7у меня такой проблемы нет. Ибо за мною череда предков, спавших в курных избах с тараканами, а жажду утолявших квасом. А-а-а, я понял, ты мои слова к себе примериваешь. Я тебе честно скажу: на том уровне, как ты работаешь в литературе, или вот мой Мариенгоф, или Шершеневич, природным русаком быть не обязательно. Но я ведь Блока раньше не к кому-нибудь, а к Пушкину приравнивал, Валерик.

– Ловко! Тоже мне нашел природного русака... Слушай, Сергей Александрович, а мы так пешком до твоей Рязани не дойдём ли?

– Зачем до Рязани? Мы уже пришли.

Это даже и не дом-развалюха. Это развалюха-склад. Где же ещё теперь собираться уголовникам, если не в пустых складах? Есенин зажигает драгоценную спичку, прикуривает. В больших воротах, запертых на ржавый замок, вырисовывается дверь. Она покачивается и повизгивает. Внутри открывается зрелище совсем уже фантастическое. Мгновенно вспомнились Гривничу гравюры Хогарта и как сомневался он, может ли и в жизни собраться такое большое количество энергичных людей в одном помещении. Может, оказывается! Правда, многие из московских живчиков уже угомонились и спят прямо на земле.

Посреди склада догорал костер. Есенин дёрнул за плечо ближайшего оборванца, стоя гревшего у костра руки.

– Эй! Друг, ты не видел Сандро?

Туземец, покачнувшись, обернул к ним сизо-багровое лицо и прохрипел:

– Первый поворот направо, второй налево. Там разливают.

Внимательно осмотрел их, особенно Есенина, не удержался на ногах и уцепился за Гривнича, мгновенно зажавшего в правом кармане брюк предназначенный для поэта конверт с пачкой дензнаков. Пока суетился Гривнич, лохмотник исчез, растворился в густой темноте.

Повернув, как было сказано, действительно нашли они грубо сколоченные столы, а вокруг них похожие на чурбаки предметы, в которых Гривнич с трудом рассмотрел опрокинутые вверх дном бетонные урны для мусора. Есенин нырнул в колеблющуюся полутьму и вынырнул с двумя консервными баночками.

– Еле растолкал Сандро. Уже дрых, подлец. Что-то не нравится мне здесь сегодня. И не уговаривай меня выпить как следует. Вот, по банке и по домам.

Гривнич принялся:

– Почему здесь воняет только людьми? Что хранилось на этом складе?

– Мебель больше. Это был склад старорежимного общества, куда можно было, съезжая с квартиры, сдать на хранение домашнюю рухлядь. Кто за границу удрал, кто спился, кто бродяжит, а кто и просто помер. Грустное было учреждение. Прямо тебе кладбище мещанских надежд. Мне по душе, что золоторотцы всё нахрен разворовали или сожгли.

Они не успели выпить, как у стола возник давешний оборванец. Сужая круги, бродил он вокруг них, бормоча о «фраерках», и, в конце концов, чуть не упал животом на баночки. Есенин присматривался к нему, что-то смекая, попытался разговорить, но тот неожиданно исчез во тьме. Поэт пожал плечами и поднял свою посудину.

– Не стану я пить, – заартачился Гривнич. – С этого типа в самогонку могло черт знает чего насыпаться. Блохами начиная и клопами заканчивая.

Есенин молча заглотал содержимое баночки и, неласково покосившись на собутыльника, занюхал рукавом.

Гривнич спросил, нет ли у него желания почитать местным свои стихи, и сразу же пожалел, что спросил.

– Ты что ж – издеваешься? Это же кто тебе успел рассказать, как я читал в ночлежке на Ермаковке? Что там одна баба ревмя ревела, а оказалась глухонемой? Где у тебя голова, а где задница, спрашивается?

И не успел Гривнич обидеться, не успел сообразить, что слишком быстро нарезался его спутник, подозрительно быстро даже для алкоголика (а какой из Сережи пьяница – смешно!), как пахнуло на него душным знакомым запахом, и голос Нади зашелестел за спиной:

– Валерий, ты пил эту дрянь? Не оборачивайся, идиот.

– Надя, как ты здесь очутилась?

– Вам отравы подсыпана. Прямо перед тобой дыра в стене. Атаас! Надо молока попить поскорей и всё выблевать, ты понял? Жорж с перышком поджидает твоего дружка у ворот. Жоржик на пальцецо его запал. Беги, ты, ракло!

Подхватив чуть ли не в охапку Есенина (благо, хоть и среднего роста, оказался поэт на диво легковесен, кожа да кости), Гривнич бросился к тёмной стене, сунулся влево, метнулся вправо и, действительно, вывалился наружу. Аммиачные пары будто лезвиями ударили ему по глазам, и не нужно было долго думать, чтобы понять, для чего тут выломали дыру. Стараясь лавировать между смрадных луж, он старался оттащить Есенина, тяжелевшего с каждым шагом, бормочущего не стоящую внимания чепуху, как можно дальше от склада. Наконец, дыхание у него пресеклось, и пришлось положить поэта на траву у какого-то забора. Сам рухнул рядом. Где-то невдалеке, в роще или в лесистой балке, оглушительно запели-засвистели птицы.

– Море голосов воробьиных, – явственно вымолвил Есенин, когда птички умолкли, и тут же обозвал их непечатным словом.

Гривнич схватился за голову. Где здесь найдёшь молока? Однако невдалеке звонко капала вода. Он бросился на звук, обнаружил колодец с насосом, перенёс Есенина поближе, принялся изо всех сил качать рукоятку. Когда из кривой трубы потекла вода, понял, что не из чего напоить. Похлопал в панике по пиджаку, обнаружил пакет для Есенина, распихал бумаги и деньги по своим карманам, а из плотного конверта сложил фунтик, накачал снова воды и заставил пить, с перепугу не боясь, что захлебнётся.

Прошли томительные минуты, Есенин встряхнулся и осведомился вполне осмысленно:

– А кто это здесь наблевал?



– Ты. Одной водой, между прочим. Ты, что же – не ел сегодня ничего, Сергей Александрович?

Промолчав, Есенин задал ещё несколько технических вопросов, и с каждым нелицеприятным, следует признать, ответом мрачнел всё больше.

Наконец, не вставая, наклонился и, брезгливо морщась, принялся отстегивать запакощенные гетры. Гривнич, сосредоточенный всё это время на деле откачивания, вдруг понял: если он ясно видит, чём занялся Есенин, значит, уже светает.

– Не бойся, Валерик, теперь уже не помру, – Есенин поднялся, пошатываясь, не глядя на товарища. Выбросил по одной гетры, с отвращением уставился себе на руки. – Будь другом, покачай, а я остатки от штиблет вымою.

Потом они поменялись местами, и дырявые ботинки Гривнича тут же наполнились водой.

Есенин придирчиво оглядел себя, капризно скривил рот и вдруг весело расхохотался:

– Вот так погуляли!

Тут же согнулся в три погибели, а разогнулся медленно, морщась от боли.

– Надо искать извозчика, – озабоченно заявил Гривнич. – Тебе нужно как можно скорее выпить молока или хотя бы сыворотки.

– Найдем теперь твоего извозчика, – успокоил его поэт и вдруг улыбнулся. – Ты посмотри, красота-то какая!

Питерцу не до московских красот было. Однако он оценил, что очутились они не на окраине Москвы, как ему в темноте представлялось, а внутри её, и уж во всяком случае, Иван Великий и коробка Храма Христа Спасителя не на таком расстоянии виднелись, чтобы не дойти до них пешком.

Из-за угла показалась баба с ведрами на коромысле. Гуляки одновременно опустили глаза на лужу у колодца, переглянулись и резво пустились в путь.

Как только смолкла позади звонкая и заковыристая ругань, Есенин рассмеялся, на сей раз несколько принужденно, и вымолвил вроде бы чистосердечно, а там кто знает:

– По всему выходит, Валерик, что ты меня сегодня здорово выручил. Сделаю для тебя всё, что захочешь. Хочешь, дам подписать устав «Ассоциации вольнодумцев» и станешь ты председателем нашей петроградской секции?

Гривнич покрутился, покрутился, помычал даже, и решился:

– Я хотел бы повторить просьбу. Не надо тебе быть членом Юбилейного комитета, не будешь ты, обещаю, фигурировать ни в одной бумажке. Об одном прошу. Приехать на Веру, Надежду, Любовь и мать их Софию в Новгород и взяться там с другими поэтами за руки. Всегда сможешь сказать своим приятелям-чекистам, что оказался в Новгороде случайно, по делам председателя «Ассоциации вольнодумцев». Присматривался, мол, нельзя ли расписать похабщиной Софию Новгородскую.

– Вот этого-то я и боялся, Валерик. Ладно, долг платежом красен. Только собирался я податься осенью в тёплые края. Запиши или запомни, куда мне телеграммы отбивать – а я уж приеду: Тифлис, Баку, Краснодар и уже обязательно в этом году – Персия. Это что же получается – Хлебникову можно в Персию с Красной Армией ходить, а мне – так нельзя!

– Куда же в Персию давать телеграмму, на какой адрес?

Есенин от души, однако на сей раз осторожно, к себе прислушиваясь, рассмеялся:

– А просто: «Персия, Советская республика Северный Гилян, Есенину» – я там один буду такой! И давай-ка сюда свои командировочные и проездные. Давненько знаю я за собой: если аванс беру, проникаюсь большей ответственностью.

### **Глава 23. Борис Пастернак**

Переулки, годные скорее для пригорода, незаметно перелились в настоящие городские улицы. Прохожих по-прежнему не было. И Гривнич даже несколько испугался, когда появился из-за угла, словно чёрт из табакерки, встречный, одетый весьма небрежно, чуть ли не в обрывки халата, и катастрофически непричесанный, а Есенин вдруг растопырил руки и продекламировал во весь голос, в конце нежданно запустив петуха:

Вы узнаны, ветки! Прохожий, ты узнан!

Встречный вздрогнул, остановился, вынул руки из карманов.

Гривнич спросил вполголоса:

– Да кто ж это?

Есенин закричал:

– Перед тобою, Валерик, та самая знаменитость! Мы же с тобой всю ночь о нём проговорили – Борис Пастернак, кумир московских курсисток и воронежских гимназисточек!

Во все глаза разглядывал питерский гость знаменитого Бориса Пастернака, продолжив бесстыдный осмотр и во время процедуры представления и знакомства. С восхищением установил он, что своеобразному стилю поэзии Пастернака вполне отвечает самородное своеобразие его внешности, с завистью – что новый знакомец, уродливо длиннолицый, при этом черноглазый и завидно густоволосый, принадлежит к типу мужчин, с возрастом становящихся только импозантней и даже красивее. Он и сейчас, в домашнем каком-то затрапезе, выглядел внушительно и харизматически, будто власть имеющий, и уж во всяком случае, не походил на дворника, сумевшего продрать глаза на рассвете, но забывшего прихватить с собою метлу.

Тут раздалось за тем же углом цоканье подков по булыжнику, и выкатилась прямо на путников пролётка с зевающим на облучке извозчиком.

– Стой, Ванька! – закричал Есенин и, размахивая полученной у Гривнича пачкой денег, бросился чуть ли не под копыта. И уже с сиденья. – Дуй на Тверскую, аллюр три креста! Прощайте, ребята, вам найдется о чём меж собою потолковать!

Затихло вдали весёлое звонкое поцелкивание, и «ребята» неловко переглянулись.

– Знаете, Борис Леонидович, я очень жалел, что не смог попасть на ваш вечер в «Привале комедиантов», как приезжали с Маяковским в Питер... – начал Гривнич, покашливая. Покашливал же он потому, что на самом деле ему тогда удалось достать рукопись «Камасутры», и они с Надей пережили свой второй медовый месяц. Нужен ему был тогда московский кубофутурист, можно подумать!

– Бросьте извиняться, Валерий – так ведь? И меня называйте, прошу вас, Борисом, – простецким баском заявил Пастернак. – У меня о том моём провале в «Привале» сохранились не воспоминания, жуть. Поясните лучше, отчего Сережа покинул нас столь поспешно? Уж не обидели ли вы его? Или, быть может, спасли от какой-нибудь крупной неприятности?

– Скорее второе, – потупился Гривнич, – хотя «спас», пожалуй, это слишком сильно сказано. Я не уверен, что имею право поведать о нашем совместном приключении.

– И не рассказывайте! Вообще-то в наше время опасно оказывать людям благодеяния, как раз аукнется праведной мезтью. Но Сережа не из таковых: он привык сам всем благодотворить и просто потерялся, когда бескорыстную услугу оказали ему самому. Я ведь не ошибся – именно бескорыстную? – напористо, уставив Гривничу в переносицу цыганской глубины чёрные глаза, спросила московская знаменитость.

«Беда мне с этими бурными гениями. Вырастили и мы таковых на свою голову через полтора столетия после того, как немцы от своих Вертеров избавились», – подумал Гривнич и со всей осторожностью пояснил, что выручал-то он Есенина совершенно альтруистически, а вот потом попросил выполнить одну свою просьбу, ранее уже отвергнутую.

– А речь вот о чём шла, Борис Леонидович...

Закончил он излагать оба проекта – и юбилейный, и прикровенный, уже на ходу, в неспешной прогулке в сторону Храма Христа Спасителя.

– Заметьте, Борис Леонидович, что я рассказал вам всё – кроме имен уже согласившихся участников предприятия – абсолютно всё без утайки, хотя и знаю о связях вашего друга и, как говорят, покровителя с ВЧК. То ли после бессонной ночи, то ли устал уже бояться каждой тени, а главное, из убеждения в вашей глубокой порядочности, Борис.

– А мне уж обрыдло сердиться, хоть раньше готов был от таких речей лезть на стену, – сумрачно пророкотал Пастернак. – На вас же сердиться вдвойне бессмысленно. Вы – жертва молвы, к тому ж молвы, обращающейся в чужегородной вам околотитературной среде, в которой сами не варитесь и собственного взгляда не имеете. В условиях непечатности – фактической

непечатности, а следовательно, и естественной устности современной городской культуры именно сплетни первыми рвут финишную ленту во всегдашней гонке новостей. Меня вот считают футуристом и высчитывают, кто я – эго- или кубо-. А я не с ними – это ошибка. Я всегда сам по себе, я не понимаю, не вижу существенных отличий между направлениями и школами, модными и забытыми, я просто пишу, как пишется, и виновен только в том, что имею приятелей-футуристов – Маяка, Колю Асеева (весной вернулся с Дальнего Востока), Сережу Боброва, Диму Перовского. Их, а не далеких мне душевно Мариенгофа с Шершеневичем – о различиях их в одаренности не мне судить, если вообще это выяснимо.

– Боброва? – насутился Гривнич.

– Боброва. А что вас удивляет? Ну, большевик, так ведь и старик Брюсов, которого вы, в чём ничуть не сомневаюсь, уважаете, есть не только замшелый обломок символизма, но и член РКП(б). А Серёжа Есенин? Вы его, как я догадываюсь, каким-то вальтерскоттовским или буссенаровским сюжетным вывертом завлекли в своё предприятие, а он числит в приятелях небезызвестного Якова Блюмкина, которого принял в «Ассоциацию вольнодумцев». Я и больше скажу, хоть вас, как питерского фрондёра, сказанное мною, возможно, обидит...

– Говорите, – кивнул Гривнич и едва успел ладошкой прикрыть зевок.

– Э, – протянул Пастернак, – я и забыл, что вы тоже не спали этой ночью. А знаете, почему я не спал?

– Джентльмена о таких вещах не спрашивают, – осторожно упрекнул Гривнич, недовольный возможностью лирического отступления.

– Это вам, с вашим замечательным пробормом, уместно вспоминать о джентльменстве, – не улыбаясь, заметил Пастернак. – Мне же, москвичу-простецу, не к лицу. Коротко говоря, меня придавил квартирный вопрос. У моего отца, довольно известного художника...

– Почему вы считаете, что я не знаю, кто такой Леонид Пастернак?

– Потому что он хоть и академик, да не Репин же. Так вот, за отцом после революции осталась приличная квартира с мастерской, на Волхонке; правда, и семья наша большая, шестеро. Потом, в восемнадцатом, выселили жильцов из нижнего этажа, Устиновых, мы для них уплотнились (в смысле я отдал им свою

комнату), потом хотели уже и нас выселить, еле отстоял Луначарский: он любит отца и тогда устраивал ему заказы на портретирование всяких съездов и пленумов для Третьяковки. Потом уехали за границу, если сократить печальную повесть, все Пастернаки, кроме нас с братом, и тогда пришлось пустить знакомую семью из Витебска, и живем мы теперь – брат в столовой, я в гостиной.

– Значит, мы на время соседи. Я тоже устроился на Волхонке – в бывшем «Княжьем дворе», – радостно отрапортовал Гривнич.

– Да? И вот теперь я задумал жениться на чудесной девушке – а куда её приведу, если Женя согласится выйти за меня и удастся её отбить у мещанской родни? И вот сегодня... вчера ночью успокоились, наконец, в квартире все соседи, затих брат в смежной комнате, и я лёг. И не могу заснуть. Никак мне было не понять, что они делают, Устиновы и Фришманы, в нашей квартире? Почему отец, всю жизнь тяжко трудившейся, не смог мне, своему сыну, оставить такую малость, как место для житья? Даже заревел, знаете: слаб я на слезы. Но не утомился чувствами от плача, сна ни в одном глазу, а вот злоба в груди нарастает, уже дышать не даёт. Одеся в темноте, во что попало, выбежал на улицу – и вот, прогуливаюсь. Встречаю рассвет. Встречал, точнее.

– Эх, да и у меня такая же история, – скосился Гривнич. – Давайте-ка расскажу.

И рассказал. Пастернак уже мягче глянул на него.

– Огорчить же вас, как оказывается, товарища по несчастью, я собирался следующим рассуждением. А на рассуждения подобные решаюсь, так как убил на философию четыре года в здешнем университете и семестр в Марбурге. И потому что в три революционные зимы имел возможность и поводы всё хорошо продумать. Итак, посылка первая. Если мы приняли Октябрьскую революцию, то мы ответственны за всё, что сейчас происходит. Блок воспел её в «Двенадцати», поставив во главе красногвардейского патруля Иисуса Христа. Я принял её в душе, несмотря на пророческие ужасы ноябрьских военных действий в Москве, потому что я сызмальства голяк и комнатный бунтарь. И вы приняли – уже потому, что не уехали же, остались. Значит, будьте добры, разделяйте ответственность с большевиками.

– Однако! – выдохнул Гривнич. – Я отвечаю за зверства ЧК?

– Конечно же, отвечаете – если не предпочитаете прятать голову в песок. Вы одобрили этот тип гражданского общества, а ЧК столь же необходимое колесико в его устройстве, как обслуга гильотины во времена Французской революции. Или как уже в наше гуманное время месье Дейблер, потомственный палач города Парижа, приезжающий на казнь в цилиндре и на спусковой рычаг гильотины нажимающий рукою в лайковой перчатке. Что?

– Да ничего, продолжайте, – буркнул ответственный за артиллерийский обстрел пятисотлетнего Кремля. – Я пытаюсь переварить.

– Посылка вторая. Петербургское фрондерство той же вашей «Вольфилы» бессмысленно. Я уж не говорю о том, что там у вас в записных философах подвизаются Андрей Белый да Иванов-Разумник – б-а-а-льшие мыслители! Пора бы понять, что господство большевиков в стране – объективная реальность, а для большевиков существует только одна философия, Маркса, точь-в-точь как христианство в Европе средневековья. В нашей кровавой мути не до философии приходилось, и не все ещё уразумели, что Марксова философии – баба ревнивая и не терпит соперниц. Ходят настойчивые слухи, что там, – показал он на кремлевские башни, грозными чёрными орлами увенчанные, – никак не договорятся, как поступить с идеалистическими профессорами и публицистами – расстрелять без лишних затей, отправить для перевоспитанья на сибирские рудники или выслать из РСФСР с богом. Что же касается суперидеалистических мыслителей, то есть православного священства и монашества, то принято будто бы решение шлёпнуть для острастки тысяч десять.

– И вы это одобряете?

– Разве я утверждал, что одобряю? Я говорил, что такова объективная реальность. И отсюда третья посылка. Если хочешь жить в этой стране, работай на Советскую власть. Иного выхода нет, и я, чтобы обеспечить жизненными припасами свою будущую семью, принял решение оставить писанье абсолютно бесполезных в наше время лирических стихов и сотворить в ближайшем будущем «Илиаду», «Божественную комедию» или «Войну и мир» – разумеется, в советском духе. А то я пишу, и всё мне мнится, что вода льется мимо рукомойника.

– То бишь повторить намереваетесь подвиг вашего друга Маяковского, состряпавшего «150 000 000»? – ядовито осведомился Гривнич.

– Маяк намного выше этой своей поэмы. Мы с ним то ссоримся, то миримся, сейчас находимся в состоянии промежуточном. То, что я сейчас скажу, не определяется преходящими ситуациями дружбы. Маяковский великий поэт, нет, затертыми словами его не определишь... Скажем так: он научился создавать стихи, обладающие притягательностью мощнейшего магнита. А в этой поэме... Я никогда не пойму, какой ему был прок в размагничиваньи магнита, когда (при условии, что внешность поэтической формы сохранялась – вы понимаете?) ни песчинки железной не двигала подкова, вздыбливавшая перед тем любое воображенье и притягивавшая какие угодно тяжести стальными ножками строк. Едва ли найдется в истории другой пример того, чтобы человек, так далеко ушедший в новом опыте, в час Революции, им самим предсказанный, когда этот опыт, пусть бы и ценой притеснений (вы понимаете, о чём я?), стал бы так насущно нужен, столь разрушительно бы от него отказался.

– Понимаю ли я? – смутился Гривнич. – Боюсь, что не очень...

– А я боюсь, что не смогу вам пояснить, – отрезал философ в рваном халате. – Потому что не знаю, как вы читали Маяка и как вы понимали его. Я понимаю его так, что он с небывалой мощью показал неприятие анархическим интеллигентом старого мира во всех его проявлениях. На руинах и крови строится в России новое общество, а Маяк не захотел остаться сам собою, а попросту пошел на службу новым коммунистическим хозяевам. А советским бюрократам точно так же не нужны гениальные бунтари, как и прежним. В жизни Маяк избежал голода, психологического дискомфорта – да о чём я говорю вам, питерскому фрондёру? – Гумилёв-то расстрелян! А в поэзии... В тех же «150 000 000» вместо поэтического преображения бытия получилось растворение в лубке. Это неудачная вещь, проходная для Маяка. И не решает адской трудности проблему современной большой формы.

– А как же тогда вы рассчитываете создать социалистическую «Илиаду»? – со всем возможным сарказмом спросил Гривнич.

Тут куранты на Спасской башне ударили в свои хрипловатые колокола, будто сами ещё не совсем проснулись. А вот сколько проббили? То ли пять, то ли



шесть... Гривнич сунулся за часами – и окаменел. Часовой карман пуст, петелька, где крепилась цепочка, разлохматилась.

Пастернак рассмеялся:

– Что, обнаружилось первое последствие беспутной ночи? Ничего, одно из преимуществ жизни на Волхонке и есть возможность обойтись без часов. Уподобившись и в этой малости простонародью. Относительно же вашего непростого вопроса, то ответить на него попытаюсь творчески, делом, то есть советской «Илиадой» или чем таким прочим, в надежде и совесть с честью сохранить, и опыта своего поэтического не порушить.

– Да уж... Подарок отца на моё совершеннолетие... Ничего себе малость!

– Что скажете, Валерий, о девятьсот пятом годе как о теме для поэмы? Или отдельно – о подвиге и смерти лейтенанта Шмидта?

– Почему уж тогда вам не взяться за роман в стихах о Троцком?

– Как я могу писать о Троцком или о Ленине, если ничего о них не знаю и могу опираться только на мимолетные впечатления? Есть же поэты Пролеткульта, гнездятся они тут недалеко, на Воздвиженке, в особняке Морозовой. Пусть они! А для меня тема лейтенанта Шмидта – это тема моря, свободы, мечты. Да и материал весь открыт в библиотеке – только бери и читай! Тетрадь подставлена – струись! Я, к вашему сведению, и к прозе подбираюсь потихоньку. Написал черновой вариант романа, да что-то долго Сережа Бобров читает...

– Как долго читает? – оживился Гривнич.

– Да уж три года...

– А вам не приходило в голову, что ваш друг отдал рукопись для прочтения другим своим друзьям – в Чрезвычайку?

Поэт взглянул на Гривнича, как на слабоумного, однако промолчал.

Остановились у громоздкого, ничем особенным не примечательного дома. Пастернак постоял, переминаясь с ноги на ногу. Заговорил с заметным смущением:

– Вот это и есть мой дом, подмости для квартирной трагикомедии. Взгляните на первый этаж, видите – «Наркомпрос»: какое-то никому не нужное ответвление наркомата. Мне объявляли несколько раз, какое именно, а я тут же забывал. Биологически активно советское чиновничество: размножаясь, как

тараканье племя, в стенах первого этажа, пыталось оккупировать и второй. А на втором – моя комната. Адрес мой: Волхонка, дом 14, квартира 9. Друзья ко мне приходят по четвергам, собираемся к вечеру... Иногда бывают бутерброды, а вот чай всегда. Сыграю вам на рояле под настроение, может быть, и своё что-нибудь сыграю...

Помялся ещё немного, пострелял цыганскими глазами и вдруг выпалил:

– Валерий, а вы не забыли передать мне мандат и суточные?

Гривнич оторопел. Принялся совершенно ненужно шарить по карманам. Потом заговорил – медленно, тщательно выговаривая каждое слово:

– Но разве вы, Борис Леонидович, не отказались приехать в Новгород?

– Как это я отказался? Я только изложил три посылки, из коих следует, что положение можно изменить только внутри имеющейся государственной системы. Ведь смешно видеть во власти большевиков диктатуру пролетариата – пролетариат в Кремле и не ночевал! А на наших правителей-интеллигентов, часть из которых, согласен, совершенно взбесилась, как раз и можно подействовать тем средством, что вы предлагаете.

– Ради Бога, тише, Борис Леонидович!

– Кого мне бояться? Чиновники спят у себя в постельках, а сторожа эта их вшивая контора не удостоилась. Положение и вправду сложилось совершенно недопустимое. Вот вам зверства ЧК спать не дают, а меня бесит превращение советской власти в атеистическую богадельню. Пенсии, пайки, субсидии, только ещё не в слюнявчиках интеллигенция, и гулять не водят парами, а то был бы совершенный приют для сирот! В Москве спят и видят, как бы приписаться к какому-нибудь горшку посытнее. Источник самостоятельного трудового существования утрачен! Когда бы, я уж не говорю, по труду, а хотя бы по справедливости или уж действительно всем поровну раздавали – где уж там! У раздачи продуктов окопались не труженики, а прихлебатели!

Тут он едва не воткнул в Гривнича обличающий перст:

– Вот вы, Валерий, признайтесь: вы получаете академический паёк?

– О чём вы? За кучу переводов для «Всемирной литературы» получил кучу обещаний и жалкие три тысячи советскими деньгами.

– У меня та же история, – поведал поэт тоном ниже. – Я в прошлом году не выдержал и попросил себе академический паёк. Дело в том, что я член-учредитель Всероссийского профсоюза писателей, и было обещание Наркомпроса, что все его члены получают. Я и ждал, пребывая в несвоевременном гражданском простодушии. Шиш с маслом! Тогда я написал заявление уже от себя, сослался на то, что некоторые члены нашего профсоюза получают академический паёк уже три месяца, сообщил о каторжном своём труде на «Всемирную литературу» (десять наименований и двенадцать тысяч стихов!), намекнул, что единственный источник продовольствования, мне доступный, – спекулятивный рынок – все дальше и дальше уходит от меня в область чего-то сказочного... Дали мне, как вы думаете, паёк?

– Понятно... Дело вот в чём. Я же не рассчитывал, что встречу вас случайно. У меня конверт для вас остался в портфеле, а портфель в общежитии. Вы только не ложитесь, Борис Леонидович, не засыпайте. А я быстро обернусь.

– Да зачем вам такие хлопоты, Валерий? – застенчиво выговорил Пастернак. – Я с удовольствием пройду с вами до «Княжьего двора». Тут ведь рукой подать.

Вдруг грохнула дверь за спиной Пастернака и раздалось громыхание голоса – из тех голосов, которые, раз услышав, ни с чьими уже не спутаешь. И свершилось явление безбожного тринадцатого апостола Владимира Маяковского – в том же светлом костюме, что в «Стойле Пегаса», только на большеликой голове надета была кепка, а вокруг глаз залегли голубые тени.

– ...надо же! Любимую посадил на литерный поезд – и почему они отправляются только по ночам, эти литерные? Теперь страдаю, сил нет, не уведут ли у меня Лилю мордатые рижские пижоны. Пришел вот пешком с Николаевского вокзала к другу поплакаться в жилетку, а в его квартире сонное царство. Вылезает этот твой Фришман, сослепу требует у меня мандат... Послушай, Боря, ты не слишком ли многое жильцу позволяешь? Э, да и наш питерский гость с тобою...

Друзья-футуристы обнялись. Гривничу Маяковский крепко пожал руку.

– Вот уж не знаю, Валерий, должно ли нам опять здороваться... Однако немного здоровья нам с вами не помешает. Вы-то уж точно не выглядите сейчас как кровь с молоком на стальном каркасе.

– Тут Валерий Осипович такого накрутил, такие сказки Арины Родионовны напридумывал, что тебе непременно надобно их услышать, – пророкотал поспешно Пастернак, взглянул вопросительно на Гривнича, затем, игнорируя его мычанье и совсем уж безмолвные протесты, принялся рассказывать сам.

Не прекращая говорить, первым развернулся в сторону «Княжьего двора» и зашагал неспешно, Гривнич и Маяковский, переглянувшись, его догнали.

Маяковский выслушал внимательно, поморщил огромный лоб, присматриваясь к Гривничу, хохотнул беззвучно и перевёл взгляд на Пастернака:

– А ты, конечно, восхитился этим бредом, и, пока меня с вами не было, вы вовсю талмудили этим друг другу головы?

– Шутишь, Вол? – ухмыльнулся тот. – Я изложил нашему питерскому товарищу известную тебе мою точку зрения на советскую власть. Однако в Новгород съезжу и в новгородской Софии, если потребуется, постою. Я твердо решил получить подъемные и суточные в Юбилейном комитете, куда и направил свои и ваши стопы. Если уж все академические пайки пролетают мимо меня...

– Вольному воля, – пожал элегантный великан широкими плечами. – Надеюсь, никто из вас не думает, что я помчусь на Лубянку доносить об услышанном? Ну, утешили, что называется. Однако выругать вас я имею право, надеюсь? Так имею, Боря? Имею, Валерий? Вот спасибо.

Гривнич собрался, наконец, с духом и осмелился открыть рот:

– Зачем же обязательно ругать? Едва ли, Владимир Владимирович, у вас есть что возразить против юбилея Достоевского...

– Вот именно, Вол, – поддержал Пастернак.

– Ишь, как они спелись! Против Достоевского, гениального богоборца, я ничего не имею, а вот сколько-нибудь широко праздновать юбилей автора «Бесов» несвоевременно с точки зрения политической. Да и с литературной тоже: сейчас проза никому не нужна, одна звонкая поэзия худо-бедно успевает откликаться на запросы жизни. Я вот задумал отметить свой двенадцатилетний

юбилей работы в поэзии и название для вечера уже придумал – «Дювлам». Как вам название, товарищи?

– Тебе бы, Вол, только вломиться куда-нибудь...

Гривнич подумал, что после прекраснородушной откровенности Пастернака злосчастному Юбилейному комитету остается только собрать манатки и мотать из Москвы со скоростью курьерского поезда. Маяковский меж тем продолжал громохатать.

– Относительно же прозвучавшего тут мистического бреда. Я, товарищи, оказался в дурацком положении. Меня, лучшего поэта России, обошли приглашением! Плюнули, можно сказать, в лицо знаменитого футуриста. Однако я утрюсь и выскажусь по существу. Прежде всего, эту дичь не Валерий Осипович придумал, – помотал лобастой головой Маяковский. – Человек, написавший такие едкие и циничные пародии, не родил бы дешёвенькой мистики.

– Ну да, – растерянно усмехнулся прославленный петроградский пародист.

– Нет, я понимаю питерских: смерть Блока, расстрел Гумилёва – тут есть, отчего растеряться. Однако давайте смотреть на вещи трезво: великий Александр Блок умер в конце своей эпохи. На сорок первом году жизни, говорите? Это для аптекаря Пшебышевича какого-нибудь мало! А для нас с вами... Дай бог нам с вами столько прожить – и так прожить, как Александр Александрович!

Гривнич невольно кивнул.

– Вот видите! А Гумилёв был монархист и воспевал империалистическую войну. За это не расстреливают, но ведь он сознался, что примкнул к заговору. Да, питерский поголовный расстрел заговорщиков – перебор, и я его расцениваю как гротескное продление жестокости гражданской войны, когда война уже закончилась. Такую же идиотскую тупость проявили бюрократы «Госиздата», только сейчас напечатавшие мою «Сказку о дезертире» для красноармейцев с картинками – и тиражом двести тысяч!

– Двести тысяч... – ахнул Гривнич.

– И все двести тысяч – коту под хвост! Я там пугал дезертира-деревенщину наступлением Врангеля, возвращением царя, попа и городского с нагайкой, а эти идиоты домурыжились с печатанием до того, что и войне пришел конец. Кому теперь нужны эти байки? А «150 000 000» я проталкивал девять месяцев (баба

скорее родит!), беспрестанно обивая головы и пороги! Теперь сужусь с «Госиздатом» за «Мистерию-буфф». Напечатали с боем, а теперь не желают гонорар платить – и ещё гордятся, что за такую чепуху не платят! До этого подобная история была с «150 000 000»: я там хоть и не указал, что моё, и предлагал каждому желающему переделывать, однако же и так все знали, кто написал. Вы хотите на коммунистических бюрократов повлиять, в храме Вечной мудрости за руки взявшись, а с ними надо драться, выбивать из них дурь внутри их самой же неповоротливой государственной машины! Как я, грызться, чтобы толстые щёки летали в воздухе! А кстати, и пришли.

Да, это уже бывший «Княжий двор» сиял перед ними белизной стен, а в прежние времена сиял бы и утренней чистотой.

– И сама ваша мистика... Странно и слышать о такой поповщине в наши дни, когда наука сделала великий прорыв. Я об общей теории относительности Эйнштейна. Ромка Якобсон приезжал из Праги, мне о ней рассказывал. Я и предсказал, – тут Маяковский вперил в Гривнича свой гипнотизирующий взгляд и задвигал скулами, – что одним из частных следствий теории относительности будет открытие бессмертия. Впереди научное открытие вечной жизни, вытекающее из относительности времени! Я ведь неплохой пророк – вон обе революции предсказал – авось не ошибаюсь и тут! Долго носился с идеей послать Эйнштейну приветственное радио «Науке будущего – от искусства будущего», на днях собрался, наконец, а инженеры говорят, что отправление телеграмм по беспроводному телеграфу временно запрещено.

Гривнич попытался было пригласить футуристов в своё временное обиталище, однако Маяковский решительно воспротивился. Прищурившись на бывший «Княжий двор», заявил:

– Сбегайте лучше сами, а мы пока с Борей тут потолкуем. Всегда мне казалось, что сей карточный домик вот-вот завалится. Да и вы, Валерий, наверняка с этим своим Мефисто в одной комнате, а его я видеть не хочу. Я с буржуями общего языка не нахожу – и никогда не мог найти. Вон даже наш нагой мудрец Велемир в восемнадцатом году нашел себе мецената, а я на такое из принципа не пошёл бы. Все-таки за плечами одиннадцать месяцев в Бутырке за членство в РСДРП ещё гимназистом. Из партии потом вышел, чтобы мною не

распоряжались всякие олухи, а буржуев и теперь на дух не переношу. И вы бы поостереглись, Валерий. Такие вот каракурты ухитряются и у бедняка отобрать последнее для тебя дорогое.

#### **Глава 24. Велемир Хлебников**

– Вставайте, Валерий Осипович, не то проспите самое интересное!

Выныривая из сумбурного сновидения, Гривнич увидел склоненное над собою лицо Всеобщего благодетеля, и чтобы уйти от пронизывающих чёрных глаз, попытался было снова укрыться там, где босоногие и потные вакханки плясали вокруг него, перекликаясь меж собою почему-то на языке Шекспира... Не вышло... Сухая твердая рука, тормозившая его за плечо, беспощадна.

– Не выйдет, Валерий Осипович! Кремлевские куранты пробили семь раз.

– Что – пора уже душу отдавать?

– Выходит, проснулись, если деловые вопросы задаете. У нас будет гость. Вы едва успеете побриться. Лиза оставила для вас кружку горячей воды.

В окно, выходящее на кирпичную стенку, сочится заря. Утренняя, вечерняя? Хотя – он ведь лёг в восемь утра... А где, интересно, Лиза?

– Лиза отправлена на барахолку для покупки спиртовки или примуса. На обратном пути я просил её захватить на Почтамт сдать простую бандероль. Лучший способ деньги переправлять – запомните! Никто не проверяет вложение, не составляется никаких квитанций... А босоногие вакханки вам снились, потому что мы с нею поболтали немножко над вашим ложем об Айседоре Дункан. Помните – возрождает древнегреческую ритмику и танцует босиком? Знаменитость сейчас в Москве, и Лиза с присущей ей наивностью делилась со мною своим планом достать себе билет на её концерт через коменданта Адама.

– Такие всемогущие люди, как Луначарский, вы или товарищ комендант Адам, обычно давно и прочно женаты, – заявил Гривнич, лениво намыливая щеки. – Розовые девушки напрасно льют по ним слезы. Кстати, вы так и не дали мне знать, Всеволод Вольфович, довольны ли вы моими вчерашними успехами.

– Вы же не Лиза. Зачем вам лишние комплименты? Конечно же, я доволен. Нам с вами, для завершения магического круга, нужен теперь святой – чтобы уравновесить вашего приятеля-грешника.

– Банально выходит: питерский грешник – московский святой. Да и где такое диво теперь найдешь, поэта-святого? Хотя... Не подойдет ли вам отец Павел Флоренский? У него ведь и поэтический сборничек выходил, «В вечной лазури», если не ошибаюсь. Ага, вспомнил! Он предложил ведь и своеобразное толкование Софии...

– А скажите мне, Валерий Осипович, читали ли вы стихи отца Павла?

– Ну, трудно сказать... Просматривал, не до конца. Судить о них серьёзно было бы не *comme il faut* и даже бестактностью в отношении чуть ли не единственного русского богослова современности. Правда, Софию отец Павел рассматривает, помнится, исключительно христологически.

– Вот видите. Но странно, что вы забыли о Хлебникове.

– Я-то не забыл. Но Хлебников недосыгаем – в Персии. До Тегерана и вам не дотянуться, Всеволод Вельзевулович...

В осколок зеркала смотрелся тогда Гривнич, но показалось ему, что хоть никак не могли глаза Чернокостюмного оказаться в его поле зрения, сверкнули они по всей комнате, как блеск молнии проникает закрытые веки. Уж если берётся нечистый за свои игрушки, пора, долше не откладывая, доставать из саквояжа чистое белье и разыскивать в Москве действующую баню.

– А если вдруг дотянусь? Стирайте пену. Наш гость в ближайшем коридоре.

Действительно, раздался стук, и после приглашения в комнату появился высокий и меднолицый усач средних лет в меховой шапке с висюлькой, красном жупане и высоких блестящих сапогах. Перед собою держал бандуру.

– Дозвольтэ видрэкомендуватися – Дмитро Пэровський, поэт та бандурист. Автор «Бегства Мазепы». Яки думы вы, пановэ, хотили почуты?

– Это я звонил вам, Дмитрий Сергеевич. Боюсь, что ошибочка вышла с бандурой. Садитесь вот сюда... Я – Всеволод Вольфович, в прошлом коммерсант, ныне, в некотором роде, меценат, хе-хе-хе... А это секретарь мой, Валерий Осипович, он же Валерий Бренич, поэт.



– И переводчик. Очень приятно.

– Взаемно, товарищи. Хоча одночасно и дывуюся, – пожав новым знакомым руки, Перовский снял шапку, жупан, аккуратно сложил опереточную одежду и поместил на бандуру, уже бережно пристроенную на кровати Гривнича. Причесался и, несмотря даже на усы, обычный московский чиновник с виду, продолжил, по-местному акая. – Если не пением... Как же тогда я смогу ограбить вас на тыщонку-другую? Купите для питерского журнала парочку моих собственных дум?

Не отвечая, Всеволод Вольфович прошествовал за Лизину занавеску («И что только там забыл?» – неприятно удивился Гривнич) и вынырнул из-за неё с бутылкой зелёного стекла, заткнутой кукурузным початком, и куском сала. Разместил на подоконнике, где уже стояли три чашки.

– Это к вашему гонорару. Хотите отведать?

– Ни-ни, – замахал гость выставленными перед собою ладонями. – И тем более, что вы, Всеволод Осипович, по телефону связываясь, не позволили мне взять с собою жену мою Марийку. Она у меня молоденькая, из Городни на Украине, и я беру её с собою всякий раз, как зовут в гости. Чтобы набиралась московской культуры. К другу моему Пастернаку ходим на четверги, к Брикам и Маяковскому... Я на гражданской такого насмотрелся, что нервы ни к черту... Одна-две рюмашки – и в скотском виде. А Марийка, она сдерживает. После, как дело кончим – идёт?

– Забирайте припас, разберётесь сами. Вы меня интересуете как близкий друг Велемира Хлебникова.

Прибрал сперва угощение гость, свернул козью ножку, крутанул колёсико зажигалки, а когда пахнуло вонючей дрянью, затянулся и только потом заявил:

– Ошиблись вы. У Виктора Владимировича нет друзей. Я действительно провёл с ним немало времени, теснились даже пару месяцев вдвоём в одной маленькой комнате, но такое понятие, как дружба, это не про Хлебникова, это ниже, наверное, его сознания. Я приведу примеры, расскажу о двух случаях.

– Вы уверены, что есть необходимость? – спросил задумчиво Человек в чёрном. – Едва ли это приятные для вас воспоминания.

Перовский отмахнулся:

– Если я не расскажу, вы будете искать других его друзей, толкнётесь к Каменскому, к Маяковскому – и ничего хорошего из этого не выйдет. Тот же Маяк клятвенно обещал «лучшему другу» кровь из носу напечатать том его сочинений, однако потерял рукопись – или в издательстве потерялась. Так вот, после Октябрьских дней в Москве, когда Хлебников показал себя, к моему удивлению, человеком храбрым – на простреливаемой Тверской, например, пулям не кланялся... Возможно, казацкая запорожская кровь проявилась – он ведь наполовину украинец, Хлебников...

– Так вы не верите, выходит, в русскую храбрость? – встрепенулся Гривнич.

– Можно подумать, что русские ещё существуют реально или что они не исчезнут окончательно в огне мировой революции! Писал же Пума – Пумой Хлебникова близкие приятели называют, после одной, довоенной ещё, его любовной истории – писал же Пума, что

У великороссов

Нет больше отечества.

– Позвольте вам заметить, – мягко возразил Человек в чёрном, – что очень многие из сочувствующих советской власти здесь, в России, и многие отнюдь не сочувствующие ей эмигранты также, что они всё более убеждаются: РСФСР превращается в мощную и перспективную продолжательницу дела Российской империи, а большевики суть талантливые наследники Петра Великого.

– Я на ваших белоэмигрантов ложил сами знаете что, и с прибором. А белое офицерье лично шашкой рубил в лавах красных казаков товарища Примакова. Вы спрашивали про Хлебникова? Извольте, рассказываю за ваши деньги. Тогда, как бои в Москве стихли, исчез куда-то мой Пума. Вдруг слышу, кажется, от Каменского, что Хлебников отлично устроился: роскошествует, мол, на Воздвиженке у знаменитого владельца всех московских булочных Филиппова на полном иждивении. Я тогда жил на подножном корму и, конечно же, памятуя прежние наши совместные невзгоды, помчался к нему. То есть к Филиппову. Ну, попросил холуя в ливрее вызвать поэта Хлебникова. Он вышел ко мне с недоеденным пирогом в руке и, поняв, что я голоден, протянул мне огрызок. Я здесь же, в прихожей Филиппова и под хамским присмотром лакея (следил, как

бы не стянул чего) доел этот очень вкусный пирог. И тогда Хлебников этак спесиво мне заявляет: «Вы ещё недостаточно известны, чтобы рассчитывать на мецената». Тут я вспылел и, не сказав ни слова, вышел. Потом я узнал, что по рекомендации Бурлюка и Каменского Хлебников получил от булочника заказ на роман, и ему для выполнения заказа предоставлен был номер в гостинице «Люкс» на Тверской и стол у самого мецената. Разумеется, из этой затеи вышел пшик, зато мой так называемый друг заимел повод почувствовать себя мэтром.

– Ваша обида понятна, – осторожно возразил Гривнич, – однако он ведь действительно не мог пригласить вас к чужому столу. Да и поводов считать себя большим поэтом было тогда у Хлебникова достаточно и без истории с булочником-меценатом.

– Хорошо, а вот вам следующий случай. Впрочем, произошло это раньше, как только приятелям удалось вызволить Хлебникова из солдатчины, из чесоточной команды 93-го пехотного полка под Царицыным. Приехал я к нему в Астрахань, и отправились мы в степь разыскивать гору Богдо, уроненную святым и воспетую Хлебниковым в его «Хаджи-Тархане», задолго до этого путешествия. Мы сели на пароход, ходивший из Астрахани на Черепяху, это калмыцкий поселок у одного из рукавов Волги при впадении в Каспий. Из Черепяхи ушли в степь верст на семьдесят. У нас была фляга с водой и немного хлеба. Здесь Велемир сочинил своего «Льва», «Трубу марсиан». Степь, солончаки. Скоро и вода кончилась. Мне стало худо. Жар, горло распухло. Была ли это малярия или меня укусил местный тарантул – не пойму до сих пор. Свалился на траву и потерял сознание... Очнулся – ночь уже на исходе. Я был один. Воют шакалы. Холодно, жутко. Я собрался с силами, огромным напряжением воли встал, добрался до посёлка, потом до пароходной стоянки и доплыл на пароходе до Астрахани. Хлебников сидел и писал, когда я вошёл. «А, вы не умерли? – обрадовался он. – Вы как-то говорили, что сострадание – ненужная вещь. Я думал, что вы умерли. Я нашёл, что степь отпоёт лучше, чем люди». И я не перечил Велемиру, хоть он, поэтическая душа, явно имел в виду шакалов. Наши добрые отношения не поколебались.

– Достаточно, вы меня убедили, – сдался Чёрнокостюмный. – А не известна ли вам женщина, которую бы он любил, а она душевно бы с ним осталась связана? Очень нас выручите, если вспомните такую.

– Влюблялся Хлебников невероятное количество раз, – криво усмехнулся Перовский, – но никогда на моей памяти не любил по-настоящему. А женщины, они – создания психически здоровые, могут увлечься пьяницей, но не явным безумцем. Идеальную для себя любовную ситуацию Пума описал в «Шамане и Венере». Так что... Я, кажется, знаю, кто вам нужен! Это цыганка Аграфена.

И он рассказал довольно длинную и запутанную (Валерия начало клонить в сон) историю о том, как компания писателей ездила в Сергиев Посад к отцу Павлу Флоренскому, как засели ещё до визита в блинной, а там к ним подошла цыганка и начала гадать. Особенно хорошо и проницательно гадала она Хлебникову, видно, поняла его лучше других женщин.

– Говорите, ваша Аграфена обладала медиумизмом? – вскинулся мнимый Всеволод Вольфович. – Только как нам теперь её найти, товарищ Перовский? Ведь дело было ещё при наличии блинов, к тому же в Сергиевом Посаде...

– Да, лет пять тому назад. А вот теперь Аграфена живёт в Москве, и я знаю, где её найти. Дело в том, что она и мне тогда кое-что неожиданное нагадала, вот я и разыскал Аграфену после, уже один ездил в Сергиев Посад. Потом она переехала в Москву, своему табору только оброк платит.

– Значит, вы её навещаете время от времени, эту Аграфену? – не сдержал любопытства Гривнич.

– Совсем не для удовлетворения страстей, как вы, небось, предположили, – дёрнул плечом Перовский. – Она в два раза меня старше и скорее походит на Шамана, нежели на Венеру. Меня привлекала и привлекает в ней её способность заглянуть в будущее, и я же говорил, что она мне кое-что нагадала...

– Тогда поехали.

– Не нужно вам и ехать. Если вы в состоянии заплатить ей такой же гонорар, что пообещали мне, я позвоню ей по телефону, и Аграфена приедет сама. Иногда она не настаивает на гонораре.

– У цыганки – телефон? – прыснул смехом Гривнич.

– Аграфена очень хорошая гадалка, – заявил гость внушительно. – Её услугами пользуется кое-кто из тех, что тут недалеко от вас, за красными кирпичными стенами. Она академический паёк получает.

Как только Перовский отбыл вызванивать по телефону академически питающуюся гадалку, Всеобщий благодетель заявил озабоченно:

– Не нравится мне, что Лиза задерживается... Я просил её заехать на Почтамт, но вечером там не лучшее место для одинокой девушки. У Почтамта начинают сейчас собираться московские этуали.

– Пожалуй, – озаботился Гривнич. – Хотите, чтобы я перехватил её у Почтамта?

– Если вам не трудно. Заберите у неё корреспонденцию, да сами и отправьте. И слишком долго, как усердный поклонник, её не поджидайте: вполне возможно, что она уже едет сюда, и вы разминетесь. И знаете что? Цыганке может помешать лишний свидетель в тесной комнатке, да ещё молодой человек, скептически настроенный...

– Так бы и сказали, – засмеялся Гривнич. – А то: «беспокоюсь я о Лизе», как же...

Уже в дверях, обернулся и поинтересовался:

– А как вы думаете, что цыганка нагадала нашему гостю?

– Я не думаю. Я знаю. А вот вы догадайтесь сами с трёх раз.

Оставшись один, Человек в чёрном поднялся на цыпочки и вкрутил электрическую лампочку в патрон до отказа. Она не загорелась, и в комнате стало ещё темнее. Уселся на койку и не пошевелился, пока дверь не распахнулась, и не явился в ней снова казак-стихотворец, на сей раз в сопровождение своей музыки. Цыганка Аграфена, одетая в бархат и обвешанная обычными цыганскими побрякушками, смогла бы без грима выйти на сцену в «Макбете» одной из трёх ведьм.

Чёрнокостюмный приподнял голову – и лампочка на шнуре вспыхнула. Цыганка присмотрелась к нему, одарила убийственным взглядом Перовского и бросилась назад к двери. Дверь не открылась. Она повернулась к чернеющему на кровати и протянула в его сторону длинный костлявый палец:

– За эту твою подлость накладываю на тебя вечный венец безбрачия!

Чёрный человек коротко хохотнул. Тогда цыганка накинулась на Перовского:

– Это ты заманил меня сюда! Так не быть тебе никогда автором красных «Войны и мира»! Молодой донской казак их напишет! А ты... Каждый сверчок знай свой шесток!

Перовский вцепился себе в волосы и взвыл.

– Угломонитесь, – бросил ему Человек в чёрном, и тот уже спящим упал на кровать рядом с бандурой, обнял её и, сохраняя по-детски обиженное выражение на круглом усатом лице, тихо засопел.

– Успокойтесь и вы, Аграфена, – легким светским тоном обратился Чернобородый к забившейся в угол гадалке. – Я вовсе не собираюсь причинить вам зло...

– Ты сгниешь в ЧК, мелкий фокусник! – задрожала она от ярости. – Это не предсказание, друзья просто окажут мне услугу.

– Да вы и сами не верите сейчас своим словам, – мягко возразил её собеседник. – А вот вас, к сожалению, действительно пристрелят в чекистском подвале под треск мотоциклетки, заглушающий ваши вопли и выстрелы. Там и зареют. Вольно же вам было усердствовать в Кремле, тет-а-тет с сухоруким грузином! Гадать надо людям простым, не имеющим возможности убрать со временем слишком пронизательного свидетеля.

– Я не верю тебе! – выдохнула Аграфена.

– Вольному воля, – чуть поклонился он. – У меня к вам небольшое дельце. Я так понимаю, что вы не цыганка и даже вовсе и не Аграфена. На пике увлечения спиритизмом вас приглашали как медиума в лучшие дома Петербурга. Когда же мода на столоверчение прошла, а с вами случились некоторые личные неприятности, вы вынырнули в Сергиевом Посаде уже в новой роли. Вы себя выдали, когда, заинтересовавшись компанией литераторов, принялись гадать им всем, но не настояли на выплате вознаграждения – для настоящей цыганки поступок невозможный.

– Что вам от меня нужно?

– Очень немного. Ваш дар медиума. Только не с умершим нужен мне контакт, а с живым. С известным вам поэтом Хлебниковым. Вы его в своё время

очень хорошо прочувствовали, а потом этот вот бандурист вам про знаменитого приятеля все уши, небось, прожужжал.

– Допустим.

– Я прошу вас установить связь с Хлебниковым, настроиться на его волну – не мне вас учить. Он сейчас на Востоке. Был вместе с Красной Армией в Персии, в Тегеране, а сейчас, возможно, вернулся уже в Баку.

– Погасите электричество, мешает... Сами увидите, когда можно будет спросить. Ненавижу...

Прошла минута, и Чернокостюмный присвистнул. Потому что не старуха стояла перед ним, за спинку кровати одной рукой придерживаясь, а одетый в её платье и увешанный поблескивающими цацками согбенный мужчина без возраста с усталым и недоуменным выражением лица.

– Это вы – Велемир Хлебников, Председатель Земного шара? – осторожно осведомился Человек в чёрном.

– Я один из трёхсот семнадцати Председателей, – ответил слабый, но уверенный мужской голос, и Чёрный человек блеснул белыми зубами в довольной ухмылке. – Вильсон и Керенский не оправдали моих надежд, поэтому были в своё время мною исключены из дерзкой толпы Председателей Земного шара. Я сплю сейчас?

– Конечно же, спите. Где вы заснули, Виктор Владимирович?

– Я в Персии. Мы отступаем, а я устал отступать. Я лёг спать. У меня подушка – не пух, не перья съеденных птиц, не камень, а дырявый сапог храброго моряка Самородова. Я прикомандирован к штабу. В этом походе я чуть было не погиб, как гибнут дети. И если я сейчас не проснусь или если кровавый комиссар Блюмкин не пришлёт за мной вестового красноармейца, я отстану и буду растерзан фанатиками Магомета и британского империализма, как древний Грибоедов.

Верю сказкам наперед:

Прежде сказки – станут былью,

Но когда дойдет черед,

Моё мясо станет пылью.

И когда знамена оптом

Пронесет толпа, ликуя,  
 Я проснусь, в землю втоптан,  
 Пыльным черепом тоскуя.

– Виктор Владимирович, вы удовлетворены тем, как она повернулась, революция?

– Нет, разумеется. Пьяная матросня вершит несправедный суд, ночные обыски без мандата, расстрелы без суда. ЧК сажает Председателя Земного шара точно так же, как сажали белые Председателя Земного шара, и новых его друзей опять уводят на расстрел. Необходимо, наконец, законодательно ввести любовь властей к отдельному человеку и полную справедливость – вплоть до конских свобод и равноправия коров.

– Хотите поправить дело? Хотите произнести для этого заклинание в кругу лучших русских поэтов?

– Хочу ли? Я – предсказавший Великую революцию в девятьсот двенадцатом году и выбранный королем поэтов в квартире Бриков в Петрограде? Я хочу.

– Тогда приезжайте, Виктор Владимирович, в город Новгород Великий на Веру, Надежду, Любовь, чтобы к рассвету быть у собора Софии Новгородской.

Фигура в бархатном платье опустила голову, и Чернобородый с досадой увидел, как проявляются в только что выпрямившемся, полном достоинства мужчине уклончивое и слабое, старушечье... Только не это!

– Виктор Владимирович, что вас тревожит?

– Я сплю и не знаю, как проснусь: то ли освеженный ночной прохладой, то ли освеженный кинжалами магометан и британских шпионов. Я не могу обещать, что доеду. Ведь «Декларация творцов» отвергнута бюрократией Наркомпроса.

– Какая декларация? – отчаянным шепотом спросил Чернокостюмный.

– Все творцы – поэты, художники, изобретатели – должны быть объявлены вне нации, государства и обычных законов. Им на основании особо выданных документов должно быть предоставлено право беспрепятственного и бесплатного переезда по железным дорогам, выезд за пределы Республики во все государства всего мира. Поэты должны бродить и петь. Бродить и петь...



И зловещая старуха, в которой совсем немного уже осталось мужского и наивного, продолжая держаться за кровать, опустилась на пол.

– Виктор Владимирович! – загремел Всеобщий благодетель командным голосом, чёрт знает на каких плацах выработанным. – Специально для вас «Декларация творцов» принята экстраординарным заседанием на одну поездку! Вам нужно будет только захотеть!

### ***Глава 25, последняя, печальная***

Сумерки, или как говорят французы, «пора меж волка и собаки», по мнению Рейли, были лучшим временем для посещения Почтамта. Уже не день, и внимание у сыщика притуплено усталостью; ещё не полностью стемнело, и не включилась установка на особую, инстинктивную ночную бдительность. Серая зыбкость освещения, позволяющая тебе увидеть всё необходимое и не позволяющая филёру хорошо разглядеть твое лицо, чтобы мысленно сравнить с фотографическим или «словесным» портретом. А визит в отдел корреспонденции «До востребования» нельзя было дольше откладывать. Рейли выполнил служебное задание, сделал всё возможное, чтобы и от себя насолить чекистам. Достаточно сделал. Следовало уходить, не искушая дольше судьбу.

Альтернатива деньгам от поросшего чёрным волосом французского шпиона оставалась только одна – экспроприация. Да только некого тут грабить. Банк в Москве фактически один, и охраняется он, в отличие от ВЧК – будь здоров. Видно, большевики и левые эсеры, сами понаторевшие на грабежах банков Российской империи, со знанием дела организовали в своё время систему его защиты от своих уголовных и политических последователей. Налёт же на какую-нибудь булочную, во-первых, претил капитану разведки её королевского величества, во-вторых, несмотря на нешуточный риск, мог не дать суммы, необходимой для того, чтобы добраться до места перехода в Польшу «зелёной тропой». Да и нужна была бы для такого подвига чекистская форма, а от неё Рейли избавился сразу же после того, как с её помощью расколол недотёпу-военспеца на Варварке.

Явка оказалась комфортабельной отдельной квартирой, обнаружилась там и жена военспеца, принятая Сиднеем поначалу за горничную; компенсируя эту оскорбительную для неё ошибку, он сразу же решил, если что, дамочку пощадить. В прихожей висели офицерская шинель без погон и фуражка с красной звездой, а на хозяине, встретившем мнимого чекиста у дверей кабинета, была домашняя куртка, обшитая светлым шнуром. Дурак, он сразу же начал лопотать, что никто-де к нему не приходил, что напрасно его проверяют: он-де скрупулезно выполняет инструкцию и прочую чушь.

На следующее утро Симон-бомбист отправился на Сухарёвку с френчем (все нашивки и галуны, конечно, спороты), бриджами и фуражкой покойного чекиста Бурового, а принёс солдатские штаны и пролетарскую кепку, полмешка картошки нового урожая и неполную бутылку постного масла. Кожанку и сапоги Рейли решил оставить себе.

Сейчас, с трёхдневной щетиной, безусый, в кепке, надвинутой на глаза, Рейли чувствовал себя неузнаваемым, но на душе всё едино кошки скребли. И ёкнуло у него внутри, когда разглядел он первого сыщика.

Не переодевшись даже в гражданское, стоял он, белобрысый, похожий на прибалта, внизу у колонны и, зажимая в кулаке обтрепанный букетик хризантем, изображал пришедшего на свидание. Зрелище влюбленного чекиста, по-видимому, приятно щекотало нервы проституток, совершающих свой променад в опасной близости.

Рейли как ни в чём не бывало миновал чекиста, сперва щекой, а потом кожей между лопатками ощутив его внимательный взгляд.

Карев тем временем, ощупывая глазами бывшего военного, на фоне сияющих светом стеклянных дверей ставшего уже тёмным силуэтом, классифицировал увиденное. Потёртая кожанка, сапоги, солдатские застиранные штаны... Демобилизованный. Возможно, после ранения. Среднего роста, немного за тридцать – совпадает. Вот спасибо за приметы! Весь их с Круминьшем расчёт был на то, что англичанин придёт на Почтамт в форме, однако не слишком ли они на это понадеялись? А по одной фотографии узнавать – так это разве что знаменитых теноров, да и там ошибочка возможна. Карев отошёл на мостовую и, подняв глаза на часы, прикинул, сколько осталось до закрытия Почтамта. С

сожалением подумал, что достать сейчас сухарь и жевать его, веничек цветочный имея в руке, было бы уже полнейшим идиотизмом.

С улицы главный зал Почтамта показался Рейли освещенным так ярко, что ему пришлось прищуриться. Потом он неторопливо огляделся, и сразу установил второго сыщика. Этот и вовсе не маскировался: тоже в форме, встал недалеко от окошечка «До востребования» и сверлит бдительным взглядом очередь. Рейли присмотрелся – и ахнул в душе: был это тот самый высокий увалень, питерский агент ЧК, которого он месяцем ранее по просьбе французского коллеги оставил в живых, только воблу позаимствовав! Вот это обложили, называется... Уходить сразу теперь нельзя. Рейли стал в длинную очередь перед окошком «Прием бандеролей и посылок». Здесь можно и марку купить, на марку у него ещё хватит... И тогда уже уходить. Вразвалочку, неторопливо.

Долговязый агент (Луцкий, кажется, его фамилия, да, Луцкий) им не заинтересовался. Вытягивает свою и без того длинную шею, пытается заглянуть в бумажку, которую показывает в окошко красноармеец в шинели и в будёновке. Сзади подходят. Лёгкие шаги, каблучки постукивают. Женщина, не опасно...

– Скажите, это точно вы крайний? За вами не занимали? А то в прошлый раз...

– Не занимал никто, – машинально отвечает Рейли. И тут же узнает тембр голоса, и эти неповторимые суетливые интонации, и готовность к отпору, и бессознательное кокетство. Конспиративная квартира чекистов в Петрограде, пыльная прихожая. Девушка с нахлобучкой из шарфа на глазах возмущается: «Какую я тайну узнала? Да я не смогла бы снова найти эту вашу тайную квартиру!» Силантьева! Чекисты её вычислили, или дура сама к ним пришла и теперь привезена в Москву. Пожалуй, сможет его опознать... ещё не узнала, наверное. Стрелять нельзя, даже в упор. Ножом, значит. Чуточку присесть и вытащить из правого голенища. Бросовый ножик, сточенный со всех сторон кухонный ветеран, а и за такой спасибо Симону-бомбисту...

– Ты, дочка, последняя посылку сдавать?

– Я крайняя, и никто не занимал.

Подождать, пока очередь подсоберётся, тогда повернуться, будто выходишь из очереди, нож в девичье и оставить. Можно попробовать сразу уйти, а

лучше сначала самому поднять шум («Девушке плохо! Воды!»). Стоп, стоп... Если её привезли сюда чекисты, то почему она стоит в очереди? Место Силантьевой – в углу за столом: делать вид, что пишет письмо, и фиксировать входящих. Неужели совпадение? Совпадения в бульварных романах бывают и в синемаатографе, вот где они случаются... Если и совпадение, необходимо исправлять ошибку, допущенную на Пряжке сентиментальным капитаном Сиднеем Рейли. Вот сейчас...

Рейли оборачивается, выстроив на лице любезную улыбку.

– Барышня, можно, я вас пропущу на своё место? Мне должны были сюда посылку поднести. Что-то запаздывают...

– Конечно, мужчина, пожалуйста...

– Благодарю.

Не узнала. В шляпке, волосы под шляпкой чистые, пушистые... В приличном платье, стучала каблуками ботинок, а на полу в той прихожей сидела, вытянув голые ноги в дешёвых сандалиях. Чекисты одели-обули? А двоих своих отправили на Почтамт в форме – не клеится... Засуетилась, как кошка в мусорном ящике. Поставила ношу на пол, стукнул легко узелок. Достает из сумки посылочку, вот что она делает... Теперь сумочка в левой руке, посылка в правой... Какая посылка? Это голубая бандероль, точная копия той, что спасла его от голодной смерти три недели назад... Рейли отступает и ухитряется прочесть на грубой бумаге: «Толстик...» Толстикову. Ему!

– Ой! Мужчина! Что топчешься, как слон? Ногу отдал!

– Вы уж простите великодушно...

– У слона заболи, у крокодила заболи, у гадюки болотной заболи, а у бабушки Муси заживи... Бабушка, а ты купишь мне марку с товарищем Троцким?

Под взглядом Рейли тонкая, беззащитная шея и верх спины напряглись, закаменели. Узнала! Рейли решил. Склонился к розовому уху и зашептал:

– Да, это я, к сожалению. Сейчас я возьму вас под руку, и мы спокойно выйдем из Почтамта. Вы поняли, Силантьева?

– Я должна была отправить бандероль... Я и без того опоздала. Всеволод Вольфович будет сердиться...

– Да мне эта бандероль, поняли? Я – Толстиков Пётр. Сейчас я возьму вас под руку – и только мне пикните... Вокруг полно чекистов.

И тогда он вытянул её из очереди, чуть не наступив на маленького мальчика, засунувшего от изумления палец в рот. Бабушка Муся встретила парочку возмущённым взглядом.

– Отдайте же бандероль! – прошипел Рейли. Сунул пакетик за пазуху и поправил пристроенный там же «люгер» с уже спущенным предохранителем. Семь патронов, из них один в стволе. В кармане запасная обойма, в ней ещё пять... Они уйдут, ему повезёт и на этот раз: чекисты ведь ловят двух мужиков, а не мужчину с девушкой...

Агент Луцкий тем временем с улыбкой наблюдал за случившейся неподалёку семейной сценой: папаня выволакивает из очереди строптивую дочь, не позволяя отправить письмецо миленку. А может статься, это ревнивый муж... Что-то не станцовывается: слишком уж неподходяще друг ко дружке одеты. Впрочем, люди одеваются сейчас кто во что горазд, да и буржуйки теперь подыскивают себе супружников в победившем классе. Тут парочка оказалась под главной люстрой, и кожанка мужика вдруг заискрилась на плечах. На мгновение только, сразу же и погасли бедные эти звездочки, однако Луцкий успел вспомнить, что на Лубянке англичанин был в кожаной куртке и в ней выпрыгнул из окна конторы. Через стекла!

Расстегивая кобуру, Луцкий протолкался сквозь одну очередь, вторую. Парочка не успела уйти далеко, когда он взвёл большим пальцем курок верного солдатского нагана, нацелил в широкую (и дурак попадёт!) спину шпиона и заорал, свирепея:

– Сидор Рейли, тебе амба! Клешни вгору! Пусти девку!

Тугой затылок мужика передёрнуло, и Луцкий понял, торжествуя: угадал! Это он, он – сам прокачал и расколол знаменитого Сидора Рейли! Уж лучше бы ему подождать тогда с торжеством и самохвальством, уж лучше бы освободить оперативное поле своего соображения для мыслей и действий понужнее! Потому что англичанин не отпустил девку, а мгновенно укрылся за нею и с силой бросил её навстречу Луцкому. Девушка и поймала собою первую пулю, предназначенную англичанину, и пока она падала, а ошеломленный Луцкий взводил снова курок,

шпион навскидку выпустил в чекиста свои четыре пули. Они коротко взвыли, но жуткие звуки попаданий в живую плоть заглушил оглушительный бабий крик, а в нем потонул обиженный и быстро оборвавшийся плач ребенка. Луцкий продолжал стрелять, разбивая стеклянные створки дверей и пуская рикошеты по орущему залу, пока наган не выпал у него из руки.

Услышав первый выстрел, Карев выпустил букетик себе под ноги, вырвал из кармана браунинг, передёрнул затвор и взял пистолет в левую руку, потом достал из кобуры табельный «люгер»... Он завозился, вооружая обе свои руки, поэтому, когда давешний демобилизованный выскочил из главного входа Почтамта под звон падающих стекол, беглец оказался прямо перед Каревым – и на расстоянии, не позволяющем обоим промахнуться. «Прямо тебе дуэль через платок», – успел прикинуть Карев, прежде чем без всяких тебе предупреждений с обеих рук выстрелить, целя в левое бедро. И больше ни о чём не успел он подумать, потому что его противник тоже не имел возможности промазать и к тому же не руководствовался установкой обеспечить арест.

Рейли дважды ударило по ноге, будто железной палкой. Пороховой дым попал ему в нос, он чихнул, сгоряча бросился вперед, однако ушибленная нога подломилась, и Рейли рухнул на то самое место тротуара, где несколькими минутами ранее томился с букетиком подстреливший его белобрысый чекист. Проститутки, визжа, сбегались в подворотню на противоположной стороне Мясницкой.

Англичанин поменял в пистолете обойму, передёрнул затвор и только тогда заставил себя осмотреть раненую ногу. Дело скверно: перебита кость и, скорее всего, задета артерия. Штанина уже вся потемнела, боль становилась нестерпимой.

Чертыхнувшись, он добыл из-за пазухи бандероль, разорвал обложку, достал скрученные наподобие блинчика проклятые деньги. Помахал ими над головой, развернулся на бульжнике в сторону подворотни, крикнул:

– Эй, девочки, поймайте мне извозчика!

Тут же понял, что крикнуть ему не удалось: сам себя еле слышал. Тогда разорвал он веревочку и изо всех сил подбросил жгут вверх. Деньги рассыпались, пахнувший вдоль улицы холодный ветерок понёс банкноты по Мясницкой, и

притихшие было проститутки с новыми взвизгами и криками бросились их ловить. Рейли подобрал обёртку бандероли и тщательно выдрал из неё клочок с адресом. Критически посмотрел – нет, жевать такую грязную дрянь в последние, вполне возможно, минуты жизни... Порвал, уже под нарастающий частый звон в ушах, бумажку на мелкие части и тоже пустил по ветру.

Мясницкая в последних лучах багрового заката, Мясницкая с «Домом со львом» (грязный лев на другой стороне улицы как раз проплывал мимо), Мясницкая под газовыми фонарями, застроенная как бог на душу положит и замечательно разнообразно, Мясницкая с прикрытыми флёром полутьмы разрушениями и обрушениями лепнины, Мясницкая с почти настоящим китайским «Чайным домом» – казалась она тем вечером Гривничу необычайно романтической, Мясницкая, и он благодушествовал, предчувствуя, как вернётся нею же через четверть часа под ручку с Лизой, как расскажет (конечно же, привирая) о ночной прогулке со знаменитым Есениным, и посмеивался, пытаясь предугадать Лизины наивные реплики. Если бы он мог навсегда спрятать милую простушку среди страниц поэтических книг, между театральными декорациями или в загадочных стеклышках стрекочущей кинокамеры... И что ему делать, если Чёрный и в самом деле захочет вывезти Лизу из РСФСР?

Далекая трескотня выстрелов заставила Гривнича поморщиться: жестокий и подло непредсказуемый мир реальности счёл нужным напомнить о себе. Потом мимо, завывая клаксонами, проехала мостовой карета «скорой помощи», за ней, едва ли не из Кремля, грузовик, набитый солдатами, с человеком в кожанке, стоявшим, как в революционные дни, на подножке. Вторая «скорая» промчалась, ревя двигателем, и Гривнич опомнился уже в толпе, неизвестно откуда собравшейся и бегущей к светлому пятну вокруг ярко освещенного Почтамта. В разгоряченной толпе несло застаревшим потом, воблой и скверным табаком. Под ногами зашуршало, он приостановился, получил твердым кулаком по спине, однако нагнулся и поднял бумажку. Сотенная банкнота. Разжал пальцы и помчался, догоняя.

Главный вход оцеплен. Негустая, но всё увеличивающаяся толпа зевак вежливо напирает на солдат и милиционеров. Гривнич обегает её, чтобы

оказаться ближе к тому углу, где на носилках лежат, еле прикрытые серым брезентом, неподвижные тела. Из-под брезента торчат пара сапог, пара солдатских башмаков с обмотками и прюнелевые ботиночки. Он пробегает ещё несколько сажень. Отсюда уже можно бы увидеть головы, но они тонут в темноте.

– Арестовали террориста, он пытался взять заложницу, девка погибла. И двух чекистов шлепнул. Много раненых увезли, даже одного мальчонку, – гудит кто-то в темноте, из тех, из племени всезнающих.

Валерию приходит в голову, что он напрасно теряет время. Лиза давно уже на Волхонке. Пьет себе чай с Всеволодом Вольфовичем или уютно шуршит за своей занавеской, устраиваясь на ночь. Нет, теперь он и на вершок от себя её не отпустит... И как это вышло, что он только сейчас понял: именно она – то самое бедное дитя, чья слезинка грозит разрушением мировой гармонии?

Как в прошедшем грядущее зреет,

Так в грядущем прошлое тлеет.

*Анна Ахматова*

### **Эпилог первый**

Бедное северное солнце всходило над древним, некогда Великим, Новгородом. Кучка людей интеллигентного вида топталась у главного входа в Софию Новгородскую, пока заспанный старичок-ключарь возился с замком. Наконец, циклопические железные двери, заскрипев, отворились, Чернобородый, на сей раз в чёрном пальто, сунул старичку денег и велел убираться.

– Господа, прошу заходить!



Первым проник в церковь, пританцовывая и в цилиндре, Есенин. Потом, на пары или тройки разбившись, чтобы разговаривать или переглядываться, вошли остальные участники ритуала. Человек в чёрном, тщательно осмотревшись (не застрял ли кто в церковном дворе?), с помощью бледного, как смерть, Гривнича закрыл двери и задвинул засов.

Марина Цветаева перекрестилась на алтарь, огляделась и спросила громко – быть может, и не хотела столь громко спросить, однако голос её разнёсся по всей церкви:

– Господа, кто знает – что за витринки торчат из стены?

– Ну, это я могу пояснить, милая Марина, – отозвался Кузмин. – За стеклами спрятаны граффито XI века. В конце прошлого столетия тут было архиерейское служение, и когда собор закрыли на ремонт, тогдашнему архиепископу новгородскому, старенькому монашку, душно стало служить в маленькой церкви, и он давил, требуя скорейшей росписи. Поэтому древнерусские фрески, открытые во время ремонта, были безжалостно сбиты, большинство древних надписей зацементировано. Антикварию наши ударили в набат, но добились только этих застекленных витрин, а с прочих драгоценных надписей, по штукатурке выцарапанных, перед уничтожением сняты были кальки и эстампажи.

– Что такое снято? – недоверчиво спросил Есенин.

– Неужели в детстве никогда не клали бумажку на монету и сверху не притирали тупой стороной карандаша? Это и есть...

– Пойдите, – вдруг встрял в разговор мнимый Всеволод Вольфович. Вот ему, пожалуй, вообще не место было в православном храме, пусть и не действующем. – Собор, вы говорите, перестраивался? Ну и ну... Боюсь, надо было ехать в Киев.

Гривнич дёрнул его за рукав, негромко:

– Всеволод Вольфович, пересчитайте вы. Я, наверное, каждый раз ошибаюсь...

Шевеля губами, разве что только не тыкая пальцем в каждую поэтическую особь, Чернобородый пересчитал – и отвердел лицом:

– Да, их восьмеро... Я-то боялся, что опоздают, забудут, а тут лишняя голова... Да вон он, голубчик – Василий Каменский!

Поэт-авиатор, оставшийся стоять в центральном нефе, бросая презрительные взгляды на окружающую церковщину, немедленно отозвался:

– Да, это я, Василий Каменский! Мало того, что меня не пригласили к Брикам, когда королем поэтов выбрали Хлебникова. Мало того, что забаллотировали, когда корону получил Северянин! Так теперь меня уже и за человека не считают, тогда как даже Кузмин приглашен! Я протестую!

Мнимый Всеволод Вольфович отмахнулся от него и наставил ухо. Гривнич тоже прислушался: гудели моторы грузовиков, откуда-то издали, с окраины. Может быть, только выводятся из гаража?

– Пойдите пока здесь, господин Каменский. Проследите, пожалуйста, Валерий Осипович, чтобы господин Каменский не влез в круг... Итак, господа, не будем терять времени! Станьте, как мы по дороге сюда договорились, возьмитесь за руки... Готовы? Начинайте, Борис Николаевич!

– Именем святой Софии... – раздался красивый тенор Андрея Белого.

– Именем святой Софии... – повторил за ним нестройный хор.

– Всех святых Руси святой...

– Всех святых Руси святой...

Ниспошли с небесной сини...

Для истерзанной России...

Мир, свободу и покой.

Помолчали. Гривнич с отчаянием прислушался: рокот моторов явно приблизился. Ничего не произошло, ничего... А разве что-то действительно могло произойти?

Вдруг древние своды заколебались. На восточной стене преподобный Антоний Великий выпучил глаза и изумленно округлил слабый старческий рот, в следующее мгновение на животе его посреди фрески вспучились краски, выкрошилась штукатурка, вылетели обломки дикого камня, плоские кирпичи, и с ними в облаке белой пыли свалился на железные плиты пола худой человек высокого роста, в длинной солдатской шинели, однако босой. Известковое облако вокруг растаяло, а дыра в стене над его головой заросла и разгладилась, вот

только показалось Гривничу, что святой Антоний так и остался с ошарашенным выражением на лице.

– Ты, что ли, Велемир, друг? – заорал Каменский. – Ты как сюда попал?

– Кажется, на комете, Вася, – Хлебников рассеянно огляделся, подтянул к себе по полу зашуршавшую бумажками подушку, медленно поднялся на ноги. – Однако же я не уверен. Врать в святом капище не хотелось бы.

Затем уставился Гривничу в пробор и заявил:

– Очень мне нравится вот, знаете, ваша прическа. Давно я хочу себе такую же сделать. Как у вас и как у Мариенгофа.

Тут в железные двери осторожно постучали.

Гривнич подскочил, спросил, кто.

– Телеграмма!

И не понять, чей голос: то ли ключаря, то ли совсем незнакомый. И рокот моторов недалний уже, ровный.

– А кому?

– Гражданину Чибисову.

– Да ну их, – отмахнулся Чернобородый. – Велемир, господин Каменский, станьте в круг, пожалуйста. Господа и товарищи, возьмитесь снова...

– Просто замечательно, – спокойно заметил из круга Хлебников. – Похоже на избрание меня Председателем Земного шара в Харьковском городском театре. Вот только хитоны не приготовлены.

– Я прошу тишины, – мягко укорил его Чернокостюмный и оскалился. – Начинайте, Борис Николаевич!

– Именем святой Софии...

На сей раз хор прозвучал более мощно. Однако снова ничего не случилось. И стены на сей раз остались целы.

Двери загрохотали.

– Это прикладами бьют, – потерянно улыбнулся Мандельштам.

– Господи, как хорошо, что я не успел жениться на Жене! – пробасил белый, как мел, Пастернак.

– Именем революции, откройте! Чека!

Хлебников весело рассмеялся. Есенин, хохоча, захлопал себя по бёдрам.

Ахматова, доставая папиросу, величаво вышла на середину круга. Подняла голову, посмотрела отсутствующим взором на паникадило, потом на папиросу, убрала её. Сказала негромко:

– Господа, вспомните, зачем мы сюда приехали, – и, вернувшись на своё место, взяв за руки Цветаеву и Белого. – Прошу вас, Борис Николаевич!

– Именем свя...

И тут главный свод Софии растаял, а из явившегося на его месте высокого неба медленно спустились две полупрозрачные, светящиеся берлинской лазурью фигуры. В одной из них ошеломленный Гривнич узнал Блока, во второй – Гумилёва. У Гумилёва с ужасом заметил тёмные пятна на груди и на лице, однако смертные знаки растворялись в общей голубизне по мере того, как призрак снижался; к Блоку же Гривнич почему-то побоялся приглядываться.

Блок, верный себе, опустил между дамами и взял их за руки, а Гумилёв встал между остолбеневшим Кузминым и задумчиво воззрившимся на него Хлебниковым.

– Пойдите! – вскричал вдруг Чёрный человек. – Пойдите! Было семь, стало девять, а теперь вас – одиннадцать! Так не получится!

Последние слова его заглушил настоящий грохот: двери выбивали уже явно не прикладами, наверняка бревном-тараном. Зазвенели стекла высоких окон в притворе, выламываясь, затрещали переплеты. Загремело и над головой: люди в тяжёлых сапогах бегали по крышам в промежутках между куполами, пытались просунуть стволы винтовок сквозь окошки.

И тогда Гумилёв повернул призрачную голову к Гривничу и поманил его к себе. Как во сне, подошел к нему Гривнич и переплёл свою тёплую, розоватую правую кисть со странно пульсирующими очертаниями прохладной материи. Левую его руку ободряюще пожал Кузмин; теперь старый греховодник улыбался победительно, глаза у него горели.

Не нуждаясь больше в понуканиях, Андрей Белый зычно провозгласил:

– Именем святой Софии...

И на последнем слове «покой», произнесенном так дружно, что оно перекрыло, как показалось Гривничу, даже нарастающую со всех сторон бесовскую какофонию, вновь растворился в небе главный купол и проник в собор

один из концов огромной многоцветной радуги. Она сверкала, она сияла немислимыми светящимися колерами. Она была прекрасна, как прекрасен был Змий, явившийся, по Библии, Адаму и Еве. Глядя на неё, ослепительную эту радугу, Гривнич почувствовал в себе силы необычайные и взлелеял замечательные замыслы – всё как на пике алкогольной или иной (не сейчас вспоминать!) эйфории, но теперь оставалась сумасшедшая надежда, что всё сбудется, всё получится – и не растает бесславно в жалкой утренней трезвости...

И сразу стихла гроыхающая дверь, а на крышах зашелестело помышинуму, быстро удалился и смолк шум автомобильных движков. Внезапная тишина за спиной встревожила Гривнича, он обернулся, а вновь устремив взор в центр главного нефа, не увидел уже ни радуги, ни лазурных Блока и Гумилёва. Зато обнаружил красивой формы, прискорбно грязную руку на своём плече, и Хлебников произнёс раздумчиво:

– Бренич, я понимаю, что жизнь пошла тяжёлая, и все вынуждены меня обманывать, радея о насыщении собственного желудка. Но ведь бывают же исключения? Мне обещаны были проездные и суточные, а я, один из Председателей Земного шара, приехал, как мешочник, на крыше вагона...

– Это дело буквально получаса, Виктор Владимирович.

– Товарищи! – и Всеволод Вольфович хлопнул пару раз в ладоши, что едва ли было уместно в храме. – Посмотрели – и хорошо! Кто не успел, а желает всё разглядеть досконально, те же Корсунские и Сигтунские ворота, обращайтесь ко мне индивидуально, я устрою повторную экскурсию. А сейчас нас уже ждут в Никитском корпусе, это здесь же, в Детинце. Там от новгородского губисполкома накрыт скромный завтрак – подкрепить вас перед первым заседанием.

Заскрежетал засов, открываясь. С неспешностью столичных вояжеров покинули поэты церковь, уступая дорогу поэтессам, а когда дамы вышли, то и друг другу.

Справа противно пахнуло рыбьим клеем, и Гривнич увидел на белом пилястре криво прилепленный номер «Новгородской правды». Передовая статья озаглавлена длинно: «Выполняя решения Десятого съезда РКП(б), обеспечим переход губернии от системы военного коммунизма на рельсы новой экономической политики».

Во дворе Детинца оказалось куда теплее, чём в неотапливаемой церкви, набравшей за ночь влажного осеннего холода. Сквозь серую прошлогоднюю траву пробилась свежая, зелёная, деревья в Детинце уже облетели, а вот кустарник ещё кое-где горит поблекшим огнем. За Волховом, над древним Славенским концом, висела бледная радуга, на глазах растворяющаяся в тусклой голубизне.

– А разве был дождь? – спросила серьёзно Цветаева. – Везде сухо. Вот уж не думала, что радуга возможна и без дождя...

– Всё дело в большой влажности воздуха, Марина Ивановна, – любезно пояснил Кузмин, приподнимая шляпу. – Позволю себе воспользоваться случаем, ведь давно хотел у вас спросить...

Начальник Особого отдела Новгородской ГубЧК Пётр Луцкий, умываясь до пояса во дворе, где снимал комнату, тоже обратил внимание на необычную радугу, однако сразу же выбросил её из головы. На днях он отправил в Бердичев очередной запрос о своей семье, оставшейся в городе во время наступления белополяков, и теперь переживал, представляя, как Рая объявляется, приезжает сюда с детьми и как доброхоты ей докладывают про его шашни с квартирной хозяйкой, приставучей и, как выяснилось, хваткой вдовушкой. А в целом он не жалел, что выпал ему Новгород, когда московский кадровик позволил им с приятелем разыграть на пальцах, кому из двоих выдвиженцев ехать в Петроград. В провинции Петр быстро продвинулся, а приятель написал ему, что до сих пор гонят по Питеру агентом, да ещё и в суматошном осведомительном отделе.

### **Эпилог второй**

Напряжение в электросети резко понизилось, лампочка под зелёным абажуром, и без того экономных свечей, еле накаливала теперь свою нить. Перечитать остановившую Гривнича заковыристую фразу из «Дублинцев» Джойса, над переводом которых он бился вот уже полгода, стало невозможно. Гривнич коротко огляделся, убедившись же, что в полутьму погрузился весь огромный читальный зал Публички, прикрыл прохладной ладонью горящие веки.

На сегодня, пожалуй, и без того достаточно. И ничего удивительного в том, что прыгает напряжение: весь Невский полыхает электрическими огнями нэпманских реклам, ослепляет, подмигивает, дразнит одной и той же замечательно оригинальной фразой «С Новым годом!».

Он не был в восторге от своего проекта встретить наступающий 1923 год на ступенях Публички или, если библиотекарям и гардеробщицам, обязанным досиживать на службе до полуночи, удастся выпихнуть его пораньше – в компании с чугунной Екатериной II. Впрочем, дома вышло бы ещё гаже: пьяные соседи уже сейчас, небось, начинают ломиться к нему в комнату, в коридоре установили граммофон и пляшут квикстеп и кекуок, зашибаясь об велосипед. Можно бы податься в «Привал комедиантов», однако ненасытный Борька Пронин даже и для своих заломил за билеты на эту ночь столько, что просто негде взять такие деньги...

– Да вы просто растравляете себя, дорогой Валерий Осипович! Ведь всё своё вы носите с собою – безукоризненный пробор, честную бедность и скромный талант! Разве этого мало?

Гривнич не открыл глаз. Ужели этот голос забудешь? Да и знакомым холодком пахнуло...

– С чем на сей раз пожаловали, мнимый Всеволод Вольфович?

– Вы ведь, – кроме меня, разумеется, – единственный участник событий вокруг Юбилейного комитета, коему сохранена память о его тайной миссии. Может быть, я только для того и решился на это, чтобы иметь возможность изредка поболтать хоть с вами о прежних наших проказах. Обидно ведь совершить такое – и остаться в тени! Только взгляните, что делается: прилавки завалены продуктами, той же колбасы ешь – не хочу! Разрешена продажа спиртного «не крепче четырнадцати градусов», деревня богатеет на глазах, частники вовсю шьют, пекут, валяют валенки, торгуют, спекулируют, иностранному капиталу обещаны концессии, враждебные марксизму философы посажены на пароходы и – ту-ту!

– Ничего себе «мир, свобода и покой»!

– А вам бы хотелось, чтобы Бердяева, Лосского и Сергея Булгакова расстреляли? Уплывают пароходы с философами в капиталистический рай, и всем

высококолым, кто сам захотел эмигрировать – скатертью дорога, господа! А своих литераторов, прикормленных, отпускают на время: вон Маяковский и Пастернак гуляют по Берлину вместе с амнистированным Шполянским. Народ отъелся и набросился на книги – литератор стал самой престижной и высокооплачиваемой профессией, сразу же после подпольного водочного фабриканта. Чекисты притихли, ограничившись в прошлом году давно запланированными казнями священников. Разве у нас не получилось?

В ответ Гривнич безмолвно вывернул пустой карман, вывалив нечаянно на пол расчёску. Полез за нею, открыв уже, разумеется, глаза. Нет, не снится ему Чернобородый: вон они, чёрные ноги, в чёрных башмаках и гамаши на башмаках черны.

– А кто ж вам виноват, дорогой Валерий Осипович? Крутитесь, не зевайте. Вон Пильняк и Маяковский – какие деньжищи заколачивают!

Гривнич взглянул на библиотечные часы и заговорил решительно:

– Всеволод Вольфович, прошу вас, урежьте, если можете, вашу неизбежную болтовню. Я ведь понимаю, что вы не потешаться надо мной сюда пришли. Возьмите, пожалуйста, свободный стул и подсаживайтесь.

Стукнуло, скрипнуло.

– Да, бессмысленно скрывать свои намеренья от столь пронизательного собеседника – не скроешь ведь! Я опять с предложением. Не очень-то хорошо выходит, что вы один помните о некоторых весьма необычных происшествиях, о них лучше бы никому не знать. Уничтожение памяти о прошлом вполне в природе человека. Столь любимый вами доктор Фрейд с блеском доказал, что в сознании каждого из нас стёрта память о первых годах жизни. А сколько всего прочего предпочло позабыть наше добродетельное человечество! Длительную эпоху всеобщего каннибализма, мыслителя, выдумавшего богов, изобретателей колеса и письменности, смелых китайских капитанов, открывших Америку задолго до Колумба, да и много чего другого. Были и неудачные опыты принудительного забывания – имени Герострата, например...

– Всеволод Вольфович, я же просил...

– Вам ведь некуда торопиться праздновать! Да и было бы чего праздновать... Что прожит ещё один год короткой человеческой жизни? Ну,



ладно. Вам тоже придётся забыть о чуде в Софии Новгородской, однако за это вы получите компенсацию.

– Опять портфель с серебряными ложками? – с надеждой спросил Гривнич.

– Такое даётся только раз... Только раз бывает в жизни встреча, ля-ля... Вольно же вам было поддаться стихии и устраивать кутёж на пару с очаровашкой Кузминым! Нет, мой подарок куда более драгоценен. Вы получаете возможность выбрать для себя наперёд одну из двух судеб. Слушайте теперь внимательно. Первый вариант. Тут собственно ничего не придётся менять, потому что вы проживёте вашу собственную жизнь: женитесь на Лизе, будете тяжко трудиться, обеспечивая семью, и скромно веселиться на отдыхе, в кругу родных и друзей. Не минуют вас и маленькие творческие радости: первым переведёте на русский язык великий роман этого вот вашего Джойса «Ulysses» и тем заслужите две строчки о себе в истории отечественной культуры. Однако...

– Пойдите, вы сказали, что «на Лизе»... Как это может быть – на Лизе? – трудно выговорил Гривнич.

Всеобщий благодетель посмотрел на него сочувственно.

– Ах, вот оно что? Впрочем, теперь это недоразумение уже не имеет значения. Многое тогда было отыграно назад. На днях я встретил на Пикадилли известного вам Сиднея Рейли. Пьяный, он божился, что ещё наведается в Совдепию и прищемит хвост ПетроЧека, а как успел уже накуролесить в Первопрестольной, совсем не помнит.

– И Лиза? Лиза... тоже?

– Ясно, что не на убитой же Лизе вы женитесь в этом случае и не на её призраке. Последнее это дело, доложу я вам, жениться на призраке! Положила как-то на меня глаз одна французская королева, имени из скромности не назову. Не королева собственно, а её привидение, с прелестной отрубленной головкой под мышкой – вот где была напасть!

– Всеволод Вольфович, если вы паясничаете, значит, вот-вот скажете какую-нибудь гадость. Так говорите же, не томите мне душу.

– Хорошо, Валерий Осипович. Мне жаль безмерно, но эта ваша собственная жизнь продлится ещё лишь на полтора десятка лет, примерно. После

чего закончится отсрочка, добытая заклинанием в Софии Новгородской, и закрутится-завертится ужасная мясорубка. Единственное утешение, что замучают вас в числе сотен тысяч порядочных людей, а заодно сгинет целое сонмище советских хозяев жизни и чекистов.

– Всё-таки пятнадцать лет впереди... Немало.

– Как сказать, – улыбнулся одними губами Чернокостюмный. – А вот второй вариант. Вспомните «Стойло Пегаса», а в нем – бритого и набеленного экспрессиониста Ипполита Кречетова. Вспомнили? Я предлагаю вам поменяться с ним судьбами. Кречетов поэзию вскоре забросит, однако свихнётся на библиофильстве: книги заменят ему и любовь, и друзей, и семью. А зарабатывать будет научно-популярной халтуркой: накатает тысячи неподписных статей для новой советской энциклопедии, а сам, бедняга, в оную не попадёт. Зато переживёт и тот страшный террор (не хотелось вам лишний раз напоминать, а пришлось), и новую, куда ужаснее первой, всемирную войну. Зато умрёт восьмидесяти пяти лет от роду в сравнительно благополучные времена, когда, между прочим, здорово продвинется вперёд искусство стирания прошлого. Умрёт одиноким беспомощным старцем на неопрятной кушетке, зажатой между картонными коробками с возлюбленными его книгами, и соседи по коммунальной квартире догадаются, что с ним неладно, только через несколько дней.

– Поменяться с Кречетовым судьбами, вы сказали? Значит, тогда он женится на Лизе?!

– Да что вы в самом-то деле? – возмутился Черный человек. – Я же вам не сказку Гофмана пересказываю. Речь идет о разных... Ну, как сказать? Знаете, у портного в ателье стоят, на разные размеры... Да, о разных болванках судьбы: вы осуществите предназначенную Кречетову у себя в Петрограде, а он – вашу в своей Москве. Итак, решайте.

– Оставьте уж лучше мне мою собственную судьбу, – разозлившись неизвестно на что, буркнул Гривнич.

– Решили? А теперь забудьте...

– Постойте, Всеволод Вольфович!

– Передумали? – вовсе не удивился Чернокостюмный. – Разумно.

– Да я не о том... Давно спросить хотел. Вам-то какой резон был устраивать в Новгородской Софии ту феерию? Вы ведь вовсе и не русский человек – и не русский, и не человек, как я понимаю... Обиделись?

– Нет, я не обижаюсь. Только трудно объяснить... Ведь я и не существую собственно, только в вашем воображении. Фантом, можно и так назвать, а уж если точнее, симулякр...

– Ничего себе объяснили! – ахнул Гривнич.

– Ладно, тогда в более привычных терминах... Вы ведь теперь сплошь атеисты и, как писал греховодник Кузьмин, «от души бессмертной отказались». Согласен, Бога вы игнорируете, однако должен же кто-то за вами, русскими интеллигентами, присматривать? А я уж долго с вами вожусь, привык к вам, приловчился вас за нос водить и... Не хотелось вываливать наружу свои сантименты, да что ж теперь... и даже полюбил. Вот. Ведь нет на земле другого такого народца, который мог бы так весело и истово грешить, а потом так искренне каяться, а потом опять... Потому и захотелось мне дать вам хоть какую-то передышку, пока в конец не перерезали друг друга. Впрочем, последнее лично к вам не относится, вы никого не сумели бы зарезать или зарубить топором. Хотя вы в душе и герой Достоевского. Нет, не Раскольников, но и не Алёша Карамазов... Не то Николая Ставрогина вы мне напоминаете, не то Версилова в молодости.

– Я мог бы и не спрашивать... Лжёте, как всегда.

– Да почему это обязательно лгу? Неужели вы всерьёз думаете, что на свете существуют только правда и ложь? А любимую вами поэзию куда вы в таком случае отнесёте? И вообще, давно я собирался вам это сказать, Валерий Осипович, не тянете вы на Фауста. Вы уж простите, скучноватый мне достался Фауст, малахольный, как сказали бы на Сухарёвке.

– Уж какой Мефистофель, таков и Фауст, – брякнул Гривнич – и невольно втянул голову в плечи.

Чёрный человек тихонько, но с явным удовольствием рассмеялся.

– Однако правильнее будет сказать, что каков Фауст, такой ему и чёрт мерещится. Ведь это же я вам пригрезился, а не наоборот.

– Как это – пригрезился?!

– Ладно, об этом немножко позже. А покамест вот вам за смелость сушая правда. Знаете, я только что говорил об интеллигенции, а имел в виду русских поэтов. Никогда ещё в истории поэзия, в России творимая, не достигала такой художественной силы и морального авторитета, как в эти годы. Вот мне и захотелось попробовать, опыт этакий устроить: а не способны ли наши грешники и грешницы, пророки и пророчицы сейчас и на духовный подвиг? Оказались способны, оказалось – смогли! Духовный Монблан одолели! Да только лучше было им об этом сразу же и забыть... Потому что теперь русская поэзия начнёт понемногу деградировать и никогда больше не достигнет нынешних высот.

– Почему это деградировать, с чего вы это взяли, Всеволод Вольфович? Тем более, что напечатано целую лавину поэтических сборников, залежавшихся в столах! Опять ведь лжётё.

– Лгу? Да бросьте. И да, я вам приснился наяву – и даже больше того. Скажите, Валерий Осипович, неужели вы не заметили, что я слишком эрудирован для хозяина свечного заводика? Что знаю о русской новейшей литературе и о её внутренних обстоятельствах примерно столько же, сколько и вы? И разве это не удивительно, что вы, известный всему околотитературному Питеру скандалист, забияка и склочник, вели себя во время наших совместных приключений так кротко, хоть к ране прикладывай? А ларчик просто открывался. Я ваш двойник, Валерий Осипович, чёрная эманация деятельной и удачливой части вашей натуры, завещанной вам предками-коммерсантами и вами, романтиком и Вертером, тщательно подавляемой, и в то же время – скверных особенностей вашего характера.

– С чего вы это взяли? – ошетинился Гривнич.

– Объяснять, с чего я это взял, пришлось бы с полчаса. А мы с Вами не располагаем таким временем. Ведь я Вам должен ещё и подарок сделать на Новый год.

– Подарок? Мне?

– В последний раз спрашиваю: вы всё-таки стоите на своём? Не желаете прожить до восьмидесяти пяти лет? Да? Так забудьте – и этот наш разговор тоже... Прощайте, Валерий...

И не успел Чёрный человек договорить «...Осипович», как почувствовал Гривнич несуразность происходящего: разве посмели бы они в читальном зале Публички препираться в полный голос, а сам он так даже орать? И с кем это он общался? Ведь за столиком слева пусто. Тут же пошла мерещиться всякая дрянь: умывальник во дворе где-то в провинции, высокий усатый мужик перед ним, голый до пояса, в галифе и в тапочках, строгий силуэт древнерусского храма на горизонте... Потом Валерий проснулся окончательно и первым делом посмотрел на библиотечные часы. Без двадцати двенадцать... Сколько же он продремал? Справа, с соседнего места, несколькими минутами ранее пустовавшего, раздался капризный шепоток:

– Нет ли у вас ластика? Я такая рассеянная, мне вот надо вытереть – а ластик забыла! Вот уж точно бедная Лиза! Я в 2-ом ВХУТЕМАСе учусь, а художник должен везде носить с собою ластик. Чтобы можно было стереть, если что-то у него не получится. А вы как думаете?

### ***Вынужденный автокомментарий***

Задуманный магической ночью под Новый год, этот роман был написан за два месяца, с большим увлечением и как бы сам собой. Ясно, порой приходилось всё-таки отрывать взгляд от «магического кристалла» в поисках реалий и текстов. Автору помогло то обстоятельство, что он ещё на студенческой скамье увлекся русской литературой 20-х годов прошлого столетия, «серебряного века» русской поэзии, а впоследствии написал о ней пару статей, опубликованных в Польше и в США. Естественно, что и соответствующая литература собралась. Если буксовала память и не могла помочь личная библиотека, обшаривал Интернет, поэтому могу ручаться – насколько это в избранном мною жанре прозы вообще возможно – за верность большинства исторических деталей. В частности, беру на себя смелость утверждать, что – не считая, разумеется, участия в придуманном заговоре и прочих событиях вокруг вымышленного Юбилейного комитета 1921 года – всё

написанное в романе об Александре Блоке, Николае Гумилёве, Осипе Мандельштаме, Андрее Белом, Анне Ахматовой, Василии Каменском, Валерии Брюсове, Марине Цветаевой, Сергее Есенине, Борисе Пастернаке и Велемире Хлебникове отвечает уровню современных знаний об этих поэтах и об их творчестве. То же самое можно сказать и о таких эпизодических или «внесценических» персонажах, как писатели Владимир Маяковский, Николай Клюев, Рюрик Ивнев, Анатолий Мариенгоф, Илья Эренбург, Вадим Шершеневич, Сергей Бобров, режиссер и актёр Всеволод Мейрхольд, «футурист жизни» Владимир Гольцшмидт, чекисты Яков Блюмкин, Борис Семёнов, Феликс Дзержинский, Вячеслав Менжинский, Яков Агранов, английский разведчик Сидней Рейли и гадалка Аграфена.

Образы Валерия Бренича (Гривнича), Виктора Шполянского, Дмитрия Перовского, Ипполита Кречетова и чекиста Петра Луцкого имеют реальных прототипов, однако вывести их под настоящими именами я не счёл возможным – по соображениям в первую очередь этическим. Все остальные персонажи полностью вымышлены.

Когда мне, наконец, удалось побудить одного из приятелей, филолога по образованию, прочесть рукопись, он безапелляционно заявил о том, о чём я и сам уже успел догадаться: очень многие образы, аллюзии, реминисценции и цитаты текста рискуют остаться тёмными для обычного российского читателя.

Сначала я возмутился – и оттого, в частности, что меня достали романы одной писательницы, пестрящие подстрочными примечаниями к таким, например, словам, как «астрология», «Гор» или «меркантильный». Однако не хотелось разочаровывать и того гипотетического читателя, который (представим себе такого праведника и умилимся!) захотел бы извлечь из этой книжки положительные знания о русских поэтах «серебряного века». Стоило мне внутренне согласиться с необходимостью автокомментария, как возник вопрос о выборе его формы. Не говоря уже о том, что подстрочными примечаниями разбивается внимание читающего и разрушается иллюзия его участия в действии, перед пишущим встает проблема стилистических соотношений между текстом и «ученым» к нему довеском. Комментарии после текста показались мне

предпочтительнее ещё и потому, что добрые люди, как правило, вовсе и не заглядывают в послесловия и примечания в конце книжки.

С. 2. – ...*В душу Михаила Кузмина*... – в поэта, прозаика, композитора, музыкального критика, шансонье Михаила Алексеевича Кузмина (1876–1938). Пик известности поэта пришелся на середину 10-х гг., когда в периодике были напечатаны его «Александрийские песни», своеобразно воссоздающие языческое мироощущение эпохи эллинизма. В советское время творчество М. Кузмина оказалось прочно забытым.

Стр. 4. – ...*в «Доме искусств», <...> в резиденции Григория Григорьевича Елисеева собственно.* – Имеется в виду петроградский писательский клуб (одновременно и коммуна), устроенный в конце 1919 г. в роскошной двухэтажной квартире известного купца Г. Г. Елисеева на Невском проспекте с выходом на набережную Мойки. Сокращенно назывался ДИСКом. Быт его обитателей описан в романе О. Форш «Сумасшедший корабль» (1931), в мемуарах К. Чуковского, В. Ходасевича, М. Слонимского и др. Закрыт осенью 1922 г.

...*Шполянский*... – аллюзия на персонажа романа М. Булгакова «Белая гвардия». Далее, как и у Булгакова, используются некоторые факты биографии и черты личности Виктора Борисовича Шкловского (1893–1984), литератора и литературоведа, одного из основателей т. н. «русского формализма».

...*Зощенко*... – прославившийся в 20-е–30-е гг. прозаик и эссеист Михаил Михайлович Зощенко (1894–1958). В 1946 г. подвергся вместе с А. А. Ахматовой преследованиям, был исключен из Союза писателей, лишен пенсии и карточек. В 1921 г. только начинал литературную карьеру.

С. 6 – ... *о «Тристраме Шенди»*... – о романе (1760–1767) английского писателя Лоренса Стерна «Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена».

С. 7 – ...*знаменитый больной*... – Тайну последней болезни и ранней смерти великого русского поэта Александра Блока (1880–1921) раскрыли только наши современники, врачи М. М. Щерба и Л. А. Батурина: поэт болел подострым септическим эндокардитом (воспалением внутренней оболочки сердца), неизлечимым до применения антибиотиков.

С. 8 – ...в очерке «Русские дэнди». – В очерке «Русские дэнди» (1918) Блок передает свои впечатления от беседы с молодым поэтом Валентином Стеничем, который, создав талантливую маску циничного декадента, сумел мистифицировать знаменитого собеседника. Персонажу романа, вымышленному Валерию Бреничу (Гривничу), переданы некоторые особенности биографии и произведения поэта Валентина Стенича (псевдоним Валентина Иосифовича Сметанича), впоследствии блестящего переводчика (в его активе переводы «Улисса» Дж. Джойса и романа «Трехгрошовая опера» Б. Брехта), арестованного в 1937 г. и погибшего в ГУЛАГе.

С. 9 – ...*Демьян Бедный*. – Ефим Алексеевич Придворов (1883–1945), писатель, старый большевик. Приобрел популярность в Гражданскую войну, в основном, песнями-агитками.

– ...*Бальмонт, Брюсов*... – знаменитые поэты-символисты. Константин Бальмонт (1867–1942) в описываемое время находился в эмиграции и заметного воздействия на литературный процесс давно уже не оказывал. О Валерии Брюсове см. ниже.

С. 10 – ...*не поверил некогда Ахматовой*... – С Анной Ахматовой (1889–1966) у Блока складывались достаточно сложные отношения взаимной симпатии, скрывающейся под словесной пикировкой. Их современник В. М. Жирмунский намекает, что у них был роман.

*...как на палимпсесте под варварским творением какого-нибудь Беда Достопочтенного скрывается светлый текст Алкея.* – Палимпсест – пергаменная рукопись, с которой писцом был счищен предшествующий текст. Беда Достопочтенный (672 или 673–735) – англосаксонский теолог и летописец, святой католической церкви. Алкей (ок. 626-622 – после 580 до н.э.) – древнегреческий поэт. Блок окончил историко-филологический факультет Петербургского университета, выступал как ученый-филолог, обращаясь и к античной литературе.

С. 11. – ...*Гумилёв*... – Николай Степанович Гумилёв (1886–1921), русский поэт. Основатель акмеизма, течения, которое провозглашало главной задачей поэзии воссоздание духовной жизни человека во всем богатстве её проявлений. В основанный им «Цех поэтов», организацию акмеистов, из известных поэтов



входили также Анна Ахматова и Осип Мандельштам. В 1914 г. Гумилёв добровольцем ушел на фронт. Вернувшись в Петроград, активно работал с поэтической молодежью в литературных студиях, стремился организационно возглавить поэтов города на Неве. Первый муж Анны Ахматовой, отец известного историка и этнолога Льва Гумилёва. Расстрелян.

*Сидит в Петроградской губЧК, на Гороховой...* – Печально известная Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и саботажем (ВЧК), созданная в декабре 1917 г. в Петрограде, располагалась в здании на углу Гороховой и Адмиралтейского проспекта. После переноса столицы в Москву в этом здании осталась Петроградская губернская чрезвычайная комиссия, сокращенно называвшаяся Петроградской губЧК или ПетроЧК.

– *...футуриста Василия Каменского...* – Один из наиболее известных русских поэтов-кубофутуристов Василий Васильевич Каменский (1883–1961) присущие группе саморекламу и нигилизм в отношении русской классики доводил до абсурда. В группу кубофутуристов (первоначально группа называлась «Гилея»), считавших себя строителями поэзии будущего, входили из известных поэтов также Владимир Маяковский, Велемир Хлебников, Борис Пастернак. В отличие от акмеистов, занимавших позиции политического нейтралитета и философского фрондёрства, кубофутуристы активно сотрудничали с советской властью.

С. 12. – *Тиртей* – (7 в. до н. э.), древнегреческий поэт-лирик, посланный афинянами в Спарту взамен обещанной военной помощи.

*...Троцком...* – Лев Давидович Троцкий (1879–1940), в 1921 г. нарком по военным делам, председатель Реввоенсовета Республики. Был тогда, наряду с В. И. Лениным, авторитетнейшим коммунистическим «вождём». Убит агентом НКВД.

С. 14. – *...порученец из Кремля, от Каменева...* – Лев Борисович Каменев (1883–1936), один из советских «вождей» того времени. Блок бывал у него в гостях, когда правительство находилось в Петрограде, а весной 1921 г., уже больной, во время поездки в Москву навестил его в Кремле. Расстрелян.

*Боря Бугаев* – знаменитый поэт-символист, прозаик и литературовед Андрей Белый (Борис Николаевич Бугаев, 1880–1934). В своё время был близким другом Блока.

С. 15. – *канотье* – летняя соломенная мужская шляпа с плоской тульей.

С. 18. – *...с левыми эсерами.* – До декабря 1917 г. левое крыло партии социалистов-революционеров. Левые эсеры участвовали в Октябрьской революции, в коалиции с большевиками вошли в первые органы советской власти, в том числе в ВЧК. В Петрограде издавали газету «Знамя труда», в которой печатался Блок. После ряда конфликтов с РКП(б) партия прекратила существование в 1923 г.

С. 19. – *...Голлербах...* – Эрик Федорович Голлербах (1895–1942), впоследствии искусствовед и книговед, литературный критик.

С. 23. – *...в «Привале комедиантов».* – Здесь и ниже анахронизм. Кабаре «Привал комедиантов» было закрыто в 1919 году.

– *...мистер Сидней Рейли...* – (настоящая фамилия Розенблюм, 1874–1925), английский разведчик. В 1919 г. после провала заговора против советской власти вынужден был бежать из Петрограда. Тайное возвращение Рейли в Советскую Россию происходит в романе четырьмя годами ранее, нежели в действительности.

С. 29. – *...Пастернака...* – Борис Леонидович Пастернак (1890–1960), прославленный поэт, прозаик, переводчик. В начале поэтического пути кубофутурист. Друг В. Маяковского. В 1957 г. опубликовал в Италии роман «Доктор Живаго», в 1958 г. был удостоен Нобелевской премии, а в СССР подвергнут травле.

– *...люди в брелоках <...> как змеи в овсе...* – из стихотворения Б. Пастернака «Сестра моя жизнь и сегодня в разливе...» (1917).

С. 30. – *...том Платона в переводе Владимира Соловьева...* – Владимир Сергеевич Соловьев (1853–1900), религиозный философ, поэт, переводчик. При жизни В. С. Соловьева вышел только первый том переведенных им диалогов Платона (Творения Платона. – М., 1899), второй и третий тома были дополнены и отредактированы М. С. Соловьевым и С. Н. Трубецким.

С. 34. – *Хорошо с египетским сержантом <...> на моей груди.* – Стихотворная вставка в письме Н. С. Гумилёва М. Л. Лозинскому от 2 января 1915 г.

С. 39. – *Георгий Иванов* – Георгий Владимирович Иванов (1894–1958), русский поэт, в молодости близкий к акмеизму. С 1922 г. в эмиграции, где и создал зрелые образцы своей лирики.

С. 43. – *«Всемирная литература»* – издательство, основанное М. Горьким в 1918 г. при Наркомпросе РСФСР в Петрограде.

С. 51. – *...с ротмистром Рождественским.* – Аллюзия на повесть О. Мандельштама «Египетская марка» (1928).

С. 53. – *...Мандельштам теперь уже не только пьет одну кипяченую воду...* – Одним из чудачеств Осипа Эмильевича Мандельштама (1891–1938) была паническая боязнь микробов. Оставшись в стране, Мандельштам единственным из больших русских поэтов осмелился выступить против Сталина, написав в 1933 г. сатирическое стихотворение «Мы живем, под собою не чуя страны...». Погиб в ГУЛАГе.

С. 57. – *ВХУТЕМАС* – Высшие художественно-технические мастерские, художественный институт, существовавший тогда в Москве.

С. 59. – *«Фуэнте Овехуна»* – трагедокомедия испанского драматурга Лопе де Вега (1562–1635), популярная в России в первые послереволюционные годы.

*ТЕО* – Театральный отдел Наркомпроса РСФСР, руководивший всеми театрами республики.

*Гржебин* – Зиновий Исаевич Гржебин (1869–1929), петербургский издатель, друг А. Блока.

С. 60. – *Фердинанд Лассаль* – немецкий социалист XIX в.

С. 62. – *Волошин* – Максимилиан Александрович Волошин (1877–1932), русский поэт, критик, художник. Во время гражданской войны в своём доме в Коктебеле укрывал красных беглецов от белых, а белых беглецов от красных. Сумел освободить О. Мандельштама из белогвардейской тюрьмы в Феодосии.

*Лариса Рейснер* – Лариса Михайловна Рейснер (1895–1926), русская журналистка. Красавица-коммунистка была постоянной героиней скандальной писательской хроники своего времени.

*Раскольников* – Федор Федорович Раскольников (1892–1939), революционер, дипломат, литератор. В 1938 г. не вернулся из-за рубежа и опубликовал знаменитое «Письмо Сталину» с обвинением в массовых репрессиях. Возможно, убит агентами НКВД. Мандельштам излагает одну из версий о причине ареста Гумилёва, бытовавших в среде интеллигенции.

С. 64. – ... *Начиная с Луначарского (тот сам грошовый драматург)...* – Старый большевик Анатолий Васильевич Луначарский (1875–1933), нарком просвещения в 1917–1929 гг., написал и опубликовал ко времени действия романа несколько малохудожественных пьес и «драм для чтения».

– *Бухарин* – Николай Иванович Бухарин (1888–1938), в те годы редактор газеты «Правда», член Исполкома Коминтерна. Был поклонником поэзии Б. Пастернака, делал доклад о поэзии на 1-ом Съезде советских писателей в 1934 г. Расстрелян.

– ...*Хлебникова?* – Велемир или Велимир (Виктор Владимирович) Хлебников (1885–1922), гениальный русский поэт, кубофутурист. Отличался эксцентричностью поведения и пренебрежением к бытовым условиям своего существования. Имя поэтического псевдонима (Велемир) приводится в форме, чаще употребляемой при жизни поэта.

...*Марина Ивановна Цветаева.* – знаменитая русская поэтесса (1892–1941). С началом Октябрьской революции ушла во «внутреннюю эмиграцию», в 1922 г. уехала из страны. Вернулась в 1940 г., покончила с собой в эвакуации.

С. 65. – ...*Нансена...* – Фритъоф Нансен (1861–1930), прославленный норвежский исследователь Арктики. Как верховный комиссар Лиги Наций по делам военнопленных (1920–1921) придумал и узаконил «нансеновские паспорта», позволившие белоэмигрантам обитать в европейских странах, не предоставляющих им своё гражданство. В 1921 г. один из организаторов помощи голодающим Поволжья.

...*Кутепова?* – А. П. Кутепов – белый генерал, во время действия романа находился с остатками белых армий в г. Галлиполи (Турция). Политическая антисоветская активность его проявилась позднее.

С. 66. – ...*забирал тираж своего «Камня»...* – «Камень» (1913), первый сборник стихотворений О. Мандельштама, создавший ему имя в русской литературе.

С. 67. – ...*пришел-де заказать у вас реквием.* – Аллюзия на мотив «Моцарта и Сальери» А. С. Пушкина.

С. 72. – ...*воплощение Грядущего Хама, напороченного нам Мережковским.* – Имеется в виду антидемократический (однако, что ни говори, пророческий) памфлет Д. С. Мережковского «Грядущий хам» (1906).

С. 76. – ...*песни Вяльцевой или Плевицкой...* – популярных певиц Анастасии Дмитриевны Вяльцевой (1871–1913), исполнительницы цыганских романсов, и Надежды Васильевны Плевицкой (1884–1941), в репертуаре которой преобладали городские народные романсы.

С. 77. – *Трамвай, издавая железный гром и вороний грай, <...> однако, окутанный тревожным трезвоном надтреснутой своей лютни ...* – реминисценции стихотворения Н. Гумилёва «Заблудившийся трамвай» (1920).

...*фрески Судейкина...* – известного русского художника Сергея Юрьевича Судейкина (1882–1946), расписавшего стены кабаре «Бродячая собака». В 1920 г. эмигрировал.

С. 78. – *«Я не увижу знаменитой «Федры»...* – начальная строчка одноименного стихотворения О. Мандельштама из сборника «Камень». Имеется в виду трагедия Жана Расина (1677), первая постановка которой в театре Бургундский отель провалилась.

*На Хлою следует смотреть глазами Дафниса...* – изречение о героях древнегреческого любовного романа «Дафнис и Хлоя» Лонга (II–III вв. н. э.).

...*madame de Lamballe...* – фаворитка королевы Марии Антуанетты, замученная толпой во время Великой Французской революции. Голову её, надетую на копьё, парижане пронесли под окном камеры королевы.

С. 80. – *Вот он где, окончательный крах символизма!* – Символизм, мощное течение в западноевропейской и русской литературе, к началу 20-х годов прошлого века исчерпал свои творческие потенции, и крупные русские символисты – А. Блок, А. Белый, Вяч. Иванов, Ф. Сологуб – отошли от его первоначальных принципиальных установок. Герой романа иронически

переносит избитое тогда выражение «крах символизма» на изменение поведенческих стереотипов молодежи.

– С. 81. – *...на постройке Гетеанума...* – В пору своего увлечения антропософией, учением швейцарского мистика Р. Штайнера, Андрей Белый участвовал в постройке в городке Дорнахе, недалеко от Базеля, антропософского храма под этим названием.

С. 82. – *«Вольфила»* – сокращение от названия «Вольной философской ассоциации», существовавшей в описываемое время в Петрограде и проводившей свои заседания в «Доме искусств». Андрей Белый был председателем совета «Вольфила», основал её отделения в Москве и Берлине.

С. 83. – *«Однообразный и безумный, как вихорь жизни молодой...»* – слова Пушкина о вальсе («Евгений Онегин»).

*Бедная Лиза... <...> ...Эраста...* – герои сентиментальной повести Н. М. Карамзина «Бедная Лиза» (1792), рассказывающей о любви крестьянки и дворянина.

*...шевалье де Вальмон...* – персонаж романа Шодерло де Лакло «Опасные связи» (1782), удачливый волокита.

*Нина Петровская* – Нина Ивановна Петровская (1884–1928), писательница, литературный критик. Покончила с собою в эмиграции.

*Ася Тургенева* – Тургенева Анна Алексеевна, художница, первая жена Андрея Белого.

С. 87. – *...Водоворотом мы схвачены Последних ласк...* – цитата из стихотворения Брюсова «В Дамаск» (1903).

С. 88. – *...идея Софии ...* – богословская концепция Божественной премудрости.

С. 93 – *Харон* – в древнегреческой мифологии перевозчик через речку Стикс в царство мертвых.

С. 102. – *...у Блока большевики отобрали тайную свободу, и что поэт умер, потому что дышать ему было больше ничем ...* – реминисценции речи Блока «О назначении поэта» на вечере памяти Пушкина в феврале 1921 г.

*...вспоминали какую-то прекрасную даму...* – Аллюзия на сборник стихотворений Блока «Стихи о Прекрасной даме» (1904).

... *«Повесть об английском милорде Гереоне»* ... – лубочный любовный роман.

С. 104. – ...*лысый человек в потрепанном сером пиджаке.* – Таким Луцкий увидел Андрея Белого, который в романе произносит надгробную речь, использующую тезисы из его речи памяти Блока в «Вольфиле» 23 августа 1921 г.

С. 105. – ...*Сказал о себе нескромно, что Иванов-разумник* ... – Псевдоним («Иванов-Разумник») Разумника Васильевича Иванова (1878–1945), русского литератора, критика, историка литературы, Луцкий понимает как хвастливую автохарактеристику. В романе использована концовка речи Р. В. Иванова-Разумника в «Вольфиле» 23 августа 1921 г.

С. 105 – *Теперь дамочка говорила... <...> Смоленскими божьими матерями.* – На похоронах Блока Ахматова читает свой отклик на его смерть, стихотворение «А Смоленская нынче именинница...».

С. 112. – ... *в русской повести* ... – в повести Т. Г. Шевченко «Художник».

С. 114. – ...*Дориана Грея...* – главного героя культового романа О. Уайльда «Портрет Дориана Грея» (1891).

*Плотин* – греческий философ-идеалист (III век н. е.)

*Бакунин* – Михаил Александрович Бакунин (1814–1876), один из основоположников анархизма, идеолог народничества. В 20-е гг. в РСФСР ещё чтили память этого выдающегося русского революционера.

С. 117. – ...*начитались о Верлене и Рембо...* – Речь идет об отношениях, связывающих французских поэтов-символистов П. Верлена (1844–1896) и А. Рембо (1854–1891).

...*красавице Глебовой, тогда ещё не Судейкиной...* – Танцовщица и актриса Ольга Афанасьевна Глебова-Судейкина (1885–1945) была первой женой художника С. Ю. Судейкина. В 1924 г. эмигрировала.

...*самоубийство корнета Князева <...> на пороге у роскошной Ольги...* – В. Г. Князев (1891–1913), поэт, гусарский унтер-офицер, действительно покончил с собою из-за несчастной любви к О. А. Глебовой, только произошло это в Риге. Кузмин передает устную версию скандального события, использованную и А. Ахматовой для одной из сюжетных линий «Поэмы без героя» (1940–1963).

С. 119. – ...*«Мадемуазель Нитуш»*... – оперетта-буфф Ф. Эрве (1883).

С. 120. – ...этот Юрий Юркун? – Интимный друг Кузмина Юрий Иванович Юркун, по-литовски Йозас Юркунас (1895–1838), поэт и художник, гражданский муж Ольги Гильдебрандт-Арбениной (1897–1980). Был осуждён и расстрелян в одной четвёрке литераторов с прототипом Гривнича в романе, Валентином Стеничем, а также с Бенедиктом Лифшицем и Вильгельмом Зоргенфреем.

С. 121. – ...верноподданных «150 000 000» Маяковского издают тиражом 150 000! – Персонаж романа преувеличивает: в 1921 г. эта поэма Маяковского была напечатана тиражом 30 000 экземпляров. Других поэтов, однако, издавали тиражами вдесятеро меньшими.

С. 153. – ...праправнучка хана Ахмата... – биографическая легенда, бытовавшая в семье А. Ахматовой.

– ...Брик?... – литератор и филолог О. М. Брик (1888–1945), близкий друг В. В. Маяковского, в 1912–1930 гг. муж возлюбленной поэта Л. Ю. Брик. В 1920–1921 гг. служил в ВЧК.

*Сергей Бобров* – Сергей Павлович Бобров (1889–1971), писатель, переводчик, филолог.

С. 156. – ...«скифство»... – в данном случае концепция особого пути России между Европой и Азией, названная по стихотворению А. Блока «Скифы» (1918).

С. 157. – ...той, которая на Мандельштама «через плечо поглядела». – Цитата из стихотворения «Золотистого меда струя из бутылки текла...» (1917).

С. 158. – «ложноклассическая шаль» – цитата из стихотворения Мандельштама 1914 г. «Ахматова» («Вполоборота, о печаль...»)

С. 159. – *Чуковский* – Корней Иванович Чуковский (псевдоним Н. В. Корнейчукова, 1882–1969) в те времена был известен, в основном, как литературный критик и переводчик.

С. 161. – ...*Малый Трианон*... – дворец середины XVIII века в Версале.

С. 167. – *Рюрик Ивнев* – псевдоним Михаила Александровича Ковалёва (1891–1981), поэта-имажиниста, прозаика, автора мемуаров.



*Наркомпрос* – Народный комиссариат просвещения (1917–1946), управлявший не только учебными заведениями, но и всеми учреждениями культуры.

С. 168. – *...товарищ-имажинист?* – Имажинизм, заявивший о себе в 1919 г., был последним по времени из громких и влиятельных поэтических течений «серебряного века» русской поэзии. Имажинисты (С. А. Есенин, А. Б. Мариенгоф, В. Г. Шершеневич, А. Б. Кусиков, Р. Ивнев и др.) стремились утвердить в поэзии первенство самоценного образа.

С. 169. – *...ТЕО, к Мейерхольду...* – Всеволод Эмильевич Мейерхольд (1874–1940), гениальный режиссер, актер, один из реформаторов театра в XX в. В 1918 г. вступил в РКП(б), в 1920 г. был назначен Луначарским на должность заведующего Театральным отделом Наркомпроса. Расстрелян.

С. 170. – *Доктор Данертутто* – псевдоним, под которым В. С. Мейерхольд в 10-х гг. поставил несколько спектаклей и издавал журнал «Любовь к трём апельсинам».

С. 171. – *...зав. детскими театрами РСФСР ТЕО т. Эренбургом...* – Известный писатель, публицист и мемуарист Илья Григорьевич Эренбург (1891–1967) в 1920–1921 гг. работал под началом Мейерхольда в ТЕО.

*...«Пуанкаре – ты идиот!»...* – Раймон Пуанкаре (1860–1934), президент Франции в 1913–1920 гг., был одним из организаторов иностранной интервенции в Советскую Россию. Постоянный объект советской сатиры того времени.

С. 173. – *...КРУЧЕНЫХ»* – Кручёных Алексей Елисеевич (1886–1968), поэт, теоретик футуризма.

С. 174. – *И я не жалуюсь <...> последний модный шик.* – Из сборника В. Каменского «Девушки босиком» (1917).

С. 176. – *...ЛИТО Наркомпроса...* – Литературный отдел Наркомпроса.

С. 177. – *...главы всемогущего ЛИТО.* – Гривнич иронизирует: в отличие от ТЕО, действительно оказывавшего воздействие на театральную жизнь России, Литературный отдел Наркомпроса играл существенную роль не так в литературном процессе, как в формирующейся советской цензуре: единственное в то время крупное издательство, «Госиздат», не имело право издать книгу без его санкции.

С. 180. – ...*Блюмкин...* – Яков Григорьевич Блюмкин (1900–1929). Родился в Одессе, в 1917 г. вступил в партию левых эсеров. В 1918 г. – начальник отдела ВЧК. За убийство германского посла графа В. Мирбаха заочно приговорен к трём годам заключения. В 1919 г. явился с повинной, был амнистирован и в 1920 г. принят в ВКП(б). Один из руководителей похода Красной Армии в Иран. С 1923 г. служит во внешней разведке ОГПУ. Организатор службы безопасности Монголии, резидент-нелегал советской разведки на Ближнем Востоке. За поддержку Л. Троцкого расстрелян.

С. 183. – ...*Якову Сауловичу Агранову...* – служебный псевдоним Янкеля Шевель-Шмаева (1893–1938), тогда особоуполномоченного ВЧК. Агранов, дослужившийся до первого заместителя наркома внутренних дел, замарал себя в крови настолько, что в перестроечные времена, когда комиссии по реабилитации, состоявшие из тех же чекистов, весьма либерально оценивали деятельность незаконно репрессированных сталинских палачей, реабилитирован не был. Расстрелян.

С. 184. – ...*с Савинковым...* – Борис Викторович Савинков (1879–1925), революционер-марксист, затем, в 1903–1911 гг., видный эсер-террорист. В дальнейшем выступил как прозаик (псевдоним – В. Ропшин). Военный министр в правительстве Керенского, после Октябрьской революции – видный и неутомимый деятель белого движения. В 1924 г. чекисты выманили его на территорию СССР (по схеме, описанной в романе) и арестовали. Покончил с собою в тюрьме, по другой версии убит чекистами.

С. 189. – ...*Меня зовут Алей...* – Аля – старшая дочь М. Цветаевой, Ариадна Сергеевна Эфрон (1912–1975), литератор, автор воспоминаний и заметок о матери, переводчик, художник. Возвратилась из эмиграции в 1937 г., в 1939 г. осуждена на 8 лет лагерей, в 1949 г. – на вечное поселение в Туруханск. Вернулась из ссылки в 1955 г.

...*я дочь болярыни Марины.* – Реминисценция стихотворения М. Цветаевой «Настанет день – печальный, говорят!...» (1916).

...*даже ради малых своих детей... ради собственного ребенка.* – Младшая дочь Марины Цветаевой, Ирина, умерла в 1920 г., не дожив до трёх лет. По словам её сестры, Ариадны, доброжелатели уговорили Цветаеву сдать детей в

«образцовый» приют в Кунцево. Со временем стало известно, что работники приюта торговали продуктами, поставленными американской организацией «АРА». Цветаевой удалось, забрав домой, выходить Ариадну; Ирина, оставленная в приюте, погибла там от голода и захоронена в братской могиле. Эта трагическая дилемма (современному читателю она, вероятно, напомнит роман У. Стайрона «Софи делает выбор») серьёзно, надо думать, повлияла на решение Цветаевой эмигрировать.

С. 190. – *Не в таких ли пальцах садовый нож Зажимал Рогожин?* – Из стихотворения М. Цветаевой «Не сегодня-завтра растает снег...» (1916).

*Розанов* – Василий Васильевич Розанов (1856–1919), писатель, мастер эссеистско-дневниковой прозы.

*...моя сестра Анастасия...* – Анастасия Ивановна Цветаева (1894–1993), писательница, была репрессирована. Речь идет о её книгах лирической прозы «Королевские размышления, 1914 год» (1915) и «Дым, дым, и дым» (1916).

С. 191. – *И по имени не окликну, И руками не потянусь* – строки из стихотворения Цветаевой «Ты проходишь на запад солнца...» (1916) из цикла «Стихи к Блоку».

*Но моя река – да с твоей рекой – <...> Не догонит заря – зари.* – Заключительное четверостишие стихотворения «У меня в Москве – купола горят...» из указанного выше цикла.

С. 192. – *Быть может, всё в жизни лишь средство...* – из стихотворения В. Брюсова «Поэту» (1907).

*...певец в стане красных воинов Валерий Брюсов.* – Аллюзия на заглавие стихотворения В. А. Жуковского «Певец в стане русских воинов» (1812).

*...Андре Шенье...* – Андре Мари Шенье (1762–1794), французский поэт, за свои политические оды казненный якобинцами.

«*Русская Вандея*»... *Это что ж, об антоновцах?* – Вандея – область на западе Франции, известная роялистскими мятежами в период Великой французской революции. Т. о., «русской Вандеей» можно было назвать и белое движение, базирующееся в 1918–1920 гг. на юге России, как это сделала Цветаева, и Тамбовскую область, в 1921 г. центр восстания антоновцев – так понял собеседницу герой романа.

С. 194. – *Пляшущие, в дуду дующие, <...> огромным академическим пайком.* – Из стихотворения В. Маяковского «Приказ № 2 армии искусств» (1921).

...*Мариенгоф...* – Анатолий Борисович Мариенгоф (1897–1962), поэт-имажинист, прозаик, драматург. Близкий друг С. Есенина в 1918–1923 гг. Его автобиографический «Роман без вранья» (1927) последовательно изображает С. Есенина холодным и расчетливым дельцом.

С. 195. – ...*с Шершеневичем...* – Вадим Габриэлевич Шершеневич (1893–1942), поэт, критик, переводчик, один из основоположников и теоретиков имажинизма.

С. 198. – ...*экспрессионист Ипполит Кречетов...* – Для этого персонажа позаимствованы некоторые факты биографии и черты характера киноведа и историка техники Ипполита Соколова (умер в 70-х гг.), в молодости члена группы русских поэтов-экспрессионистов.

*Экспрессионисты, ничевоки, фуисты* – мелкие литературные группы начала 20-х гг. прошлого века.

...*Сергей Александрович ведь совладелец «Пегаса»...* – Как один из основателей «Ассоциации вольнодумцев» (1919) поэт был владельцем паев в принадлежавших ей «Стойле Пегаса» и книжной лавке. Во время поездки Есенина за границу в 1922–1923 гг. А. Мариенгоф присвоил долю приятеля в прибылях этих предприятий и спровоцировал их банкротство.

С. 201. – ...*И небоскребы тонут в дыме... <...> Дворец продажи и наживы.* – Из поэмы Хлебникова «Ладомир» (1920). Можно увидеть здесь предвидение атаки на Всемирный Торговый центр в Нью-Йорке в 2001 г.

С. 221. – ...*Анненского...* – Иннокентий Федорович Анненский (1855–1909), замечательный поэт, драматург, переводчик. Своим учителем считали его Н. Гумилёв, А. Ахматова, О. Мандельштам, Б. Пастернак, он оказал серьёзное воздействие на В. Маяковского и, по-видимому, на В. Хлебникова.

*Но... бывают такие минуты, <...> Я хочу быть один... уходи!* – Из стихотворения И. Анненского «Canzone» (1909).

С. 222. – ...*о Клюеве...* – Николай Алексеевич Клюев (1887–1937), большой поэт, настоящая слава к которому пришла в конце XX в. Дружески помогал С. Есенину в начале его литературного пути, однако стремление Н. Клюева

первенствовать среди «крестьянских поэтов» приводило его к конфликтам с недавним протезе. Лучшие поэмы Клюева «Погорельщина» и «Песнь о Великой Матери» (напечатаны в конце XX в.), поэтизирующие уходящую «избяную Русь» и допетровскую культуру севернорусского старообрядчества, были созданы уже после смерти С. Есенина. Расстрелян.

С. 222. – ...*гравюры Хогарта*... – Уильям Хогарт (1697–1764), английский живописец, циклы сатирических картин которого популяризировались с помощью гравюр-репродукций.

С. 229. – ...*Колю Асеева*... – Николай Николаевич Асеев (1889–1963), поэт, эссеист. Верный последователь и подражатель своего друга В. Маяковского.

...*Диму Перовского*... – В вымышленной фигуре этого персонажа отразились некоторые моменты биографии литератора Дмитрия Васильевича Петровского (1892–1955), приятеля В. Хлебникова, хорошего знакомого Б. Пастернака, В. Маяковского, Л. и О. Бриков.

...*Леонид Пастернак*... – Леонид Осипович Пастернак (1862–1945), художник, график. В 1921 г. уехал с большей частью семьи на лечение в Германию, в Советскую Россию не вернулся.

С. 233. – ... *о подвиге и смерти лейтенанта Шмидта?* – Речь идет об одном из героев русской революции 1905 года, впоследствии прочно забытом. Морской офицер в отставке П. П. Шмидт взял на себя руководство восстанием моряков Черноморского флота, солдат и рабочих Севастополя в ноябре 1905 года, был арестован и расстрелян.

– ...*поэты Пролеткульта*... – Пролеткульт – союз пролетарских культурно-просветительских организаций (1917–1932), активно действующий до 1925 г. Поэты Пролеткульта В. Д. Александровский, М. П. Герасимов, В. В. Казин и др. стремились создать новую, чисто «пролетарскую» поэзию.

С. 240. – ...*отец Павел Флоренский*... – Павел Александрович Флоренский (1882–1937), религиозный философ, богослов, ученый-естествоиспытатель, поэт. В последний раз арестован в 1933 г. Расстрелян.

С. 242. – ...*У великороссов Нет больше отечества*. – Из поэмы Хлебникова «Ладомир».

С. 243. – *...по рекомендации Бурлюка...* – Давид Давидович Бурлюк (1882–1967), литератор и художник. От других основателей русского футуризма отличался деловой хваткой. Умер в США, в эмиграции.

С. 247. – *...Вильсон...* – Томас Вудро Вильсон (1856–1924), президент США в 1913–1921 гг. Проводил либеральную внутреннюю политику, однако, с другой стороны, вывел США в число империалистических держав – что и вызвало разочарование в нём Хлебникова.

– *Я лег спать. <...> дырявый сапог храброго моряка Самородова.* – Хлебников воспроизводит событийный каркас своего стихотворения «Ночь в Персии» (1921).

С. 247–248. – *Верю сказкам наперед: <...> Пыльным черепом тоскую.* – Из стихотворения «Иранская ночь» (1921).

С. 259. – *...в святом капище...* – «капище» (церковнослав.) – языческий храм.

С. 264. – *...Вон Пильняк и Маяковский – какие деньжищи заколачивают!..* – Борис Андреевич Пильняк (1894–1938), писатель, автор первого советского романа о революции «Голый год» (1921). Расстрелян. С разворачиванием НЭПа гонорары литераторов резко возросли. Пильняк и Маяковский первыми из советских писателей добились разрешения купить себе автомобили.

## Содержание

Пролог .....	1
Полусвиток петроградский, длинный .....	7
<i>Глава 1.</i> Александр Блок .....	7
<i>Глава 2.</i> Чекист Луцкий .....	16
<i>Глава 3.</i> Николай Гумилёв .....	22
<i>Глава 4.</i> Валерий Гривнич .....	39
<i>Глава 5.</i> Сидней Рейли .....	54
<i>Глава 6.</i> Осип Мандельштам .....	59
<i>Глава 7.</i> Андрей Белый .....	68
<i>Глава 8.</i> Чекист Карев .....	90
<i>Глава 9.</i> Чекист Луцкий ... ..	101
<i>Глава 10.</i> Михаил Кузмин .....	106
<i>Глава 11.</i> Чекист Луцкий .....	122
<i>Глава 12.</i> Валерий Гривнич .....	128
<i>Глава 13.</i> Чекист Карев .....	136
<i>Глава 14.</i> Анна Ахматова .....	149
Полусвиток московский, короткий .....	160
<i>Глава 15.</i> Сидней Рейли .....	160
<i>Глава 16.</i> Василий Каменский .....	166
<i>Глава 17.</i> Валерий Брюсов .....	176
<i>Глава 18.</i> Сидней Рейли .....	182
<i>Глава 19.</i> Марина Цветаева .....	188
<i>Глава 20.</i> Сергей Есенин .....	196
<i>Глава 21.</i> Чекист Луцкий .....	211
<i>Глава 22.</i> Валерий Гривнич .....	218
<i>Глава 23.</i> Борис Пастернак .....	226
<i>Глава 24.</i> Велемир Хлебников .....	239
<i>Глава 25, последняя, печальная</i> .....	249
Эпилог первый .....	256
Эпилог второй .....	262
<i>Вынужденный автокомментарий</i> .....	269

